Социалистическая Советская Республика Белоруссии

République Socialiste des Sovjets de la Russie Blanche

ТРУДЫ

Белорусского Государственного Университета в Минске.

1922 г. № 1.

LES ANNALES

de l'Université de Minsk.



Государственное Издательство Белоруссии.

Минск.—1922 г.

Социалистическая Советская Республика Белоруссии.

République Socialiste des Sovjets de la Russie Blanche.

ТРУДЫ

Белорусского Государственного Университета в Минске.

1922 г. № 1.

LES ANNALES

de l'Université de Minsk.



Государственное Издательство
Белоруссии.

Минск.—1922 г.

Содержание.

Стр.

Летопись Белорусского Университета.

От редакции.

Периодическое издание составляет необходимую принадлежность каждой научной высшей школы: оно дает возможность опубликования трудов профессоров и преподавателей школы, осведомляет общество о ходе учебной жизни и позволяет ее контролировать, выявляет идейное лицо школы.

Поэтому решение приступить к изданию университетского органа было принято на первых же порах деятельности Белорусского Государственного Университета.

Для нашего времени научные университетские органы имеют особо важное значение.

Исчезновение прежних, довольно многочисленных научных периодических изданий; крайне недостаточное количество вновь возникших органов этого типа; необычайные технические трудности типографской работы,—все это до крайности стеснило публикацию трудов русских ученых. Между тем наука в России не умерла! И не только не умерла, но даже, повидимому, стоит перед периодом расцвета и напряженной, продуктивной работы... И дать исход этому движению науки должны, в первую очередь, очаги научной мысли—университеты.

Белорусский Госуд. Ун-т имеет областной характер и это ставит ему особые задачи. Он должен быть также и ферментом развития национальных культур края, и прежде всего культуры белорусской, столь долгое время подвергавшейся внешним стеснениям, развивавшейся при крайне неблагоприятных условиях.

Это внутреннее развитие белорусской культуры отнюдь не должно выражаться, однако, в ее обособлении от общечеловеческих источников культуры.

Надо твердо помнить, что всякая национальная культура, на ряду с тем, что можно назвать „эстетико-патриотическим" элементом, содержит в себе и возможное развитие и совершенство *всех* областей культурной жизни и деятельности

—совершенство, достижимое лишь на почве усвоения общечеловеческой науки, техники и организующих принципов общественности.

Белорусский Госуд. Университет возник на рубеже нескольких национальных и мировых культур, на границе, разделяющей одного от друго в высшей степени отличные друг от друга социальные образования. Он является крайним западным очагом научной культуры для огромного агломерата народов России, которые сейчас с напряжением всех сил творят новые формы общественной жизни. Он должен дать возможность трудовым массам не только перенять выработанный до сих пор уже готовый капитал знаний, но и сделать их способными вести разработку науки и научное творчество дальше—в то светлое будущее, к которому идет человечество.

Белорусский университет уверен что издание печатного органа будет надежным средством к сближению его с миром научной мысли как Российской федерации, так и всего культурного человечества.



Мышление и речь*).

Высокочтимое Собрание! Не без волнения принял я приглашение глубокоуважаемого нашего ректора, выступить с речью на сегодняшнем торжестве. Помимо сознания важности исторического события, участниками которого мы являемся, помимо чувства ответственности возложенной на меня задачи, меня не мало смущал и выбор темы, которая была бы достойна по своей значительности этого выдающегося торжества и вместе с тем, имел корни в моей специальности—невропатологии, могла бы также заинтересовать и неспециалистов. Такой темой, на мой взгляд, мог явиться вопрос о мышлении и речи. Он соприкасается и с моими клиническими и патологоанатомическими работами из области расстройств речи, которые я начал более 15 лет тому назад по инициативе и под руководством моего дорогого и любимого учителя, профессора *Лазаря Соломоновича Минора*, одного из творцов русской неврологической мысли и основоположника медицинского факультета Белорусского Университета.

Но относится ли вопрос о мышлении и речи к нервной клинике? Не составляет ли он лишь главу психологии? Сомневающимся напомню слова знаменитого гистолога Ramon y Cajal'a, который доказывает, что психология более содействует пониманию строения мозга, чем учение о строении мозга пониманию психических явлений. В нервной клинике мы встречаемся с расстройствами речи, с так называемой афазией. Подобные больные, афазики, теряют способность говорить или понимать речь, или читать или писать, вместо одного слова употребляют другое, коверкают слова или письмо и т. п. Изучая подобные формы, углубляясь в душевный мир афазиков, мы сталкиваемся и с проблемами мышления, которые в свою очередь нам раз'ясняют явления афазии и даже вопросы ее локализации в головном мозгу.

Все наше современное учение об афазии построено на учении об образах воспоминания. По обычному представлению, слышанное, виденное или произносимое слово оставляет в психике след в виде звукового или зрительного или наконец двигательного образа воспоминания слова. При повторении этого же слова и следовательно при появлении подобного же—адэкватного—раздражения клеток слуховой или зрительной или чувствительной сферы коры мозга этот соответствующий образ слова вновь возникает. Благодаря этому вновь слышимое слово и узнается, оно отождествляется с прежними слышанными, читанными или произнесенными словами, оставившими в душе образы воспоминания. Чтобы произносить слово, требуется, чтобы у нас возникали образы воспоминания движений нужных для произнесения данного слова. Все эти перечисленные образы воспоминания друг с другом связаны или ассоциированы, они также связаны с представлениями о смысле слов,

*) Речь на акте открытия Белорусского Государственного Университета 30 октября 1921 г.

о свойствах обозначаемого им предмета. Итак, по этому возрению, звуки слова „лошадь" напр. вызывают образ воспоминания этих же звуков—звуковой образ воспоминания этого слова,—этот „звуковой" образ слова влечет за собою „зрительный", „двигательный", образ слова „лошадь". Затем эти „словесные" образы связаны со зрительным образом самой лошади, этот образ вызывает образ или представление о свойствах лошади и т. д. и т. д. В частности под двигательным образом слова понимается воспоминание тех ощущений, которые вызываются движениями речевого аппарата, нужными для произнесения слова. Расстройства речи рассматриваются обычно под таким углом зрения ассоциационной психологии и об'ясняются выпадением тех или иных, т. е. звуковых, зрительных или двигательных образов воспоминания слов. Однако нетрудно убедиться, что такое понимание расстройств речи вызывает ряд существенных возражений. Действительно, ведь образы воспоминания, о которых мы говорили, относятся, конечно, лишь к отдельным словам и отнюдь не к целой неразрывной речи. А между тем, является ли речь только суммой отдельных слов? Конечно, нет. В ней заключается—и мы на этом остановимся еще в дальнейшем—нечто многобольшее. Если мы за разрешением вопроса, что такое в сущности речь, *обратимся к новейшим работам лингвистов*, то мы увидим, что ее теснейшим образом связывают с мышлением. W. Humboldt, из определения которого обычно исходят*), определяет речь, как вечно возобновляющуюся душевную деятельность, сводящуюся к приспособлению членораздельных звуков, к выражению мыслей. И нам следует для понимания расстройств речи рассмотреть, как происходит процесс образования мыслей, процесс мышления и во-вторых, каким путем мышление переходит в речь.

Если мы обратимся за разрешением вопроса о процессе мышления к столь популярной и особенно среди врачей ассоциационной психологии, то мы никакого *ясного и определенного ответа* не найдем. Ведя свое начало от английских сенсуалистов 18-го века, она мышлению уделяла очень мало внимания. В основу всех психических процессов ассоциационная психология кладет ощущения и их следы, а именно образы воспоминания и представления. Все эти ощущения и представления вступают между собою во взаимную связь. Образы воспоминания появляются из подсознательного мира в область сознания при известных условиях по законам ассоциаций, установленным еще Аристотелем (ассоциации по сходству, контрасту, смежности и последовательности). Все высшие интеллектуальные функции, напр. память, воображение, отвлечение, умозаключение, суждение, образование понятий, все наше мышление и даже весь комплекс нашей личности, наше „я"—все это образуется в последнем счете из ощущений. Популярность этой психологии об'ясняется ее видимой простотой: она оперирует исключительно *наглядными* элементами сознания, которые, конечно, легче улавливаются. И весь огромный материал, собранный ассоциационной психологией из области ощущений, чувств и представлений совершенно заслонял еле и с трудом уловимые явления, характеризующие процесс мышления. Лишь мало по малу психологи стали обращать внимание на то, что в переживаниях сознания во время исследования, во время мышления имеется ряд явлений и состояний, которые совершенно не укладываются в рамки ассоциационной психологии. И тогда стали посвящать специальные работы психологии мышления. Вюрцбургская школа психологов (Külpe, Bühler, Marle, Dürr, Messer, Ach и др.) особенно занялась экспериментальным изучением процессов

*) Овсянико-Куликовский. Происхождение языка и т. д. Итоги науки. т. X стр. 215. 1914.

мышления и пришла к совершенно неожиданным, поразительным выводам, что испытуемые составляли суждения, схватывали смысл, обобщали, абстрагировали, т. е. *мыслили без всякого почти участия каких бы то ни было чувственных или наглядных представлений*, иными словами без образов воспоминания.

Вот как ставились опыты для исследования психологии мышления. Испытуемым, в качестве каковых фигурировали исключительно специалисты—психологи, искушенные в вопросах психологического анализа, задавались те или иные задачи, назначение которых состояло в том, чтобы возбуждать в испытуемых процесс мышления. Или они должны были вспомнить мысли, находящиеся в определенном отношении к тем, которых исследователь приводил, или они должны были осмыслить какую нибудь связь между отдельными мыслями или просто понять какую нибудь фразу и т. п. По окончании процесса мышления испытуемые должны были сообщать о своих переживаниях во время процесса мышления, рассказать, каким путем они приходили к решению задачи, какие состояния сознания у них в это время были. Вот несколько протоколов, которые я заимствую из большой работы Bühler'a: „Thatsachen und Probleme zu einer Psychologie der Denkrvorgänge".*) Испытуемый проф. Külpe—должен был понять, осмыслить фразу: „Будущим обусловливается настоящее не менее, чем прошедшим". Процесс мышления продолжался 6 секунд. Затем было запротоколировано со слов Külpe: „я тотчас подумал о целевом характере утверждения. Слово „цель" я произнес внутренно про себя и предположил, что цель оказывает большое влияние на действие. Перед окончанием акта мышления краткий ретроспективный взгляд, содержавший как бы подтвержение, что задача тобою разрешена." Другому испытуемому—психологу Dürr'у—была предложена задача осмыслить фразу: „под парусом хорошо грести". Через 7" процесс закончен. „Сначала я думал о тени от паруса. Затем стой! нет: ведь парус сам совершает половину работы. Тогда я это понял". Или испытуемого спрашивают: „понимаете ли Вы предложение: мышление так необычайно трудно, что многие предпочитают просто делать заключения". В протоколе значится: „Тотчас по окончании фразы я понял, в чем суть. Однако мысли были еще совершенно неясны. Чтобы выяснить себе положение, я стал медленно повторять всю фразу, и после этого мысль стала ясной... Кроме тех слов предложения, которые я слышал и затем воспроизводил, в моем сознании не было никаких представлений".

Эти примеры и многочисленные другие подтверждают, что мышление совершается без наглядных представлений. Возьмем напр. простую фразу: „человек должен быть добрым и отзывчивым, так как этими свойствами он отличается от прочих живых тварей" или: „закон и право наследуются, как вечные болезни", или: „хорошо там, где нас нет," или: «за одного битого двух небитых дают". Кто переживает при выслушивании или при чтении этих фраз и при их осмыслении какие либо представления и если кто их и переживает, то служат ли эти представления главным основанием для понимания этих фраз?. Следовательно, эти случаи доказывают существование мышления, особого состояния сознания, которое не зависит от наглядности, и во время которого не обнаруживаются элементы ощущений, представлений, образов воспоминаний и т. д. „насколько восприятия", говорит Külpe, „нельзя считать лишь следствием ощущений, настолько же мало можно

---

*) Arch. f. des. Psych. Od. IX. u. XII.

понять мышление как течение представлений в их ассоциативной связи".

Итак, желая разобраться в вопросе о том, что такое мышление и как оно протекает, мы на основании экспериментальных работ Bühler'а и Вюрцбургской школы пришли к чисто отрицательному описанию мышления. Его можно формулировать так: мышление это такое явление сознания, которому не присущи ни образы воспоминания, ни наглядности вообще, ни процессы ассоциаций. Положительных характеристик процесса мышления мы в работе Bühler'а почти не найдем. Оставим поэтому эксперимент и обратимся к тому, что происходит в жизни в естественной обстановке. И вот в работах Stumpf'a, Husserl'a, Messer'a и др. мы находим некоторые ответы на вопрос, какими же положительными свойствами отличается мышление. Stumpf различает „явления" и „функции". К „явлениям" относятся *содержание чувственных ощущений* и соответствующие образы воспоминания, а также представления времени и пространства. Под „функциями" же подразумевается *констатирование*, *подмечание* явлений и их отношений, *соединение явлений в комплексы*, образование понятий, понимание и суждение, душевные движения или настроения, желание или хотение. Все это „функции". Близко к этой классификации и деление Messer'a на „ощущения" и „акты". „Ощущения" образуют материал, который воспринимается, одухотворяется и обрабатывается „актами". В каждом психическом переживании мы различаем психическое „явление", „ощущение", которое мы „имеем в виду", которое мы „*мыслим*" („meinen", „mean"). Вот это „*имение в виду*", эта „*мыслительная*" функция находится в целом ряде душевных переживаний. Главная ее характеристика это внутренняя *направленность* на что нибудь, интенциональность, по терминологии Husserl'a. Следующий прекрасный пример из книги Messer'a (Empfinden und Denken") поясняет различие между „ощущением" и „актом" и вместе с тем иллюстрирует многообразие и содержательность акта даже в его, я бы сказал, простейшей форме, акта восприятия: „я иду темной шоссейной дорогой из леса в город мимо лугов. В течение каких нибудь 2 — 3 минут выступают на передний план моего сознания следующие *ощущения*: справа от меня серобелые полосы, слева щелкающий шум, затем слева сзади меня как бы на большом расстоянии более сильный глухой топающий грохот; позади меня быстро чередующиеся звуки. Но насколько же превосходит то, что я „*воспринимаю*" только что перечисленные комплексы „*ощущений*"! Я вижу туман над лугами, я слышу кваканье лягушек в пруду налево от шоссе, я слышу проезжающий по более отдаленному железнодорожному полотну поезд и наконец позади себя слышу велосипедиста, предупреждающего меня своими звонками". Итак в восприятии мы имеем, кроме элементов ощущений еще момент *подразумевания*, *мышления* об'ектов. Но не только в восприятии мы имеем дело с актами или с интенциональными переживаниями. Направленность на что нибудь мы открываем и в представлениях и при каждом суждении, при умозаключениях, при аффектах любви и ненависти, при наших стремлениях и отталкиваниях, при радостях и печалях. Во всех этих переживаниях мы внутренно направлены на что нибудь, мы „*мыслим*" что нибудь. Во всех их во всяком случае заключается акт сознания об'екта. Это „знание, подразумевание об'екта" („об'ективирующий акт"), этот „мыслительный" акт является предпосылкой всех иных переживаний, всяких иных актов, напр. эмоциональных, волевых и т. п. фактически, конечно, все эти акты являются неразрывными частями одного и того же переживания. Особенно удачным нам кажется термин „акт", так как этим подчеркивается явно

активный характер, присущий явлениям сознания, направленным на тот или иной предмет. Совсем иначе рисует психические явления ассоциационная психология, представляя их как пассивную смену зацепляющих друг друга по ассоциации образов и представлений, пассивную смену, происходящую в пассивной среде.

Два свойства присущи актам: во-первых, их характеризует „направленность" на предмет и во-вторых, сами акты ускользают от нашего восприятия. Действительно, самонаблюдение подтверждает, что самые акты, следовательно и самомышление трудно уловимо, так как наше „я" едино и неделимо. Мысля *что нибудь*, оно не может одновременно мыслить свое мышление. Этим Külpe и об'ясняет, почему применявшиеся до сих пор способы наблюдения не могли обнаружить самый процесс мысли и вообще проявления нашей психической активности. Когда переживание закончилось, тогда путем воспроизведения его может быть до известной степени восстановлена и изучена его характеристика, что в сущности и делалось в опытах Bühler'а и др. Эта трудная уловимость путем восприятия, это ускользание от восприятия—не являются ли они характеристикой той ненаглядности, отсутствия образов, что играет столь выдающуюся роль в выводах новой функциональной психологии в отличие от старой ассоциационной психологии с ее образами воспоминания.

Мы более подробно остановились на работах Вюрцбургской школы потому, что нам кажется, что здесь мы находим новые плодотворные точки зрения для понимания высших интеллектуальных процессов, для понимания и акта речи и его расстройств. Пока мы хотели бы зафиксировать следующие точки отправления:

1) Столь принятые в невропатологии и в частности в учении об афазии термины, как представления слов или словесные образы воспоминания (Wortvorstellungen, images verbales), свойственные ассоциационной психологии, не играют такой роли в высших интеллектуальных процессах.

2) Мышление является чистым, первичным актом, совершенно аналогичным по своей первичности ощущениям. В нем на первый план выступает элемент активный, действенный, направленный на что нибудь.

3) В значительной степени наше мышление и вообще наши акты по характеру своему отличаются неуловимостью.

Итак, установивши приемлемую для нас точку зрения на процесс мышления и наметивши возможность ее приложения к высшим интеллектуальным процессам вообще, мы приходим к исследованию второго выдвинутого нами в начале вопроса, каким путем мышление переходит в речь. Здесь мы прежде всего встречаемся с кардинальным вопросом о взаимоотношениях мышления и речи. В настоящее время старое учение о тожестве мышления и речи считается почти окончательно оставленным. Наиболее выдающимся защитником учения о тожестве речи и мышления был, как известно, крупный немецкий лингвист Max Müller. Но вместо того, чтобы вдаваться в подробное изложение его учения, приведу лишь критическое замечание американца Whitney: „допущение, что... рождение идеи и ее выражение, ее формулировка, составляют единый, неделимый процесс вполне аналогично выводу, что... с каждым ребенком на свет являются и его пеленки и его люлька". Любопытно, что в учении Max'а Müller'а о тождестве мышления и речи черпали аргументацию в пользу того, что интеллект глухонемых немногим превосходит таковой человекоподобных обезьян, так как отсутствие речи должно итти параллельно с отсутствием мышления. Известный учитель глухонемых Scots энергично полемизирует с подобным воззрением Max'а Müller'а. Из более новых авторов на точке зрения тождества

мышления и речи стоит напр. Ross в своей знаменитой книге об афазии. Norbert Stern („Das Denken und sein Gegenstand" 1909) говорит: „Говорить и мыслить—это единый процесс. Мы не можем быстрее мыслить, чем говорить. Мысли, предупреждающие нашу речь, уже являются речью. Способность мышления с физиологической стороны обусловливается способностью речи. Так тому, чьи органы речи более развиты, доступно и более быстрое развитие речи". Müller—Freienfels *) пишет: «Не так, что сначала является мысль, а затем мы ее облекаем в слова, наоборот, совершенно автоматически определенные моменты ведут к речевым движениям и уже в процессе речи формируется мысль». Из новейших авторов врачей Moutier,**) большой знаток вопросов афазии, также стоит на точке зрения тождества мышления и речи „мысли", говорит Moutier, слова и их отвлечения их образы составляют совершенно неделимое целое, где каждый элемент не может быть выделен. У человека мысль проявляется исключительно словом". Отчасти и Egger в своем „La parole interne" стоит на близкой точке зрения.

Однако выводы, к которым приходилось притти при изучении больных с растройствами речи, совершенно отвергают теорию тождества мышления и речи. Еще в 1909 г. *мною****) призводились исследования интеллекта, умственных способностей афазиков при этом удалось выяснить с достаточной убедительностью, что несмотря на расстройство речи, о распаде интеллекта, о котором в это время много писалось французскими невропатологами P. Marie u Moutier, не может быть и речи. Больные с колоссальными расстройствами речи тем не менее в состоянии совершать и более сложные мыслительные акты.

Эти клинические выводы могут быть подтверждены целым рядом фактов и соображений, отвергающих не только тожество, но и параллелизм между мышлением и речью. Так весьма важным аргументом нам представляется указание на несовершенство языка и речи вообще, неспособной изложить все тонкости, все нюансы мыслей несоответствие между речью и мышлением особенно бросается в глаза, если вспомним, как одну и ту же мысль выражают люди разных степеней грамотности или образования, разных возрастов, различного опыта, разнообразных профессий. По Erdmann'у****) гениальное мышление протекает совершенно бессловесно. Bosanguet (Основания логики, пер. под. ред. Шпета 1914) спрашивает: „Должно ли суждение выражаться в словах?" и отвечает отрицательно. Stout приводит в качестве примера игру в шахматы. „Имея доску пред собою, даже ординарный игрок не нуждается в словах, чтобы представить себе ход, который он должен делать."

Мы таким образом подошли к коренному вопросу, как мышление превращается в речь. Первичным в речи следует признать не слова, а фразу, предложение. Humboldt говорит: „При всех исследованиях сущности речи следует лишь связанную речь мыслить как истинное и первичное. Разбивка ее на слова и на правила лишь мертвое произведение („Totes Madewerk") научного расчленения. В другом месте он говорит: „человек первоначально мыслит всю мысль как нечто единое и так ее произносит. Он ее не складывает из отдельных слов. Ему, наоборот, было бы весьма трудно разложить единую мысль на отдельные слова." Bosanquet указывает на то, что фраза исторически должна была предшествовать слову. Также и речь глухонемых и некоторые языки жестов основаны не на передаче отдельных слов, а целых предложений.

---

*) Zeitscher. f. Psychol. 60.

**) L'aphasie de Broca. Paris 1908.

***) К паталогии афазии Broca. Журнал Невр. и Псих. Москва 1909 г.

****) Umrisse rus Psychologie der Denker 1908.

По исследованиям Book'a (Me Psychol ot skiele 1908), а также Bryan'a и Herter'a телеграфисты и лучшие переписчики на машине воспринимают целиком всю фразу, а не отдельные слова. Изучать процесс воплощения мысли в фразу, процесс речи у здоровых пожалуй затруднительнее чем у больных, у которых могут быть нарушены те или иные промежуточные этапы между мышлением и речью. На формулировку мысли влияет прежде всего цель, которая преследуется. Экспериментальные работы Watt'a, Ach'a, Messera и др. выяснили важнейшее значение для интеллектуальных процессов того, что Watt называет задачей или заданием ("Aufgabe"), а Ache детерминирующей тенденцией. Наше „я" постоянно находится под влиянием той или иной точки зрения, предопределяющей его работу. В психологическом эксперименте роль такой детерминирующей тенденции играет задание или инструкция экспериментатора. В обыденной жизни такие задания с присущими им детерминирующими тенденциями постоянно или во всяком случае обусловливают направление нашего мышления Messer говорит (Danken und Empfinden 5 152) „Oft bewegt sich unser Denken tage-und wochenlang, ja monate-und jahrelang um bestimmte Probleme. Natürlich nicht beständig. Die wechselnden Eindrücke und Bedürfnisse des Tages unterbrechen so gut wie die Nachtruhe immer wieder die Ketten unserer Gedanken" („Часто наше мышление дни и недели, даже месяцы и годы вращается около определенных проблем. Конечно, не непрерывно. Меняющиеся впечатления и нужды дня прерывают, как и ночной отдых все вновь и вновь цепи наших мыслей.") Влияние детерминирующей тенденции лучше ассоциационной психологии об'ясняет, почему в каждом отдельном случае появляются именно такие мысли, а не иные, воспроизводятся такие „следы", а не иные и наконец, говорятся именно такие слова, а не иные. Очевидно, что на формулировку мыслей, на речь, главным образом и в первую голову влияет эта детерминирующая тенденция, то задание, которое имеет в виду говорящий. Так оратор, выступающий на митинге, все время должен иметь в виду ту цель, которая заставила его выступать. Лектор и слушатель все время должны иметь в виду тему сообщения. Она определяет, она детерминирует формулировку. Даже не будучи сознанной в каждый данный момент, тема влияет на речь, она пропитывает все ее поры. При утомлении—в особенности слушателя—ее влияние ослабевает, и она должна быть вновь воспроизведена для усиления ее действия на формулировку мыслей, на речь. Но не только тема, но и иные задания могут „определить" формулировку, напр.: одна и та же тема иначе будет выражаться в агитационной речи, иначе в научном докладе. Ясно, что действие детерминирующей тенденции должно сказываться в самом начале этапа от мысли к речи. В особенно замечательном освещении нам биологам представится детерминирующая тенденция, если мы вникнем в ее сущность, в законы влияния ее на мысль и, что нас здесь особенно интересует, и на речь. Мы без труда и без натяжки найдем сходство, а может быть и тождество с раздражителем и с условиями вызывания павловских условных рефлексов.

Другим важным моментом, влияющим не формулировку мысли, иными словами на созидание предложения, является вопрос об отношении говорящего к соединению фразы. Stern в своей интересной книге „Die Kindersprache" так определяет предложение: „предложение выражает единое, установившееся или устанавливающееся отношение к какому нибудь содержанию или предмету сознания". Из этого определения вытекает, что предложению или через эмоциональный элемент, которым что либо утверждается или отрицается, принимается или отвергается, признается желательным или не желательным и т. д. Это при вне-

сения в предложение элементов эмоциональных, характеризующих отношение говорящего, очевидно должно произойти на протяжении одного из этапов от мышления к речи. К таким элементам относятся: порядок слов в предложении, наклонение глаголов, падежи. Эти элементы даже должны предшествовать отысканию самих слов. Так следовательно сослагательное наклонение, напр., уже формируется, оно уже готово еще до появления самого слова. Далее отношение говорящего выражается рядом элементов речи, которые можно вместе с Pick'ом*) назвать музическими. Сюда относятся модуляция голоса, интонация, ударение, затем темп паузы. Интересно, что и жесты, сопровождающие речь Ross ставит на одну доску с интонацией, с ритмом, с мелодичностью голоса. Не могу не сопоставить с этим чудесных слов Romain Rolland'а В его романе, описывающем жизнь знаменитого музыканта („Jean Christophe"):„ Une inflexion de parole humaine, le rythme d'un geste, l'harmonie d'un sourice, lui suggerent olus de musique, que la symponie d'un confrère" („оборот человеческой речи, затем какого нибудь жеста, гармония улыбки казались ему более музыкальными, чем симфония товарища композитора").

В другом месте того же романа мы находим иллюстрацию мысли что от отношения говорящего зависит весь смысл фразы: „Bourgeois ou peuple, tout francais est grand mangeur de parole, autant que de pain. Maistous ne mangent pas le même pain... si les mots sont les memes, ils ne sont pas petris de la même facon; la saveur et l'odeur, le sens est different" („Всякий француз—буржуа ли или простолюдин—большой потребитель фразы, как и хлеба. Но не все едят один и тот же хлеб. Если слова и те же, они не вылеплены по одному фасону; ведь их и запах, смысл их различен). „В детской речи мы находим особенно много примеров тому, как одно и тоже слово, смотря по разнообразию отношения говорящего выражает совершенно различные мысли, напр., в устах ребенка „тул" может обозначать: „вот стул" или: „я хочу, чтобы меня посадили," или: „отдай мой стул" или: „куда делся мой стул?" или: „вчера я упал со стула" и т. д. и т. д. Речь животных, поскольку изучение ее нам доступно, обладает почти исключительно теми элементами, которые мы только что охарактеризовали как музические. Они оперируют интонацией, модуляцией голоса, ударением, темпом, паузами. Сюда же относятся и мимика и жесты. Следовательно речь животных должна быть квалифицирована как эмоциональная.

Из только что сказанного мы можем сделать ряд интереснейших выводов для нервной клиники. Онтогенез повторяет филогенез, т. е. развивающийся организм повторяет историю развития рода. Действительно, мы только что видели, что в детской речи, как и в речи животных именно эмоциональный элемент, отношение говорящего, играет огромную роль. Но по знаменитому закону Jackson'а, в паталогии те функции организма являются наиболее стойкими, которые филогенетически более стары, т. е. те, которые уже могут быть констатированы в ряду животных. Наоборот, те функции, которые развились позже, раньше и погибают. И действительно, у громадного большинства афаликов интеллектуальные элементы, речи которые развиваются, как мы видели и онтогенетически и филогенетически значительно позже, пропадают обычногор аздо скорее, и остаются лишь музические эмоциональные. Такие больные одним каким нибудь словом—иногда единственным у них оставшимся—выражают ряд разнообразнейших эмоций, своих отношений к тому или иному явлению. Так у нас в клинике лежала больная афазией, у которой весь запас слов органичился словами:

*) Die aggramatischen Störungen. Berlin 1914.

„ту ту Ваня". Но сколько нежности, угрозы, недовольствия, жалоб, радости, горя, упрямства, смирения, нетерпения, удивления, равнодушия, восторга она умела вкладывать в эти словы! Она положительно могла быть охарактеризована как наиболее красноречивая больная отделения.

Но изучение наших больных под углом зрения психологических фактов, нами здесь развернутых, дает нам некоторое указание и на то, с целостью каких мозговых участков связана эта эмоциональная сторона речи. Известно, что центры речи находятся в левом полушарии мозга. Однако есть указания, что музыкальные способности локализируются в правом полушарии. И по новейшей иностранной литературе и на основании случаев, нами демонстрированых, это предположение крайне вероятно. И вот нам удалось доказать, что как раз в случаях афазии, где музыкальность оказывалась особенно хорошо сохранившейся, как напр., у упомянутой больной: „ту ту Ваня," которая хорошо пела, хороша была и эмоциональная сторона речи, по крайней мере в ее музических частях, интонации, мимике, жесте и. т. Конечно, отсюда напрашивался вывод, что эмоциональные составные части речи локализируются не в левом, а в правом полушарии. Как видите, оправдалась мысль Ramon y Cajal'a, что психология может более содействовать пониманию строения мозга, чем обратно.

Но вернемся к вопросу о формулировке мысли, т. е. к процессу перехода мысли в речь. Кроме детерминирующей тенденции и кроме отношения говорящего, огромную роль в построении фразы, в речевой формулировке играет ситуация, т. е. положение, в котором находятся и из которого исходят говорящий и слушатель. В зависимости от того, что говорящий предполагает данным для слушателя, не нуждающемся в словесной передаче, как само собою разумеющееся или ему хорошо знакомое, строится фраза из большего или меньшего числа слов, с большим или меньшим арсеналом выразительных или изобразительных средств. Иногда одно лишь слово рисует целую сложную ситуацию и так и воспринимается слушателем или читателем. Сюда относятся напр., слова команды во время битвы, окрик часового: „кто идет?", содержащий и запрещение ходить и предложение удалиться и угрозу воздействия. Или слова: „пожар!" „караул"! и т. п. Более или менее полное понимание ситуации предопределяет в значительной степени всю конструкцию фразы. Иногда мысль выражается одним жестом, прекрасно понимаемым собеседником, в котором он вызывает те же переживания, те же мысли. Очевидно, что ситуация, действующая сплошь и рядом чисто автоматически, проявляет свое влияние еще в стадии, предшествующей построению фразы и нахождению слов. В наших исследованиях расстройств речи мы могли выяснить, что различная оценка ситуации в разных случаях приобщает речи различной патологический характер. Так в одних случаях мы об'ясняем многоречивость больных отсутствием гормозящего влияния ситуации, а в других случаях наоборот мы об'ясняем явления ограничения и уменьшения речей продукции большим использованием уцелевшей функции ситуации. Громадная роль ситуации обнаруживается уже и в нормальной разговорной речи, которая часто построена не как литературная полными законченными фразами, а пестрит трафаретными словами: „и т. д., и т. п., конечно, Вы меня поняли". Говорящий понимает, чувствует, что слушатель усвоил себе исходные точки, прочувствовал его мысль, заинтересован ею, предугадывает ее дальнейшее развитие. „Всегда то, что говорится, значительно менее того, что заключено во фразе", говорит Bergson. Этим об'ясняется действие краткой остроумной поговорки, пословицы, bon mot, которое теряет при его разжевывании. Maeterlinck, в своих

пьесах создает сначала такое положение, такую ситуацию, воспринимаемую и прочувствуемую всеми настолько интенсивно, настолько болезненно, что для речевого проявления переживаний действующих лиц не требуется совершенно многих слов: все и так ясно, и немногими, ничего не говорящими словами достигаются колоссальные эффекты. Наоборот, нередко и в обиденной жизни излишняя болтливость проистекает из недостаточного влияния ситуации на говорящего. Так без натяжки мы могли бы и старческую болтливость в некоторых случаях об'яснить недостаточной оценкой ситуации. Велико значение ситуации и в психологии глухонемых и в психологии животных. Здесь сплошь и рядом жест, междометие и т. п. устанавливают теснейшую связь между выражающим и воспринимающим мысль только благодаря связующей роли ситуации.

Очертивши ряд моментов, отмечаемых на различных этапах от мысли к речи, мы должны еще вкратце остановиться на „словесном" элементе речи. Мы уже видели, что фраза или предложение образуется, как нечто единое, первичное и что выделение отдельных слов уже является искусственным. Но можем ли мы принять предпосылкой каждого слова в отдельности представление об об'екте, им обозначаемом, представление, вызывающее звуковой, зрительный и двигательный образ слова? Когда мы говорим или слушаем речь, в нашем сознании, конечно, не возникает за каждым словом представление его об'екта или образ воспоминания слова. При целом ряде слов, особенно таких, которые связывают отдельные части предложения, как предлоги, союзы, местоимения совершенно немыслимо себе представить решительно никаких наглядных образов. Сюда относятся также и глаголы напр. в данной конкретной форме наклонения, времени и залога. Можно ли себе представить какие нибудь образы напр. при словах: хорошо, нет, и, лишь, хотя, или, а, также, сходство, вечность, форма, догадаются, оценили бы, и т. д? Наконец, когда слышим или произносим слова с несколькими значениями, так называемые слова—синонимы, разве хотя бы на секунду мы переживая момент выбора или малейшую заминку в схватывании правильного смысла слов, как напр., при словах коса, лук, нос, соль, лист и т. п.? Schopenhauer спрашивает: „неужто мы переводим выслушиваемую нами речь в образы фантазии, мчащиеся молниеносно мимо нас, сцепляющиеся превращающиеся сообразно притекающим словом и их грамматическим оборотом? Какой сумбур был бы у нас в голове при выслушивании речи или при чтении книги? Во всяком случае так не бывает". К таким же выводам пришли на основании экспериментальных исследований Cl. O. Tarlov („Ueber das Verstehen von Worten und Satzen"), A. Binet („l'etude experimentale de l'intelligence"), а также психологи Wats, O. Schultze и Messer, изучавшие этот вопрос при помощи реакционных слов. К таким же выводам пришли и мы на основании наших исследований больных с расстройствами речи. Никаких образов, никаких представлений, ни звуковых, ни зрительных, ни двигательных у наших больных при произнесении слов не оказывалось.

Если мы теперь попытаемся восстановить, что мы в сущности узнали об отношениях между мышлением и речью на основании наших справок и экскурсий в область смежных дисциплин и на основании наших клинических данных, то мы не можем не согласиться со словами Buhler'а, отвечающего в конце своей работы на этот же вопрос так: „Об этом мы ведь знаем весьма мало. Правда уже часто этот вопрос подымался, еще со времен Lazarus'а Steinthal'я известно, что между ними существует некоторое несоответствие. Но столь казалась бы близкая мысль о том, чтобы изучать в живой действительности, как и по-

каким законам к мышлению примыкает речь, еще никому не приходила в голову. „Наши опыты" продолжает Bühler: бросают на этот вопрос лишь слабый свет, они аранжированы не для его разрешения. Но каждому, кто наши опыты просматривал и их переживал, одно должно казаться положительно наивным, а именно допущение, что отношение между мыслями и словами может быть без остатка понятно, как ассоциации".

Мне кажется, из всего вышеприведенного с достаточной убедительностью действительно вытекает, что строить связь между мышлением и речью на почве ассоциационной психологии, прибегая к помощи образов об'ектов или образов слов, не представляется возможным. Мне наоборот представляется, что речь можно рассматривать только как совокупность ряда актов, которым свойственны те два основных качества актов, которые, как мы выше видели, характерны для них, а именно: 1) Направленность на что нибудь (интенция), в данном случае на об'ект речи и 2) ускользаемость от восприятия. Мы воспринимаем смысл речи, но нам с трудом удается уловить самый процесс актов, составляющих интегральные части речи. Последняя состоит не из простого набора слов, а заключается в актах, придающих словам значение или смысл. Нам представляется, что и по отношению к речи, как и по отношению к мышлению нам надлежит освободиться от фетишей ассоциационной психологии, образов воспоминания слов, звуковых, зрительных, двигательных. Весь сложный непрерывный акт речи держится не на всплывании этих образов воспоминания, существование которых в сущности совершенно не доказано. Разве не ясно, что в каждой фразе каждое слово имеет свой особый смысл, отнюдь не тождественный с таковым в другой фразе? Оно не трафарет, не клише, каковым нам рисуется образ воспоминания слова. Разве живая речь не есть нечто более активное, „направленное", творческое, не есть ли она функция всей нашей душевной жизни, сложной, многогранной, разнообразной, но прежде всего единой и неделимой? Вот в этой замене „асоциационных" терминов и точек зрения „функциональным" понятием „актов" мы усматриваем то крупное положительное значение новой психологии мышления для понимания речи. Мы далее видели, какие процессы „активные" имеют место во время перехода мысли в фразу. Так мы узнали, что конструкции фразы предшествует влияние ситуации, влияние детерминирующей тенденции, затем целый ряд моментов, которые должны служить изображению отношения говорящего к высказываемому, т. е. эмоциональной характеристике фразы. Мы видели также, что общая схема фразы, характеристика ее, как утверждающей или вопросительной, условной или неопределенной, порядок слов, наклонения и пр. очевидно также должны предшествовать нахождению самих слов. Также и музические элементы, интонация, ударение паузы, темп, ритм—все эти неотемлемые составные части живой речи также в свое время должны быть переживаемы при переходе мысли в речь. Из дальнейших переживаний сознания при речевой формулировке мысли мы наконец упомянем здесь лишь еще о тех состояниях которые Marle характеризировал „Bewustseinslage" („положение сознания"), и Ache как Bewusstheis („сознанность") Marle описывает как положение сознания такие явления" сознания, содержание которых или вовсе ускользает от ближайшей характеристики или с трудом поддается таковой". Ach о сознанности пишет: "...есть весьма сложные содержания, части которых в их разнообразных взаимоотношениях сознаются без того, чтобы эти отдельные содержания были представлены или даже могли бы быть представлены в виде своих адэкватных речевых обозначений. „Pick об этих состояниях сознания не без основания полагает, что дело идет о стадии мышления, непосредственно предшествующей речи, подготовляющей речь. Так

Ach в дальнейшем пишет: „Кроме того, мы видим, напр., молниеносно мгновенное сверкание сложного содержания, которое словесно могло бы быть выражено лишь в нескольких фразах—процесс, который при кратковременности своей не может быть дан во внутренней речи."

Мы проанализировали мышление и речь и убедились в недостаточности ассоциационной психологии для об'яснения этих явлений. Мы убедились в том, что мышлению и речи свойственны все признаки актов; мы проследили этапы, по которым мышление превращается в речь и отметили весь комплекс актов, формулирующих мысль. Прежде чем закончить свой и без того затянувшийся доклад, хотелось бы хотя вкратце коснуться вопроса о том, какие выводы более практического, более конкретного и жизненного характера можно было бы сделать из всех выше приведенных лабораторных и клинических данных. Позвольте вам напомнить замечательную сцену из 1-й части Гётевского „Фауста", где Мефистофель посвящает наивного ученика во все премудрости наук:

„В словах—науки скрыта суть;
В словах вы путь прямой найдете
И в храм премудрости войдете."

Ученик:

„Но смысл какой нибудь мы в слове выражаем?!"

Мефистофель:

„Прекрасно,—только не всегда:
Где мысли нет, там без труда
Ее мы словом заменяем;
На слове споры мы ведем;
Системы строим мы на нем;
Слова—религии основа;
Для нас священа нота слова."

К сожалению, слова Мефистофеля отнюдь не шарж. Не только в средние века, но и в наше время наука в значительной степени строилась на словесных толкованиях и комментариях. Сколько кабалистики и схоластики, сколько формализма вносилось не только в гуманитарные, но и естественные науки. Процветавший в классической древности культ слова в крайне изуродованном виде насаждался и у нас. И не в том горе, что изучались правила риторики, читались замечательные образцы классической прозы, поэзии и философии. Отрицательным нужно квалифицировать метод, при помощи которого все преподносилось. Главное внимание концентрировалось на форме, на грамматике, на аористах. Но и в дальнейшем, после упразднения классицизма и с выдвиганием на первый план естественно-исторических наук мы встречаемся с с отрицательным моментом в преподавании: часто приходилось наблюдать преувеличения в принципе наглядности обучения. Учащиеся действительно получали массу разнообразных сведений: они знакомились с интереснейшими фактами,—словом у них накоплялся богатый запас более или менее ценных элементов; но были ли они в состоянии ими оперировать? Развивалась ли у них способность распоряжаться всем приобретенным? Развивалась ли у них достаточная активность восприятия, умение мыслить то, что воспринималось, отвлечься от символа слова, которое, как мы видели, далеко неконгруентно с мыслью, им передаваемой? Суть дела—то, что мыслится, недостаточно выдвигается принципом наглядности в школе. Чтобы мыслить что-либо, требуется, как мы

видели активность, требуется творческой акт, порыв, если хотите, экстаз. Позвольте мне вновь цитировать Гётевского Фауста:

„Написано: в начале было *слово*;
И вот уже преграда мне готова
Могу ли слову я такое дать значенье?
Его переменить я должен, без сомненья,
Коль понят смысл, как должно, мной,
Не лучше ли сказать, что разум был в начале?
Одумайся над первою строкой,
Чтоб избежать ошибок дале.
Не разум созидает и творит;
Верней сказать: была вначале сила:
Но снова что-то сердцу говорит,
Что это мысль в себе не совместило...
Но я прозрел! Мне ясно все опять,
И „Дело" я решаю написать."

Не трудно убедиться, что и во всем изложенном нами выше во главу угла был положен принцип активности, дела, действия („That"). Мы его проводили и при анализе мышления, и при анализе речи. Но совершенно неприемлемым нам кажется противопоставление Фаустом Разума Делу: „не разум созидает и творит." Наоборот, под „Делом," „Действием" следует понимать, конечно, и мыслительные процессы. И с подобным же протестом хотелось бы обратиться против одного из односторонних увлечений из области школьного дела уже наших дней. На первый план в школе выдвигаются так называемые трудовые процессы. И мы этот принцип считаем крайне плодотворным и целесообразным. Но нам известно, во что он выражается во многих местах. Под трудовыми процессами подразумевают нередко один физический труд. Совершенно упускается из вида, что мышление, а также выражение мыслей есть также активный трудовой процесс, который отнюдь не должен занять менее привилегированное место, чем труд физический. Совершенно не соответствует его сущности, когда и на школьной скамье а нередко и в общественной жизни умственный труд и его представители, сколько бы их ни ценили, все-таки в конце концов ставятся на низшую степень в смысле общественной ценности, чем представители труда физического. По крайней мере так нередко может показаться. Эта недооценка мыслительных процессов глубоко ошибочна. В задачу не только высшей школы, но и единой трудовой должно входить: 1) развитие самостоятельного мышления, 2) развитие способности ясно и адэкватно по возможности со всеми деталями передавать свою мысль и 3) борьба с программой Мефистофеля: „где смысла нет, там без труда его мы словом заменяем." Подростающее поколение надо приучать не только узнавать, не только пассивно устанавливать ассоциационные связи; его надо заставить *мыслить*, *понять* все воспринимаемое, *вчувствоваться* во все явления, *активно их переживать*. И если это свойство необходимо всякому сознательному человеку, то для двух профессий оно положительно обязательно: для профессий педагога и врача.

Мы выше видели, насколько мысль и ее формулировка зависит от „задачи," от так называемой детерминирующей тенденции. И для нас ясно, как важно, чтобы в школе и в высшей школе в особенности детерминирующей тенденций были интересы и благо всех трудящихся. Позвольте мне закончить пожеланием, чтобы Белорусский Государственный Университет действовал и работал много, много веков, воодушевленный во всех своих частях этой же детерминирующей тенденцией.

М. Б. Кроль.

Логика истории, как онтология единичного.

I.

В 1916 г. вышел 1-й том обширной работы Г. Г. Шпета „История как проблема логики. (Критические и методологические исследования). Часть I. Материалы.“ Проф. Шпет защищал эту свою работу, в качестве диссертации на степень магистра философии, в Московском университете в мае 1916 г. На этом диспуте я выступил неофициальным оппонентом и изложил в моих возражениях основное содержание настоящей статьи, которая в законченном виде была прочтена в 1918 г. в виде докладов в ученых обществах: истории, археологии и этнографии при Казанском университете и в историко-филологическом обществе при университете Самарском. Тяжелые условия военного и революционного времени не позволили мне ранее опубликовать этой статьи, и только теперь открылась возможность напечатать ее в новом ученом органе только что возникшего Белорусского Гос. университета в Минске. Выражая признательность Минскому университету за предоставленную возможность опубликования научных работ, мы выражаем горячие пожелания процветания молодому университету и предпринятому им периодическому изданию.

II.

История новой философии производит сначала на изучающего ее впечатление хаоса теорий, систем, мировоззрений, и лишь после внимательного ее изучения и вдумывания в нее этот хаос начинает упорядочиваться, история начинает получать вид систематического развития, тенденции которого можно уловить. Особенно заметно это в области философии теоретической—в учении о познании и о реальности. В XVI веке, в первом столетии „новой“ культуры—внимание многих крупнейших умов было сосредоточено на общей картине мира, как целого, и на положении в нем нашей земли и человека. Коперник, Дж. Бруно, в конце века Галилей, Тихо де Браге и др. создают новую космографию и астрономию; открытие Америки и морского пути в Индию, первые кругосветные путешествия ставят на новый путь географию. Это умственное движение производит глубокое влияние и на философию, получающую в эту эпоху пантеистически-космологический характер... Но вот, борьба из за общей картины мира в основном закончена: новые идеи, очевидно, побеждают,—и в XVII веке настает эпоха механики и физики—время расцвета математического естествознания. Мыслители от общей, геометрической картины мира переходят к изучению механизма материальной природы, хода ее процессов. Декарт и Гоббз, Спиноза и Лейбниц—с одной стороны, сами математики и физики (или, по крайней мере, являют черты этих наук на методе своей философии), а с другой —и вся философия их стоит под знаком этих отраслей науки. Для XVIII века характерно влияние на философию анализа познавательной проблемы, получающей самостоятельное значение именно с этой эпохи, с выхода в свет (в 1690 г.) Локкова „Опыта“. Локк и Беркли, Юм и Кант создают в эту эпоху гносеологию. С XIX веком наступает время расцвета наук, с одной стороны, химических и биологических, а с другой—исторических и общественных. Особенно важно развитие в этом столетии исторических точек зрения и приемов мысли: они получают

значение не в какой-либо одной области, а окрашивают все мировоззрение. Кант и Лаплас в истории мироздания, Ляйель и др. в геологии, Ламарк и Дарвин в биологии, Гегель и Спенсер—в двух типах общего эволюционного учения о мире, человеке и познании, О. Конт, Д. Ст. Милль, Бокль—в пределах одного направления социальной динамики, Маркс, Энгельс и др.—в рамках другого—все это явления, крайне характерные для истекшего столетия.

Конечно, периоды в развитии мысли далеко не точно совпадают с рамками столетий. Кроме того, научный капитал всех предшествующих эпох сохраняется и в эпохи последующие, конечно, пополняясь и модифицируясь под влиянием вновь возникающих точек зрения, стесняющих, но не отменяющих окончательно идеи, выработанные в предыдущие периоды. Человечество как бы захватывает одну за другою области бытия и мышления, изучает каждую их них и тем подготовляет какой-то всеоб'емлющий синтез, лишь смутно намечающийся для нас в виде конечного идеала.

III.

Итак, XIX век—в значительной степени есть век истории. Богатое развитие исторических исследований, создание методологии истории, утверждение в мыслящих умах целого ряда идей и привычек мысли, характерных для сферы истории. Таковы идеи изменчивости, и именно закономерной изменчивости, относительности, consensus'а и взаимного влияния различных сторон действительности, традиции и др.; таковы „историческое чутье" и „исторический смысл", как особые, частью ставшие уже бессознательными, автоматическими—мыслительные функции, и т. д.—все это приобретения XIX века, завещанные им нашей эпохе. Около половины этого века (в 1843 г.) выходит в свет „Система логики" Д. Ст. Милля, дающая в VI-й книге первый связный очерк методологии „нравственных наук," к которым Милль относит и историю, понимаемую им в „номотетическом" духе. Полустолетием позже Виндельбанд и Риккерт выдвигают, в противовес миллевскому, понимание истории, как науки о единичном, неповторяющемся, единственном в полноте своих определений („идиографическое" понимание истории, как науки об индивидуальном)*). Единичное, индивидуальное начинают особенно интересовать мыслителей, в частности и русских. Проф. Лаппо-Данилевский строит свой курс „Методологии истории" на основе идиографического понимания; С. Гессен развивает брошенную Риккертом мысль об „индивидуальной" причинности, как об особом, специфическом типе причинного отношения. Наконец, проф. Шпет ищет онтологического обоснования права истории на звание науки, пытается создать онтологию единичного, пользуясь некоторыми из учений XVIII века, особенно идеями Хр. Вольфа. В вышедшей I-й части автор дает только „материалы", но еще не высказывает систематически своих собственных воззрений на историю и ее методологию. Поэтому нам приходится быть очень осторожными в оценке его работы с этой ее стороны. Надеемся, однако, что мы правильно уловили основную, онтологическую тенденцию автора, его стремление опереть логику истории на онтологию единичного. Менее ясным представляется нам смысл брошенных мимоходом положений автора, что исторические факты об'ясняются „из факторов, а не из причин." Несомненно, подлинный смысл этих утверждений будет выяснен в дальнейших частях работы. Пока же (оговариваясь, что утверждения автора для нас не вполне ясны), мы затрудняемся отграни-

---

*) Несколько замечаний по этим вопросам я включил в мою статью, предпосланную 2-му изданию перевода „Система логики" Д. Ст Милля.

чить „факторы“ от „причин.“ Ведь нет ничего невозможного, что „факторы“ суть не что иное, как *ряды причин*, непрерывно действующих *в одном и том же направлении в те периоды*, когда эти причины *не парализуются противоположными им*, и прекращающие свое влияние с того момента, как эти парализующие причины одерживают верх... Тогда термин „фактор“ будет просто *словом*, обозначающим однородную категорию частных, конкретных, фектических причин... Признаемся, мы не можем составить себе никакого иного понятия о „факторе.“

В дальнейшем я остановлюсь преимущественно на тех пунктах, в которых я не совсем согласен с автором. Но это нисколько не мешает мне признавать достоинства его труда. Невыясненность некоторых теоретических вопросов об'ясняется, быть может тем, что задачей I-й части является еще не решение вопросов по существу, а лишь составление критического интентаря „материалов.“

IV.

Разработка логики и методологии наук, в том числе и истории, составляет одну из насущных задач современной философии.

Прежние, „номотетические“ понимания истории в значительной мере проходили мимо истории, как таковой; более новые, „идиографические“ истолкования ее далеко еще не вылились в такие формы, которые могли бы удовлетворить специалистов-историков, в ежедневной работе своей сознающих, что такое „история,“ но еще не нашедших для этого своего сознания адэкватного теоретического выражения. В пределах русской исторической науки вопросы эти привлекали к себе за последнее время внимание целого ряда ученых исследователей (указатель более ранней литературы по вопросам методологии истории, правда, не совсем полный —дан С. И. Гессеном при его переводе книжки Г. Риккерта „Философия истории“, см. также в моей статье „Д. С. Милль и его система логики,“ предпосланной 2-му изданию вышедшего под моей редакцией перевода „Системы логики“).

Г. Г. Шпет подходит к логике истории, однако, не так, как подходили почти все русские исследователи—историки, как подходил к ней и Милль, когда писал VI-ю книгу своего сочинения, посвященную „логике нравственных наук.“ Милль исходил из определенного круга идей некоторых из современных ему историков и социологов (преимущественно О. Конта и Бокля), воззрения которых на историю казались ему правильными; он пытался вскрыть те предпосылки, из которых они исходили, и формулировать правила тех методов, какими они строили свою историю и свою социологию. Как раз обратно этому, проф. Шпет не останавливается на анализе *фактических* процессов работы историков; он не анализирует того, как в действительности историки (различных направлений) вели свои исследования. Он подходит к проблеме не как историк-исследователь, а как философ; он хочет уловить *сущность* „исторического“ вообще, как „предмета,“ не считаясь с тем, какими приемами и в каких контурах и формах конструировался исторический процесс в фактически существующей историографии.

Оправдание или отвержение такой постановки вопроса зависит от того, согласимся мы или нет с автором в его понимании логики и как вообще мы конструируем эту науку, а также от того, как мы отнесемся к тому частному содержанию, какое автор вкладывает в свое („онтологическое“) конструирование истории. Для решения последнего вопроса автор не дает еще всех данных, так как вышедшая I-я часть работы дает лишь материалы, которые автор „решил представить как instantiae negativae против некоторых утвердившихся в истории философии предрассудков и предвзятых суждений“ (стр. V). При этом автор

хронологически ограничивает свою задачу XVIII веком, так что фактически содержанием I-й части его труда является изложение и критика некоторых построений логики истории XVIII века (преимущественно рационалистического направления) в их отношении к онтологическому пониманию истории.

Тот факт, что автор исходит не из фактической историографии XVIII века, а из рационалистической схемы истории, как „предмета“ мысли, об'ясняет нам, почему у него на втором плане остаются имена писателей, действительно сделавших вклады в методологию писания и конструирования истории, и на первый выступают иногда имена тех, кто для фактической историографии не сделал почти ничего, но у кого автор считает возможным, так сказать, приютить свою онтологию истории. Таков для него особенно Хр. Вольф.

V.

Само собой разумеется, автор, даже изучая только „материалы“, не мог обойти некоторых общих точек зрения, должен был установить свои основные понятия. Он сам указывает (стр. 47), что „в области его предпосылок есть *много спорного*,—их обоснование есть дело будущего“ сам говорит (стр. 21) о „некоторой неясности и предварительности вводимых им определений“. Не удивительно поэтому, что и читатель книги остается не всегда удовлетворен в этом отношении.

Прежде всего, как понимает автор *историю?*.

Понятие „истории“ в обычном словоупотреблении имеет двойственное значение. Им обозначается, с одной стороны, всякий вообще *процесс*, всякая последовательность изменений, моменты которой связаны один с другим; с другой стороны „история“ обозначает специально только *общественный процесс*. В первом смысле говорят об „истории“ мира, солнечной системы, земли, об истории лошади, как зоологического типа, об „истории кусочка хлеба“ в пищеварительных органах человека, и т. д. Во втором смысле „история“ входит в состав *общественных* (у Милля „нравственных“) наук; в таком значении она занимает место, без всякого ближайшего определения, в системе научного образования. Недостаточное внимание к этой двойственности смысла термина повредило отчетливости воззрений Г. Риккерта, сначала отожествившего историю с „науками о культуре“, а затем оказавшегося вынужденным признать „исторические отделы“ и в „науках о природе... Проф. Шпет также не дает одного определения „истории“— такого, которое устанавливало бы значение этого термина раз навсегда в пределах его работы, а ограничивается высказанными мимоходом, связанными лишь с каждым отдельным местом текста и не вполне согласными друг с другом полу-определениями, полу-описаниями. Так, на стр. 21 мы читаем: „*история есть* в конце концов *та действительность, которая нас окружает*... Только в истории эта действительность выступает в своей безусловной и единственной полноте; по сравнению с историей всякая другая действительность должна представляться как часть или абстракция“ (курсив автора). Здесь „история“ понимается в самом широком смысле,—как конкретная реальность во всей ее полноте.*) Но на той-же странице автор, сказав, что „философия свое общее учение о предметности бытия и сущности“ специфицирует в применении к частным вопросам, прибавляет: „в числе

*) Тот же смысл имеет и определение исторического познания на стр. 272: „историческое познание есть познание вещей, которые суть или возникают“, а также то, что автор говорит на стр. 24: „раскрыться и обнаружиться абсолютное может только в историческом процессе, потому что это есть единственная область полной и несокращенной действительности“.

этих спецификаций найдет свое место также социальное, как предмет, *в частности также историческое*" (курсив мой). Тут уже „историческое" есть лишь частный случай „социального", и значит, все, что не имеет социального характера, не будет и историческим,—здесь „история" фигурирует в ее наиболее специальном значении—*истории общественности*. На след. (22) стр. автор даже ставит рядом оба эти значения; „подходя, говорит он, к проблеме *истории, как проблеме действительности*, мы не можем игнорировать одного обстоятельства, являющегося решающим при самом описании и определении *исторического и социального вообще*." И далее в этом параграфе автор говорит вместе о социальных науках и об истории.

Таким образом, автор, как нам кажется, недостаточно ясно разграничивает указанные выше два понимания „истории": как всей конкретной действительности во всем многообразии ее сменяющихся во времени моментов и как „социального", взятого с известной стороны и изучаемого одною из социальных наук.

VI.

Какими же чертами характеризует автор „историю", как изучение общественного процесса?.

Он не дает по этому вопросу законченной теории, как этого и естественно ожидать от работы, посвященной не столько теоретическому исследованию, сколько пересмотру материалов; однако, некоторые черты его понимания истории, как социальной науки, можно все же найти в книге. Так, автор говорит об „историческом познании, как о познании единичного" (265), как о ,,теории единичного конкретного предмета'' (269). Само по себе это значение ,,истории'' можно было бы отожествить с понятием истории, как полной картины действительности. Но автор специфицирует свое понятие ,,единичного'', ставя его в связь с *неповторяемостью* и *случайностью*; и тогда этот смысл перестает уже совпадать с „полной картиной действительности", так как такая картина этих черт, сама по себе, не содержит; моменты действительности могут, отвлеченно говоря, и повторяться, и быть не случайными. Если оставить в стороне признак случайности, то неповторяемость действительно можно отожествить-только *не с единичным, а с единственным* (*однократным, немножественным*) во всем многообразии его *индивидуальных* черт,—что может отнюдь не исключать, конечно, повторяемости типических, более отвлеченных, менее конкретных схем... Но автор не ограничивается этим и вводит в понятие истории не только абсолютную неповторяемость, но и ,,случайность'' ее содержания. Так, на стр. 162 он ставит рядом: „случайный, или единичный'', на 421: ,,история есть область случайного, или фактов''. И он приветствует в рационализме то, что он называет ,,философичностью самого факта'' (422), ставя ,,подлинно исторический метод'' в зависимость от вопроса об открытии ratio—разумного основания в потоке ,,случайных'' событий и вещей, т.-е. случайных истин, или ,,истин факта'' (287).

Что касается до основы этих случайных истин, то автор с сочувствием цитирует (469—470) Шеллинга, видящего такую основу в ,,свободе'', ,,носителем которой в истории призван быть разум, воплощенный в suingeneris предмете естественного мира—в человеческом роде..., как конкретной всеобщности организованного целого''. Шеллинг, говорит автор, ,,углубляет и по новому осмысливает старую идею, что история только там, где единичное, где нет механизма и повторения... Человек сам делает историю, и *произвол есть бог истории*''.

Как мы говорили, автор в вышедшей книге еще не разрабатывает этих вопросов, ограничиваясь лишь отрывочными замечаниями. Между тем, несомненно, вопрос о случайном и необходимом в деятельности человека заслуживает детального освещения. И пока мы не знаем воззрений автора по этому предмету, мы ограничимся простым констатированием его точки зрения.

VII.

Другое основное для всей работы понятие—это понятие *логики.*

Мы уже сказали в начале наших заметок, что в центре внимания автора стоит не собственно методологическая, а гносеолого-онтологическая проблема. Соответственно этому мы должны ожидать, что и логику он понимает как онтологическую дисциплину. И действительно, такое представление о логике у автора есть; однако, оно стоит рядом с другими пониманиями логики, уже не имеющими онтологического характера.

Сам по себе, факт многозначности термина „логика" у того или другого мыслителя ничего не говорит против его воззрений. Напротив, раз термином обозначаются несколько различных вещей, составляет заслугу их специфицировать и отчетливо выделить. И все эти вещи могут отлично совмещаться в системе воззрений мыслителя, каждая на своем месте. Такое понимание логики дает, напр., Виндельбанд в статье Die Prinzipien der Logik, помещенный в I-м томе Encyclopädie der philosophischen Wissenschaften, издаваемой А. Руге. Точнее говоря, Виндельбанд признает не одну, а несколько „логик",—а именно четыре. Логика есть для него и феноменология познания, и чистая, или формальная логика, как совокупность постулативных положений, регулирующих систему знания, и нормативная „методология", и наконец (онтологически-метафизическая) теория знания. Таким образом, логика у Виндельбанда занимает четыре различных места в общей системе философских знаний. И даже если бы кто не согласился с этими мнениями Виндельбанда в их целом, все же нельзя не признать полезности отчетливого различения отдельных аспектов, или сфер „логики".

И вот, нам кажется, что у проф. Шпета также, в сущности, не одно, а несколько понятий логики,—только он не замечает этого и убежден в однозначности этого термина в его работе. И в этом он не прав.

Автор вводит свое понимание логики как бы несколько нерешительно. Он говорит не прямо от себя, а выражается так: „Логика издавна понимается как наука о *формах* познания, или формах мышления" (38). Но что автор и сам усваивает это понятие о логике, это видно из всего содержания того параграфа „Введение" (9-го), который начинается только что приведенной фразой.

Отвергая всякое „суб'ективное истолкование термина: форма", автор приходит к выводу, что логика есть наука о тех „формах", которые „предписываются самим предметом". Это наука не нормативная (ее положение могут стать нормами лишь вторично; стр. 43-44), а теоретическая; это—„чистая логика" (44). И эта логика есть „основная философская наука".

Однако, с другой стороны, у автора имеется и иное понимание логики. Логика есть то, *чем должна руководиться сама основная наука* (или „логика" в первом смысле, т. е. гносеологическая онтология), поскольку последняя „принимает вид теории" (стр. 16)*). В этом

*) „Поскольку высказывания („первой философии") складываются в форму и образ науки, поскольку, след., ее выражения должны руководиться логикой, постольку и философия принимает вид теории".

значении логика у автора приближается к тому, что обычно называют ,,формальной логикой".

Наконец, у автора широко развито еще третье значение логики: логика есть *теория предмета* (и именно, в частности теория ,,выражения" предмета; об этом см. ниже), *руководящаяся указаниями* ,,основной науки" (т. е. ,,логики" в первом смысле). Так, на стр. 62 мы читаем: ,,Основная философская наука дает логике указания на вид и бытие предмета... логика узнает предмет, потому что имеет указания на него от принципов философии, по собственным предметом она делает само это выражение, его форму. *Логика исторической науки есть наука о форме выражения исторической науки.*"

Таким образом, мы находим у автора, в сущности, целых три значения ,,логики". Логика есть у него и ,,основная философская наука", и та наука, которою руководится эта основная наука, поскольку она принимает вид теории (т. е. при дискурсивном развитии своих положений), и наконец теория предмета и особенно его выражения". Иначе говоря, логика принимается автором, то как онтологическая гносеология то как *формальная логика*, то как *методология*, и он приближается в существе своих воззрений к Виндельбанду. Только Виндельбанд ясно видит и возводит в теорию многозначность термина ,,логика", тогда как проф. Шпет убежден, что он все время говорит о единой логике.

Еще одно замечание должны мы сделать о другой стороне понятия логики у автора. А именно, сначала он характеризует логику как *общую теорию* всякого предмета вообще, *прямо отвергая* мысль о том, чтобы она могла изучать какой либо частный предмет. ,,Логика изучает, говорит он (40), не область какого-либо особого или специального предмета, а имеет в виду всякий предмет... В этот смысле логика имеет дело с самыми ,,общими", или, точнее, с самыми *формальными* формами; она действительно имеет дело с формою форм, потому что она само понятие делает своим предметом (та же мысль выражена автором и на стр. 41). И с другой стороны, тут же, на стр. 42 мы читаем, что наука эта „невероятно расширяется в своем содержании, ставя себе задачей изучение выражения не только предмета вообще, но и в его специфицированных формах". Получается как будто прямое противоречие в заявлениях, и остается неясным, откуда возьмется в логике это специфицирование, раз эта наука имеет дело не с каким-либо особым или специальным предметом, а со всяким предметом вообще.

VIII.

Не в состоянии мы отчетливо представить себе и *метод* исторического познания, как его понимает автор. Вот что находим мы у него в разных местах по этому вопросу. Прежде всего, он многократно настаивает на том, что история есть знание *эмпирическое*. Так, на стр. 79 мы читаем: ,,эмпиризм, и в частности эмпирическая психология, могут представить благоприятную почву для историзма и исторической науки... ввиду исключительно эмпирического характера самой этой науки". На стр. 50 история прямо определена как ,,эмпирическое изучение действительности" (подобные выражения и на стр. 156, 158). И с другой стороны, оказывается, что ,,история есть наука *герменевтическая*", что, очевидно, по меньшей мере не совпадает с характеристикой ее, как науки эмпирической. ,,Философски (и психологически) я пытаюсь, говорит автор, подойти к анализу данного в историческом

явлениі путем анализа понимания, или *уразумения*". Это уразумение есть, по автору, некоторый особый процесс, не сводящийся к процессам умозаключения и принципиально отличающий социальное, как предмет, от всех других предметов не только так наз. наук о природе, но и науки о душе" (23).

Признаемся, мы не можем связать такой характеристики метода истории, не сводящегося не только на эмпирические данные, но даже и на умозаключения, с признанием истории за науку исключительно эмпирическую.

Далее, автор указывает, что в науках о природе и о душе „мы обходимся одним (весьма условно, конечно), умом; там перед нами только внешность... Другое дело история. Она по существу не может довольствоваться внешностью, ибо *начинает* с утверждение, что то, что ей дано, есть только *знак*. Раскрытие этого знака—ее единственная задача. Документы и напамятники суть знаки, требующие прежде всего уразумения некоторых действий, которые сами только знаки, прикрывающие некоторые движущие историей факторы, постигаемые опять-таки с помощью урасумения.. История по существу наука... *герменевтическая*" (23). *)

Нельзя не заметить, что характеристика „уразумения" только как процесса, не сводящегося к умозаключениям, есть определение отрицательное и потому недостаточное. В силу этого нельзя отчетливо представить себе и той особо тесной связи, какую находит автор между уразумением, с одной стороны, и историей, с другой.

Кроме того, противоположение „наук о природе и о душе" и истории, устанавливаемое автором, мало убедительно. В науках первой группы мы „обходимся одним умом" и имеем перед собою всегда только *внешность*... Что это значит? То ли, что эти науки никогда не выходят за непосредственно воспринимаемую внешность вещей и явлений? Но ведь в них есть и „об'ясняющие" гипотезы и теории, идущие как раз глубже внешности—в то, что непосредственному восприятию недоступно? И по отношению к этим об'яснительным принципам непосредственно наблюдаемую „внешность" явлений можно также назвать „знаками", а об'ясняющие принципы—«уразумением» этих знаков. С другой стороны, и история, хотя она оперирует при помощи „уразумения", начинает тоже с *внешности*—с „знаков" (документов и памятников), которые она и подвергает интерпретации и герменевтике. Поэтому нам кажется, что противоположение истории наукам о природе и о душе слишком решительно: „уразумение" есть и здесь и там, но только разных типов, которые и следовало автору характеризовать.

Кроме эмпирического и герменевтического путей истории, автор во многих местах развивает еще и мысль о необходимости и важном значении для истории *рационального об'яснения*—нахождения ratio, разумного основания тех единичных фактов, из которых история состоит. И эта мысль является у автора одною из основных.

Таким образом, мы имеем у автора целых три характеристики метода истории, причем эмпирический и герменевтический методы указа-

*) Необходимо отметить, что на след. (24) странице автор говорит другое. „Было бы неправильно думать, будто наука истории ограничивает свои задачи только *пониманием и интерпретацией*". И автор, в качестве другой задачи истории, указывает об'яснение, или составление теорий. Так как у автора не характеризованы точно уразумение, герменевтика, понимание, интерпретация, об'яснение, составление теорий, то его мысли в этом вопросе остаются далеко не ясными для читателя.

ны, каждый в своем месте, как *единственные и исключительные* пути исторического познания. При этих условиях и данный пункт воззрений автора представляется нам неясным.

IX.

Посмотрим теперь на то, в какое отношение ставит автор логику к ученой работе историка, в каком пункте этой работы обязывает он историка руководиться логикой, как теорией исторического предмета.

Автор—противник „нормативности" логики; логика, если и выставляет какое-либо правило, то только как закон самого предмета (43). С этим можно согласиться. Однако, как же *создается* в знании этот предмет? Ведь казалось бы, для его конструирования нужно предварительное исследование основных, конституцивных для него понятий (напр., категории причинности и т. д.), определение содержания этого „предмета", установление методов исследования данного рода проблем (методов гносеолого-философских, собственно логических, а отчасти и специально-технических), критериев истинности и ложности и т. д.,—словом, всего, что входит в методологию" данной науки.

Однако, автор ставит дело совершенно иначе. Он связывает логику, как методологию, только с моментом, говоря его терминами, „*выражения* научного мышления" и совершенно отрывает ее от того, что он называет „нахождением такого мышления". „Часто, говорит он на стр. 43, утверждение (нормативности логики) связывается с утверждением, будто логика должна давать правила для научного мышления не в смысле его выражения, а в смысле его нахождения". Основания для отвержения автором такого мнения для нас не вполне ясны: „но если логика, говорит он, есть ars dissera (e?) ndi, то что значит ее нормативность?" Нам казалось бы, что понятие disserendi, дискурсивного мышления никоим образом не может быть из'ято из компетенции тех или иных, свойственных для него норм; и мы не видим самоочевидного для автора аргумента, подразумевающегося в его реторическом вопросе. Неужели всякое „нахождение научного мышления", т. е. (как видно из контекста, установление научных положений) и все процессы, при этом употребляемые, обходятся без логики, идут мимо нее? Ведь, казалось бы, они связаны с „предметом" данной науки, им определяются... Можно ли при нахождении, или установлении фактов истории обойтись без тех или иных исходных положений, определяемых сущностью ее предмета, т. е. *логикою* этой науки в том смысле, в каком (на ряду с другими) признает эту логику и сам автор?... Мы, в противоположность автору, убеждены, что „логика истории", т. е. теория основных понятий и методов исследования, должна лежать в основе именно процесса исторического изучения; мало того, что без такой логики, без такой предварительной канвы или схемы (или, если угодно, без определеннаго историческаго мировоззрения) невозможно никакое действительно научное историческое исследование. Только такая основа может направлять работу историка над материалом.

Наоборот, в процессе „выражения" роль логики (специальной логики данной науки) автором преувеличена. Действительно, как можно „выразить" в согласии с логикой данной науки систематизированный и истолкованный материал, на процессы установления, критики, сортировки, систематизации и истолкования которого логика науки не имела никакого влияния? Откуда возьмется *вдруг*—в последней стадии процесса—в „выражении"—эта определяемость материала логикой науки? Не сказалось ли тут влияние мысли автора о работе историка, как о простом „эмпирическом" процессе—самое большее, как о „герменевтике"

документов и памятников? Сознает ли автор, в какой сильной подчас степени сама эта герменевтика зависит от основных историко-логических, историко-философских, социологических и других предпосылок? Ведь не только цельной картины социального развития целого общества, но даже и полного, точного и вообще готового рассказа об отдельном крупном событии нельзя взять из какого бы то ни было одного „документа". Всякий документ приходится пополнять, исправлять, ставить в нем вопросительные знаки, комбинировать с другими материалами и т. д.—на основании чего? На основании общих представлений о „предмете" данной науки, т. е. положений ее *логики*. Если взять, напр., статистический материал и ту глубокую обработку, какой подвергает его исследователь, те огромной важности выводы, какие он из этого материала извлекает, то станет очевидным, что как само привлечение этого материала для освещения данной проблемы, так и способы его использования и обработки об'ясняются только предварительно установленным значением его для истории, для ее „предмета" т. е. тезисом *логическаго* характера.

Между тем, у автора встречаются даже такие положения: „если только история может быть „выражена", то ее логика существует; но быть выраженным для истории значит не что иное, как существовать". Итак, бытие истории есть „выражение"... но *чего*? Казалось бы того, что ранее установлено, происследовано?.. Но по автору, это не так: „нахождение" идет само по себе—без логики и методологии, и лишь „выражение" подчиняется тем положениям о сущности „предмета истории", из которых состоит логика этой науки. Думается, что если автор попробует, руководясь этими положениями, выполнить какую бы то ни было историческую работу, он натолкнется на непреодолимые трудности. Для того, чтобы было, что выражать, выражаемое должно быть ранее добыто, установлено; а для его добывания и установления нужна твердая методология. Место „логики истории" не в конце, а в начале научной работы историка.

В другом месте (стр. 32) автор несколько изменяет свою формулу, вводя в понятие „выражение" также и „доказательство". Строго говоря, для характеристики *науки* важен только второй момент: как бы мы ни пришли к своему знанию, существенно, чтобы оно было *сообщено* так, чтобы не вызывало сомнений, чтобы было доказано". Однако, можно ли придти к *знанию* любым, *все равно каким путем*? не будет ли это сплошным чудом? Не является ли определенный, твердый методический путь необходимым условием достижения знания? Не будет ли „знание", при отсутствии такого пути, лишь случайной счастливой догадкой, в которой потом все равно придется определять границы ее истинности? И разве „доказательство" положения не состоит в системолизации тех моментов, на которые опиралась мысль исследователя в самом процессе работы? можно ли так резко разграничивать вообще установление" и „доказательство" истины? Какие есть моменты доказательности, помимо правильности научного мышления над материалом и вообще аргументов, взятых из процесса самого исследования?—Трудности становятся еще больше от того, что автор второй момент научной работы называет то „*сообщением* познанного во всеобщее сведение" (32), или „сообщением уже приобретенных знаний", „то сообщением и *выражением* наших мыслей", то *изображением* самого познаваемого предмета в его бытии, свойствах, действиях и т. п.", то *изложением*, или изображением" (все эти формулы на стр. 33), то наконец „изложением, или *построением* науки" (38). Очевидно здесь отожествляются далеко не тожественные понятия...

Быть может, причиной этих колебаний было то представление,

какое имеет автор о роли и значении логики в работе исследователя. Автор видит только одну возможность помощи ему со стороны логики: если бы логика была arѕ inveniendi—эвристикой, „собранием правил, рецептов и советов" (43)... Конечно, логика не есть эвристика; и тем не менее, она своими теоретическими исследованиями всякого *предмета* знания существеннейшим образом влияет на процесс установления, нахождения научных положений, а вовсе не вступает в свои права, как думает автор, только на стадии „выражения". Логически упорядоченное и проверенное „выражение" того, что установлено вне-логически и не-методически, вещь невозможная: все равно, методическую работу придется проделать на стадии „выражения", которое тогда превратится в исследование и „нахождение". И вот, для этого „нахождения" логика, и не будучи „эвристикой", необходима, в качестве *методологии исследования*.

Странно, что автор, сам защищавший теоретический характер логики, увидел ее единственную возможную пользу для исследователя в ее роли как „собрания правил, рецептов и советов" и не заметил важного руководящего значения логического исследования *предметов* науки.

X.

Автор (правда, не производя исследования, но все же достаточно определенно) высказывается и по вопросам о том, что такая *философия истории*, в каком отношении стоит она к науке истории, какие существуют типы исторической науки и т. п.

Философию истории автор сводит на *онтологию* духа, понимаемую в историческом аспекте. „Носитель социального и исторического*)—дух—составляет предмет онтологической дисциплины, носящей название *философии истории*, или *историософии*" (24). Примыкая к Риккерту, автор различает три понятия философии истории: 1) как универсальной истории, 2) как науки об исторических принципах и 3) как науки об историческом познании—и признает связь между ними несомненной, и притом именно в том виде, как это указывает Риккерт (51-52). Риккерт переход от универсальной истории ко второму типу философии истории „видит в том, что, как только первая изобразит историческую жизнь как *единое* целое, тотчас возникает вопрос: в чем *принцип этого* единства?" Автор считает „универсальную историю без принципов философии истории несовершенной, доматической", однако, полагает, что автор универсальной истории может совершенно адэкватно выразить принцип единства, заключающийся в действительности, не прибегая вовсе к помощи философско-исторических анализов".

Не говоря о том, что схема Риккерта кажется нам вообще неудовлетворительной (напр., есть много других исторических принципов кроме принципа единства, и потому учение о принципах отнюдь не вытекает обязательно из „универсальной истории" да и само понятие „универсальной истории" в значительной степени искусственное), сомнение вызывает и истолкование ее автором. Ведь даже и сейчас, после многих исследований и споров о том, в чем состоит принцип единства исторического процесса („универсальной истории", или „действительности"), разве можно даже сейчас считать этот вопрос решенными? И как убедится сам, убедит других

---

*) Автор на протяжении всей работы проводит это (риккертовское) отожествление несостоятельное, поскольку „социальное" изучается и не исторически, а систематически (в социологии, политической экономии) и, с другой стороны, „историческое" охватывает не одно „социальное".

исследователи в том, что он „совершенно адэкватно выразил принцип единства действительности", раз он „не прибег к помощи философско-исторических анализов"? Какой есть орган такого несомненно достоверного, хотя критически и не проверенного, познания? Что автор, как будто, представляет себе дело слишком просто, это видно из примера, каким он поясняет свое положение. „Можно утверждать, говорит он, что законодательная власть в Англии принадлежит парламенту, не изучая предварительно государственного права". Однако, ведь, разве же это одно и то же: „совершенно адэкватное выражение *принципа* действительности" (глубоко, конечно, скрытого под явлениями) и чисто *фактическое*, лежащее всецело в области явлений утверждение?.. К тому же, что называть „изучением государственного права"? Кто совершенно с ним не знаком, тому будут непонятны самые термины: законодательная власть и парламент. В недоверии автора к „философско-историческим анализам" как будто проглядывает мысль, что история есть простое изложение „фактов" в узком смысле, т. е. внешних событий, запечатлевшихся в документах и памятниках, а не сложнейшая ткань из прямых свидетельств, „фактов" из документов, умозаключений, догадок, гипотез, аналогий и самых разнообразных обработок всего этого...

Этот первый „переход (от „универсальной истории" к „науке об исторических принципах") есть, по автору, „переход от действительности к ее же принципам". Напротив, второй из указанных Риккертом переходов (от „науки об исторических принципах" к „логике исторического познания") автор считает „переходом от *действительности* к понятиям и принципам *науки* об этой действительности" (53) и признает его неправомерным.

Однако, в каком смысле „универсальная история" есть *действительность*? Каким образом действительность может стать известной нам помимо воспроизведения ее в *науке*? Точно также и „наука об исторических принципах" есть наука о принципах той действительности, которая изображается *знанием*. А если это так, то оба „перехода" (допустив, что и тут действительно есть переход) по своей сущности одинаковы: в обоих совершается переход одновременно и от одной *действительности* к другой, и от одной формы *науки* к другой,—ибо действительностью мы называем то, что устанавливается в таковом качестве наукой.

Из своей критики риккертовских „переходов" автор делает тот вывод, что логика вообще (и логика истории в частности) не имеет отношения к „философии истории"—к „учению об исторических принципах". „Логика прежде всего *для себя* освещает пути исторического (как и всякого другого) познания. История же и философия истории делают свое дело и тем только и доставляют материал для самой логики".

Однако, не впадает ли тут автор в противоречие с самим собой, сказав ранее, что логика, как основная наука, дает теорию „предмета" истории, причем потом из этой теории вытекает и методология истории, а тут утверждая, что логика сама по себе и история и философия истории также сами по себе? Кроме того, как понять, что „история и философия истории... доставляют материал для самой логики", тогда как ранее утверждалось, что теорию предмета, дает логика как основная философская наука, т. е. как нечто независимое от материала истории и положений философии истории?

Таковы те сомнения, которые возбуждают рассмотренные нами до сих пор положения автора.

Вл. Ивановский.

Диалектический материализм в творчестве Г. В. Плеханова.*)

Маркс и Энгельс *создали* диалектический материализм, оставив своим последователям великую задачу *собирания* во-едино и *систематизирования* их гениального наследства.

Задача превращения марксова материализма в единую экономическо-монистическую социологию была выполнена духовными наследниками Маркса и Энгельса, среди них одним из первых Георгием Валентиновичем Плехановым.

Постараемся выявить роль Плеханова в деле популяризации идей диалектического материализма, углубления его отдельных проблем, превращения его в универсальный метод исследования общественных явлений—одним словом, в деле разработки той—по слову Меринга—„рудоносной жилы с огромным запасом неиспользованных сокровищ", которую представлял собою исторический материализм после Маркса и Энгельса.

Г. В. был „заражен" историческим материализмом уже задолго до того, как он стал марксистом. Еще в народническом периоде своего развития Плеханов, находясь под сильным влиянием Бакунина, заимствовал у последнего его уважение к историческому материализму. Об этом говорит сам Плеханов в предисловии к первому тому его сочинений, вышедшему в 1905 году в Женеве, об этом свидетельствуют некоторые статьи, относящиеся к народническому периоду жизни Г. В.

Так, уже в статье „Закон экономического развития общества и задача социализма в России", написанной в январе 1879 года, т. е. за четыре года до его разрыва с народничеством, Плеханов обнаруживает, в отличие от его товарищей по революционной работе, согласие с основными положениями исторического материализма. В этой статье Плеханов выступает против утопистов, считающих, что „метафизическая сущность—пропаганда способна изменять по произволу ход истории". Через год Плеханов говорит уже языком человека, твердо стоящего на почве исторического материализма. В статье „Черный Передел" (январь 1880 г.) Г. В. определенно заявлял: „Экономические отношения в обществе признаются нами основанием всех остальных, коренною причиной не только всех явлений политической жизни, но и умственного и нравственного склада его членов".

Девяностые годы минувшего столетия отмечены в летописях общественной мысли Западной Европы, как эпоха страстной научной дискуссии по вопросу о сущности исторического материализма. Представители академической науки ополчились к тому времени против материализма—народившейся философии пролетариата. Исторический материализм обвиняли в механичности, внутренних противоречиях, фатализме, философской плоскости, квиэтизме, шаблонности, аморальности, метафизичности... Направленные против исторического материализма выступления дали повод Карлу Каутскому, Францу Мерингу, Полю Лафаргу выступить с блестящими апологиями исторического материализма, значительно обогатившими научную сокровищницу марксизма.

Дискуссия, которая велась вокруг исторического материализма, вызвала отклик и в России. В русских журналах 1892—4 годов по-

---

*) Глава из работы: „Г. В. Плеханов. Жизнь и творчество".

явился ряд статей, „развенчивающих“ исторический материализм преимущественно аргументацией германских идеалистов. Н. К. Михайловский, проф. Кареев, Кудрин, Николай—он, Южаков и другие критики исторического материализма доказывали доктринерскую однобокость этой системы, ее догматическую односторонность, ее научную несостоятельность.

Ответом на все эти выступления—audiatur et altera pars—послужила вышедшая в 1895 году книга Плеханова, до сих пор являющаяся классическим руководством по истории и теории диалектического материализма. Ставшая вехой в развитии русской общественной мысли, книга Бельтова „К вопросу о развитии монистического взгляда на историю“ оказала на умы современников влияние совершенно исключительное. По свидетельству Лядова, молодежь сплошными рядами покидала народнические позиции и становилась под знамя марксизма. Бельтовым клялись, Бельтова читали запоем в каждом гимназическом кружке.*) Бельтов стал властителем дум поколения, которое Шелгунов назвал „молодежью будущего“. Книга Бельтова превратилась в „евангелие русской социал-демократии“, как ее назвал один из тех минутных сторонников исторического материализма, которые впоследствии „ему изменили и продали шпагу свою“, скатившись по пути „от марксизма к идеализму“ в пропасть мистицизма и реакции.

Возникает вопрос, соответствовала ли ценность книги Плеханова той научной оценке, которую она встретила. К рассмотрению этого вопроса мы и перейдем.

Одним из наиболее ценных моментов в книге Плеханова мы считаем обоснование им правильного взгляда на сущность французского материализма XVIII века, в отношении которого до сих пор приходится сталкиваться с самыми запутанными представлениями. В девяностых же годах смешение диалектического материализма с французским, приписывание первому слабых сторон второго, отсутствие ясного представления о грани, отделяющей философские взгляды Маркса и Энгельса от учения Гольбаха и Гельвеция было делом обычным. Плеханов четко и определенно провел эту грань, установил действительное отношение, существующее между диалектическим материализмом и французским XVIII века, вскрыл противоречия и слабости последнего. Он показал, что материализм Маркса и Энгельса насквозь диалектичен в то время, как воззрения Гельвеция и Гольбаха пропитаны метафизикой, роднясь таким образом с метафизическим идеализмом, вместе с которым они признают неизменность субстанции. Установив те моменты, в которых диалектический материализм примыкает к французскому, являясь его продолжателем, Г. В. вместе с тем вскрыл роковые противоречия, в заколдованном кругу которых блуждала философская мысль Гельвеция, Гольбаха и их единомышленников, он обнаружил непоследовательность и логическую незаконность их системы, признававшей познаваемость свойств вещей и об'являвшей непознаваемой сущность материи. А. Деборин вполне прав, говоря, что Плеханов „первый представил французский материализм в его истинном свете“.**)

Перейдем к следующим заслугам выступления Плеханова.

В семидесятых годах Н. К. Михайловский видел в историческом материализме „превосходно разработанный материал для решения общего вопроса об отношении форм к материальным условиям их суще-

---

*) См. М. Лядов. История РСДРП. ч. I.

**) А. Деборин Введение в философию диалектического материализма (Стр. 223 Птг. 1916.

ствования.*) Впоследствии, изменив свое отношение к философскому учению Маркса, Михайловский выступил одним из наиболее страстных противников исторического материализма, обесценивая в глазах читающей публики его научную ценность. Михайловский доказывал, что, „экономический материализм с есть всеоб‘емлющая философская система, а только обломок ее, что амые основные теории экономического материализма... остаются между собой несвязанными и фактически непроверенными“.**)

Плеханов своим выступлением „по печатному водя“ доказал необоснованность утверждения о несвязанности и непроверенности системы Маркса. „Положения исторического материализма не связаны между собой?“, вопрошал Плеханов,—„стоит только прочесть предисловие к „Zur Kritik der politischen Oekonomie“, чтобы видеть до какой степени стройно и тесно связаны они между собой“. Стоило, в самом деле, непосвященному читателю обратиться к тому знаменитому введению, на которое ссылался Плеханов, чтобы сразу установить наличность в нем тех самих обобщающих и неразрывно связанных между собой идей, которых тщетно искал у Маркса Михайловский.

Плеханов обнаружил ту жестокую ошибку, в которую впадают суб‘ективисты, пытаясь разобщить экономические взгляды Маркса с его исторической теорией, признавая первые и отрицая вторую. „Этим сказано, что вы не понимаете ни исторической его теории, ни его экономических взглядов“. Считая экономические взгляды Маркса неот‘емлемым спутником исторического материализма, Плеханов неоднократно доказывал то положение, которое Маркс формулировал словами: „Экономические категории представляют собою лишь теоретические отвлеченные выражения общественных отношений производства“ („Нищета философии“). Плеханов опровергал и обвинение в непроверенности принципов исторического материализма. „Они проверены с помощью анализа общественных явлений и в книге „18-ое Брюмера“, и в „Капитале“...—решительно во всех главах от первой до последней“.

Научная ценность и общественный смысл выступления Плеханова должны были выразиться в том, чтобы выбить противников исторического материализма из тех идеалистических и суб‘ективистских позиций, на которых они закрепились.

Со свойственным ему полемическим задором Плеханов дал в своей книге образ титулярной советницы, которая думает, что весь смысл теории Дарвина сводится к тому возмутительному положению, что вот дескать, она, почтенная чиновница, представляет собою не более, как наряженную в чепчик обезьяну. Плеханов ставил своей целью доказать, что „Маркс так же мало клевещет на „интеллигентов“ как Дарвин—на титулярных советниц“.

Следует признать, что при всей каррикатурности приведенного образа он в общем отражал отношение к историческому материализму некоторой части буржуазной и народнической публицистики. Последняя давала лишнее доказательство словам Меринга о том, что современное буржуазное общество стоит в том же отношении к материализму, в каком оно раньше находилось к дарвинизму, рассматривавшемуся как „обезьянья теория“. Отождествление материализма со шкурничеством было в девяностых годах ходячим упреком по адресу материалистов иногда не только в обывательской среде...

Указывая, что материалисты сообразуют свои идеалы с экономи-

*) Отечественные Записки. 1877.

**) Русское Богатство. 1894.

ческой действительностью, Плеханов разоблачает суб'ективистов, в силу своей склонности к метафизике, не понимающих двойственного, антогонистического характера всякой действительности. Материалисты опираются не на отживающую действительность, а на ту, которая приходит ей на смену—,,действительность будущего, служить которому значит содействовать торжеству великого дела любви''. Нельзя говорить о том, что материалисты не придают никакого значения идеалам. Если говорить в смысле „идеалов", заявлял Плеханов, теория Маркса есть самая идеалистическая теория, которая когда—либо существовала в истории человеческой мысли.

Противники исторического материализма считали (да и теперь, пожалуй, считают) ахиллесовой пятой этого учения его ,,однобокость'', ,,односторонность''—то, что оно является всеоб'емлющей и потому ,,хромающей'' теорией, утрирующей одни и затушевывающей другие элементы общественного развития. Корректируя эту мнимую односторонность исторического материализма, его противники занимали ,,нейтральное положение'' между материализмом и идеализмом, доказывая, что ,,... и психологическое, и экономическое направления истории одинаково верны, поскольку они... дополняют друг друга''.*)

Плеханов взял на себя задачу доказать, что всякая попытка синтеза идеалистической и материалистической точек зрения приведет не к открытию „полной истины'', которую искала суб'ективная социологическая школа, а к ,,*нищенской похлебке эклетизма*''. Он установил в своей работе, что дуалистические системы, для которых дух и материя являются взаимно дополняющими субстанциями, не в состоянии дать сколько-нибудь удовлетворительного об'яснения исторического процесса. Поэтому он звал к об'яснению явлении помощью одного основного принципа—к монизму.

Для суб'ективно-социологической школы об'яснение общественного процесса духовным началом было тезисом, рассмотрение его с экономической точки зрения—антитезисом и потому она звала к третьему моменту, в котором ,,односторонности тезиса и антитезы найдут свое *примирение*''. ,,*Соблюдая нейтралитет*'' *между душой и телом*, суб'ективисты отыскивали синтез в примирении идеализма с материализмом.

Плеханов обнаружил, что ,,синтез'' суб'ективистов ведет к дуализму чистейшей воды. ,,У него'', говорит Плеханов о Карееве, ,,тут—экономия; там—психология; в одном кармане—душа; в другом—тело. Между этими субстанциями есть взаимодействие, но каждая из них ведет свое самостоятельное существование, происхождение которого покрыто мраком неизвестности"**) Дуализму социологической школы Плеханов противоставил монизм марксизма. Он указывал, что у Маркса психология и экономия являются двумя сторонами одного *явления—борьбы за существование*, в процессе которой происходит определенная общественная группировка, обусловливаемая состоянием производительных сил. Плеханов исчерпывающе раз'ясняет, как следует понимать primum agens исторического материализма—экономику. Вот что он говорит по этому поводу:

— Борьба за существование создает их (людей...С.В.) экономию, на ее же почве вырастает и их психология... Экономия сама есть нечто производное, как и психология. И именно потому изменяется экономия всякого прогрессирующего общества: новое состояние производительных сил ведет за собою новую экономическую структуру, равно

---

*) Н. Кареев. Критика экономического материализма.

**) К вопросу о развитии монист. взгляда. Изд. IV. стр. 149.

как и психологию, новый „дух времени"... Далекая от того, чтобы быть первичной причиной, она сама есть следствие, „функция" производительных сил.*)

Развитие общественного процесса Плеханов мыслит таким образом. На кривой линии исторического развития существуют точки великих переворотов; эти точки А, В, С, Д и т. д. Когда экономическое развитие достигает точки А, торжествует один класс; когда оно доходит до точки В, класс прежде господствовавший, вынужден уступить свое место новому классу и т. д.—до тех пор пока общественное развитие не достигнет конечной точки С, на которой исчезнет самое деление общества на классы. Движение человечества от точки А до точки В, от точки Е до точки С и т. д., вплоть до точки S никогда не совершается в плоскости одной экономики. Чтоб перейти от точки А до точки В и т. д. нужно каждый раз подняться в „надстройку" и совершить там некоторые переделки. Только совершив эти переделки, можно достигнуть желанной точки. Путь от одной точки поворота к другой лежит чрез „надстройку".**)

Плеханов неоднократно подчеркивает, что экономические отношения не являются застывшим метафизическим понятием. „Они вечно изменяются под влиянием той исторической среды, которая окружает данное общество". Выясняя законосообразность общественного процесса, Плеханов впоследствии (в „Основных вопросах марксизма") развернул формулу, выясняющую взаимодействие между производительными силами и общественной экономией, вместе с тем взаимодействие между экономической „основой" и идеологической „надстройкой". Опровергая обвинение исторического материализма в фетишизировании им экономического фактора и игнорировании всех остальных факторов общественнного развития, Плеханов развертывает следующую пятичленную формулу отношения „основания" к „надстройке".

1. Состояние производительных сил.
2. Обусловленные ими экономические отношения.
3. Социально-политический строй, выросший на данной экономической основе.
4. Определяемая частью непосредственно экономикой, а частью всем выросшим на ней социально-политическим строем психика общественного человека.
5. Различные идеологии, отражающие в себе свойства этой психики.***)

Плеханов вполне прав, говоря, что приведенная формула и достаточно широка, чтобы вместить в себе все формы общественного развития, и в то же время насквозь пропитана материалистическим монизмом.

Туманному, почти метафизическому понятию взаимодействия „души" и „тела", Плеханов противоставил ясную и определенную формулу, находившуюся в строгом соответствии со взглядами Маркса, всегда признававшего в общественном процессе действие „духа", как силы в конечном счете направляемой экономикой. Обоснование и популяризация этой формулы явились делом сугубой важности; надо помнить, что в то время „узость" и „односторонность" диалектического материализма были излюбленной мишенью для его критиков. Своим выступлением

---

*) К вопросу о развитии. Изд. IV. Стр. 149.

**) См. открытое письмо к В. А. Гольцеву. „За двадцать лет" Изд. 3-ье СПБ. 1903. стр. 440.

***) Основные вопросы марксизма. С.П.Б. 1917 г. стр. 96.

Плеханов обесценил все те ,,примирительные"—эклетические теории, которые признавали самостоятельность многочисленных элементов общественного развития, мыслимых находящимися во взаимодействии.

До конца последовательный монист, Плеханов во всякой научной системе прежде всего ценил ее логическую последовательность, ее монистическую выдержанность. Яснее всего это сказалось на его отношении к гегелевой философии, которую Плеханов ценил исключительно высоко главным образом потому, что она учит нас последовательному мышлению; он считал, что ,,кто с любовью и вниманием пройдет ее суровую школу, тот навсегда получит спасительное отвращение от эклетического винегрета". *)

Если ,,односторонность" была одним из ходячих упреков, направлявшихся против диалектического материализма, то другим из них был ,,фатализм". По какой-то злой иронии самому действенному из философских учений ставилось в вину, что оно влечет за собой гражданский индифферентизм и квиетизм. Плеханов блестяще выяснил, как противники диалектического материализма приписывают ему свойства материализма метафизического, которому, действительно, присущ фаталистический характер. Материализм диалектический—не философия фатализма и пассивности, а философия действия и активности. Плеханов установил всю несостоятельность обвинения диалектического материализма в том, что он признает слепое подчинение необходимости. Диалектический материализм дает в руки угнетенных классов рычаг в борьбе с экономической действительностью. Никакое изменение в общественных отношениях немыслимо без участия масс. Необходимость участия масс в историческом процессе обусловливает влияние на них более развитых и более нравственных личностей. ,,Таким образом открывается широкий простор для плодотворной деятельности отдельных личностей, и если между этими личностями нашлись бы такие, которые превратились бы в Обломовых под влиянием экономического материализма, то в этом надо было бы винить не экономический материализм, а именно эти личности". **)

,,Уничтожающее презрение и холодная жестокость", с которой, по мнению Михайловского, материализм относится к личности, были опровергнуты Плехановым. Диалектический материализм отнюдь не требует слепого подчинения железному экономическому закону. Он старается познать этот закон и, познав его, сделать необходимость послушной рабой разума.

,,Я—червь, говорит идеалист. Я—червь, пока невежественен, возражает материалист—диалектик, но я—бог, когда я знаю. Tantum possumus, quantum scimus".***)

Человеческий разум не творит истории; он сам является ее продуктом. Но раз явившись, как следствие исторического процесса, он старается преобразовать жизнь т. е. направить течение истории по тому руслу, которое считает более желательным.

Развитие разума общественного человека можно об'яснить, с точки зрения исторического материализма, лишь посредством законосообразной деятельности людей в общественно-производительном процессе т. е. действия. К действию же сводится вся практическая философия диалектического материализма. ,,Диалектический материализм есть философия действия", провозгласил Плеханов своей книгой. Призывая

*) К шестидесятой годовщине смерти Гегеля. Критика наших критиков. СПБ 1906. Стр 209.

**) Из открытого письма к В. А. Гольцеву. За двадцать лет изд. 3-ье СПБ. 1908. Стр. 438.

***) К вопросу о развитии изд. IV. Стр. 201.

сторонников диалектического материализма к действию, заявляя, что „не следует оставлять светильника в тесном кабинете интеллигенции", Плеханов говорил:

— Пока существуют „герои", воображающие, что им достаточно просветить свои собственные головы, чтобы повести толпу всюду, куда им угодно, чтобы лепить из нее, как из глины, все, что им вздумается, царство разума остается красивой фразой, благородной мечтой. Оно начнет приближаться к нам семимильными шагами лишь тогда, когда сама „толпа" станет героем исторического действия и когда в ней, в этой серой „толпе" разовьется соответствующее этому самосознание. *)

„Надо разбудить в толпе героическое самосознание", провозгласила книга Бельтова в эпоху жалкого крохоборчества и хмурых чеховских человечков. Она выявила в новом, революционном свете все основные моменты диалектического материализма, показала, что последний, говоря словами Франца Меринга, не пассивная игрушка мертвого механизма, а живая действенная сила, призванная преобразовать мир.

Предрассудки о „механичности" и „квиетизме" исторического материализма были опровергнуты Плехановым с такой же последовательностью и неуязвимостью, как, раньше мнения о его „узости" и „односторонности".

Эта крупная заслуга Плеханова станет еще более рельефной, если сравнить его выступление с другим, почти одновременным, в защиту исторического материализма—П. Б. Струве. **) В книге Плеханова выступили во весь свой рост те моменты активности и действенности диалектического материализма, которые были затушеваны в „Критических записках" Струве. Если в струвевских „Записках" можно было заметить зародыши будущего ревизионизма их автора, то в плехановском „К вопросу о развитии" чувствовалось величие духовного наследства Маркса—Энгельса.

Вполне понятно, что выступление Плеханова, действовавшего согласно своему любимому полемическому правилу—„От обороны к нападению", вызвало целую кампанию со стороны противников диалектического материализма, пытавшихся обесценить научную и общественную ценность этого выступления.

Следует признать, что во всех выступлениях оппонентов Плеханова, последовавших в течение 1895 года и продолжавшихся много лет подряд, не было ни одного довода против диалектического материализма, который не приводился бы ими раньше или не был заимствован у западно-европейских критиков марксизма. Выступая против „догматического увлечения" Плеханова диалектическим материализмом, его противники подымались на „высоты об'ективной истины", с которых и старались изобличить Плеханова в той или иной ошибке, неправильной цитате, логическом промахе, противоречии Марксу. Однако, ни одно из этих выступлений, а их было множество, не в состоянии было опровергнуть того генезиса диалектического материализма, который дал Плеханов, поколебать той аргументации, которая была им развернута.

Один из главных оппонентов Плеханова Н. Н. Кареев признал относительно выступления другого из них—Н. К. Михайловского, что оно „дает очень много материала для критики книги г. Бельтова, его научных и полемических приемов, но очень мало касается самых основ экономического материализма". **) Эти слова можно было применить ко

*) К вопросу о развитии. Изд. IV. Стр. 203.

**) Петр Струве. Критические заметки. 1894.

всем почти выступлениям, последовавшим в ответ на книгу Плеханова, в том числе и к выступлениям профессора Кареева. Они все „очень мало“ касались тех основ марксова материализма, которые защищал Плеханов, и еще меньше эти основы поколебали. Кареев был вполне прав, заявив в той же статье, что он не думает, „чтобы вся эта критика экономического материализма могла в скором времени положить конец догматическому увлечению этой идеологическою концепцию“...

Подытоживая значение выступления Плеханова, мы отмечаем следующие моменты, в которых выявилась ценность „К вопросу о развитии монистического взгляда“:

1. Генезис идей диалектического материализма.

2. Отмежевание диалектического материализма от диалектического идеализма и метафизического материализма; вскрытие слабых сторон последнего.

3. Обоснование того положения, что диалектический материализм— не обломок левого гегельянства, а цельная научная теория.

4. Опровержение „односторонности“ диалектического материализма.

5. Подход к диалектическому материализму, как—философии действия.

6. Формула практического применения принципов диалектического материализма к русской действительности. *)

7. Демонстрация диалектического материализма, как универсального метода исследования общественных явлений.

Борьба с Михайловским, Кареевым и всей суб'ективно-социологической школой была для Плеханова борьбой с людьми „с другого берега“—мыслителями идеалистического, в корне враждебного марксизму миросозерцания. Иной характер носила его борьба с теми ,,услужливыми друзьями“ марксизма, которые, на словах ,,дополняя“, ,,очищая“ и ,,поверяя“ диалектический материализм, его в действительности укорачивали, засоряли и искажали.

В этом отношении Плеханову раньше всего пришлось столкнуться с Эдуардом Бернштейном, „ревизовавшим“ не только практику марксизма, но и его философию.

Монизм, который является для Плеханова основным коэффициентом материалистического миросозерцания, Бернштейном оспаривался. Он выступал против самого термина „монистический“. ,,Почему не прямо ,,простоватый“ (simplistisch)“?, недоуменно спрашивал Бернштейн. Однако, расхождение было не только в терминологии, вернее оно было вовсе не в ней—корни были гораздо глубже и касались самых основ материалистического миросозерцания. Чистый или абсолютный материализм,—утверждал Бернштейн,—точно так же спиритуалистичен, как и чистый или абсолютный идеализм. Оба просто предполагают, хотя и с различных точек зрения, что мышление и бытие идентичны. Для Бернштейна неприемлем тот „детерминизм“ исторического материализма, при котором „материалист—тот же кальвинист, только без бога.“ Бернштейн берет под свою высокую руку эклетизм, ибо „эклетический дух“ есть возмущение здравого смысла против свойственного всякой доктрине стремления подгонять мысль под один шаблон. „Расширяя“ теорию исторического материализма и воставая против „приписываемого ей“ монизма, Бернштейн провозглашал, что „социал-демократии нужен новый Кант, который доказал бы, что презрение к идеалу, признание

---

*) Этого вопроса мы в настоящей главе не касаемся, ибо рассматриваем его в главе о Плеханове—экономисте.

материальных факторов всемогущими силами развития есть самообман, всегда на деле признававшийся и признаваемый таковым теми, кто его проповедует."*)

Плеханов был первым из марксистов, давших оценку выступлениям Бернштейна, как эклетическому соединению научного социализма с учением буржуазных идеологов. Г. В. опроверг ту мнимую идентичность бытия и мышления в материализме которая позволяла Бернштейну отождествлять материализм с идеализмом, и утверждал, что признание этой идентичности возможно только в идеализме. Он установил, что Бернштейн и другие критики марксизма, его „углубляющие" и „дополняющие" в сущности бьют Марксу челом его же добром и в своей невероятной наивности даже и не подозревают, что „Маркс", которого они „критикуют" не имеет ничего общего кроме имени с настоящим Марксом, будучи создан их собственным и поистине разносторонним непониманием предмета.**)

Искажение, о котором говорил Плеханов заключалось преимущественно в приписывании марксизму „автоматического" понимания исторического действия экономики, которым марксизм никогда не грешил и против которого неоднократно высказывались сами основоположники диалектического материализма. От лиц „автоматически", понимавших его учение, как известно, Маркс открещивался, говоря „Je ne suis pas marxiste"...

„Критикуя критиков Маркса," Г. В. доказал всю нелепость обвинения марксизма в автоматическом понимании исторического процесса. Он установил, что обвинение в автоматичности есть попытка обесценить марксизм со стороны тех, которые мечтают о замене „конечной цели" социальной реформой. Каждое выступление Плеханова было лучшим доказательством того, что марксизм отнюдь не „автоматически" воспринимает процесс общественного развития.

Плеханов дерзнул выступить против Бернштейна уже в 1898 году—во время Штутгартского партейтага т. е, когда Бернштейн был одним из наиболее авторитетных идеологов германской социал-демократии. В статье „Wofür sollen wir ihm dankbar sein", напечатанной в „Sächsische Arbeiter Zeitung", Плеханов уже тогда заклеймил затеянную Бернштейном „ревизию" как отступничество от марксизма и поставил вопрос ребром: или марксизм похоронит Бернштейна или Бернштейн похоронит марксизм. Такая постановка вопроса была признана недопустимой даже радикально настроенными представителями германской социал-демократии.

В течение своей трехлетней полемики с Бернштейном Плеханов не уставал подчеркивать, что критический пересмотр марксизма Бернштейном это не философское заблуждение, а выражение определенных социально-политических тенденции—сближения с передовыми слоями буржуазии, перехода в ряды мелко-буржуазных сторонников социальной реформы.

Прогноз Плеханова блестяще оправдался последующими выступлениями Бернштейна и уже в конце 1901 г. Г. В. имел возможность на-

*) Эд. Бернштейн. Исторический материализм. Перевод Л. Канцель. Изд. II СПБ 1901. Стр. 330

**) Плеханов. Основные вопросы марксизма. Изд. 1917 г. Стр. 76

чать свою статью „Духовное завещание г. Бернштейна“ словами: „Г. Бернштейн умер для школы Маркса, к которой он когда-то принадлежал“ *).

В своей борьбе с бернштейниадой—со всеми теми, кто „пересматривал“ и искажал Маркса, Плеханов был безпощаден. Критикуя критиков марксовой философии, он не знал никаких расплывчатых формул, полуслов и неясностей, ибо сознавал, что тут спор идет о головах“.

С той же беспощадностью отнесся Г. В, не только к тем марксистам, которые звали „назад к Канту“, но также и к тем, которые выступили с попытками „нового обоснования“ марксизма, противоставляя диалектическому материализму критический реализм, окрашенный в эмпириокритические, эмпириосимволические, эмпириомонистические и всякие иные тона. Все эти выступления, которые велись в значительной части своей под флагом „очищения марксовой философии от засорения ее плехановской школой“, в действительности являлись ничем иным, как антиматериалистической философской ревизией марксизма. Борьбе с этой ревизией, как мы уже сказали, Плеханов отдался с той же последовательностью, как раньше борьбе с бернштейнианством, ибо считал, что и то и другое „бьет марксизм по лицу“. „Идейная неясность“ писал Плеханов в 1907 г.' „особенно вредна у нас в настоящее время, когда, под влиянием реакции и под предлогом пересмотра теоретических ценностей, идеализм всех цветов и оттенков справляет в нашей литературе настоящие оргии, и когда некоторые идеалисты... об‘являют свои взгляды марксизмом самоновейшего образца“.**) Этим и об‘ясняется та страстность, которая проявилась в полемике Плеханова с эмпириокритиками.

Центральной мишенью критики Богданова, Базарова, Юшкевича, Валентинова и других марксистов, поднявших по чьему-то язвительному замечанию „бунт на коленях“ против марксизма, была плехановская „вещь в себе“. Определяя опыт, как „наши собственные ощущения и образы предметов, вырастающие на их основе“ (Примечания к „Людвигу Фейербаху“ Энгельса), Плеханов устанавливал, что материей называется то, что „действуя на наши органы чувств, вызывает в нас те или другие ощущения“. То, что вызывает в нас ощущения, Плеханов определяет кантовским термином „вещи в себе“, совокупность „вещей в себе“ и есть материя. Критики Плеханова считали, что „вещью в себе“ он воскрешает кантианство и рвет с марксизмом, для основоположников, которого не было, дескать, никаких „вещей в себе“ т. е. вещей вне наших ощущений и представлений.

Материалисты, по словам Плеханова, никогда не утверждали, что они знают каковы вещи сами по себе—независимо от их действия на нас, а только считают, что вещи известны нам именно потому, что они действуют на наши органы чувств и именно в той мере, в какой они на них действуют“.***) Что же касается кантианства, отрицающего применение категории причинности к „вещам в себе“, то оно непосредственно приводит к суб‘ективному идеализму, ибо „если вещь сама по себе не действует на нас, то мы ничего не знаем об ее существовании и самое представление о ней должно быть об‘явлено

---

*) Точно также жизнь оправдала одновременный прогноз П-ва в отношении другого из критиков марксовой теории—П. Б. Струве. В 1901 г. Г. В. предсказывал Струве, что „неомарксизм“ доведет его до роли теоретика мелкой буржуазии и идеолога либерализма. Как известно, Струве докатился до ступеней, еще гораздо более далеких. Подробнее об этом—в главе о Плеханове—экономисте.

**) Примечания к „Людвигу Фейербаху“ Энгельса. Стр. 109.

***) Jbidem

ненужным т. е. лишним в нашей философии".*) Естественный результат такого подхода к вещам—солипсизм—признание других людей существующими лишь в нашем воображении.

Так как Плеханов указывал, что материя как отправной пункт опыта не может быть философски исчерпывающе определена, то его оппоненты выдавали на этом основании материи testemonium pauperitatis, утверждая, что „понятие настолько неопределенное и неопределимое не может быть основою какого-бы то ни было философского мировоззрения.**) Г. В. установил, что понятию „материя" или понятию „дух" нельзя дать никакого исчерпывающего философского определения—нужно лишь взять какое-либо из этих понятий первичным фактом.***) Обвинять материалистов в том, что, говоря о вещах в себе—вещах вне нашего сознания, они впадают в метафизику, значит изобличать самого себя в отрицании соответствующей нашим ощущениям об'ективной реальности. Отрицать же последнюю значит признавать первичность духовного по отношению к физическому,—сознания по отношению к бытию т. е. превращаться в идеалистов. Плеханов таким образом поставил с головы на ноги тот гносеологический вопрос, который выдвинули как главное оружие против него эмпириокритики и которому они придали постановку, обозначавшую поворот от материализма к идеализму.

Плеханов установил, что для идеалиста без суб'екта нет об'екта. В противоположность ему для материалиста об'ект существует независимости от суб'екта. Определяя опыт как результат взаимодействия между суб'ектом и об'ектом, Г. В. утверждал, что об'ект не перестает существовать и тогда, когда суб'екта еще нет и когда уже прекратилось его существование. Те, которые утверждают, что без суб'екта нет об'екта просто-на-просто смешивают одно с другим два совершенно различных понятия: существование об'екта „в себе" и его существование в представлении суб'екта.****)

Мы уже говорили о тех нападках, которым подвергся Плеханов со стороны эмпириокритиков и других махистов, заявлявших, что он предпринял „злосчастную попытку помирить Энгельса с Кантом при помощи компромиссной, чуть-чуть познаваемой вещи в себе".*****) В. И. Ленин, проведя грань между кантовской непознаваемой вещью в себе и познаваемой вещью в себе Плеханова, доказал ценность обвинения Плеханова в кантианстве. Философия Канта, по своему существу,—компромисс между материализмом и идеализмом, ее поэтому критикуют и материалисты и идеалисты—понятно с полярно - противоположных точек зрения. В лице Плеханова эмпириокритики столкнулись с представителем материалистов, „отвергающих в системе Канта самомалейшие элементы агностицизма и идеализма, доказывающих, что вещь в себе об'ективно реальна, вполне познаваема, посюстороння, ничем принципиально не отличается от явления"...******) „Караул", закричали они—это незаконное смешение материализма с кантианством. Ленин выясняет всю ту разницу, которая имеется между критикой Канта Плехановым и той

*) Примечания к „Людвигу Фейербаху". Стр. 109.

**) А. Богданов. Приключения одной философской школы. С.П Б. 1908. Стр. 10.

***) О том же очень ясно высказалась в свое время Л. И. Аксельрод [Ортодокс]. „Раз материя первоначальный факт", говорила она, „то естественно ее нельзя определить другой причиной, лежащей вне ее самой". См. ее статью „Двойственная истина в современной немецкой философии". [Философские очерки. С. П. Б. 1906].

****) От обороны к нападению. Ответ г. А. Богданову. Письмо второе. Стр. 39.

*****) Очерки по философии марксизма 1908. Стр. 67.

******) Ленин. Материализм и эмпириокритизм. Изд II М. 1920 Стр. 199.

же критикой со стороны эмпириомонистов. „Махисты критикуют Канта за то, что он чересчур материалист, а мы его критикуем за то, что он недостаточно материалист. Махисты критикуют Канта справа, а мы—слева".*)

В своем споре с кантианцами Плеханов доказывал, что кантовская вещь в себе обладает признаками материальности, но в то же время недоступна нашему чувству. Плеханов вскрыл таившееся в такой постановке вопроса роковое противоречие: признавая материальность вещей в себе, мы считаем, что они являются источником наших ощущений; в то же время, признавая их недоступными нашим чувствам, мы должны притти к заключению об их нематериальности... Кантовской *непознаваемой* вещи в себе Плеханов противоставил вещь в себе—*познаваемую*:

— Никакого другого знания предмета, кроме знания его через посредство *тех впечатлений, какие он на нас производит* нет и *быть* не может. Поэтому, если я признаю, что материя нам известна только через посредство ощущений, ею в нас вызываемых, то это вовсе не значит, что я об'являю материю чем-то „неизвестным" и непознавемым. Напротив, это значит, что она, во-первых, познаваема, а во вторых, *познана человечеством в той самой мере, в какой ему удалось ознакомиться* с ее свойствами, благодаря впечатлениям, полученным им от нее в длинном процессе своего зоологического и исторического существования.**)

Мнение Канта о непознаваемости вещей в себе Плеханов разбивал логикой самого кантова учения.

Исходя из *определения* Кантом *явления как состояния нашего* сознания, вызываемого действием на нас вещей самих по себе, Г. В. указывал, что предусмотреть данное явление, значит предусмотреть то действие, которое окажет на наше сознание вещь сама по себе. Наука доказывает, что некоторые явления мы можем предусматривать—это значит, что *мы в состоянии предусматривать действия, которые будут* произведены на нас вещами самими по себе. „Если же мы предусматриваем *некоторые действия* на нас вещей самих по себе, то это значит, что нам известны некоторые их свойства. А если нам известны некоторые свойства вещей самих по себе, то мы не имеем права называть эти вещи *непознаваемыми*".

Плеханов не только никогда не пытался об'единить марксизм с кантианством, но всегда являлся одним из наиболее последовательных противников такого противоестественного об'единения. Подчеркивая дуалистический характер кантианства, разрывающего связь между бытием и мышлением, Г. В. со времени своей полемики с Конрадом Шмидтом неустанно доказывал, что „в борьбе с материализмом главной твердыней являются всевозможные разновидности кантианства", что „незаконное сожительство Маркса с философией Канта должно представляться чем-то чудовищным".

После вещи в себе другим основным моментом в критике, которой подвергался Плеханов со стороны махистов, было понятие *об'ективной истины* „в бельтовском смысле".

Изображая процесс изменения общественных отношений и соответственного видоизменения научных теорий, Г. В. говорил: „В результате этих изменений является, наконец, всестороннее рассмотрение действительности, следовательно, *и об'ективная истина*... ...И это знание

*) Ленин. Материализм и эмпириокритицизм. Стр. 199.

**) От обороны к нападению. Стр. 41 (Ответ г. А. Богданову. Письмо второе).

есть уже об'ективная истина, и никакой „рок" не сдвинет уже нас с этой открытой, наконец, правильной точки зрения".*) Эмпириомонисты усматривали в словах Плеханова противоречие постоянному развитию науки с ее никогда не останавливающимися завоеваниями. „И это говорится когда же?", спрашивал А. А. Богданов по поводу слов Плеханова. „В эпоху великой и поистине безпримерной революции в мире научного познания, когда колеблются и падают научные законы, казавшиеся самыми незыблемыми и универсальными, уступая место поражающе-новым формам, открывая неожиданные и неизмеримые перспективы".**) Этот вопрос был вполне естественным в устах автора „Эмпириомонизма", постулировавшего, что „Марксизм заключает в себе отрицание безусловной об'ективности какой-бы то ни было истины, отрицание всяких вечных истин". Не подлежит сомнению, что в этих словах, равно как и в приведенном выше вопросе Богданова сказалось недопустимое смешение понятий об'ективности какой-либо истины и ее неизменности—вечности. Это чреватое последствиями смешение было рельефно выявлено Лениным в „Материализме и эмпириокритицизме", где он резко разграничил два вопроса: 1) существует ли об'ективная истина т.-е. может ли в человеческих представлениях быть такое содержание, которое не зависит от суб'екта? 2) Если да, то могут ли представления, выражающие об'ективную истину, выражать ее сразу, абсолютно или же только приблизительно, относительно?

Эмпириомонисты категорически отрицают существование об'ективной истины. Истина ими рассматривается как определенная идеологическая форма, как „организующая форма человеческого опыта".***) Отрицая существование „критерия об'ективной истины в бельтовском смысле", эмпириомонисты признают невозможным существование об'ективной истины вообще. Плеханов установил, что отыскивая основу об'ективности в сфере коллективного опыта и определяя физический мир как социально-организованный опыт, эмпириомонисты превращаются в чистокровных идеалистов.

Что касается „статики" и „догматики", которые по мнению эмпириокритиков проявились в „бельтовской" об'ективной истине, то следует признать, что эти грехи ни в малой степени не тяготели над Плехановым. Если Г. В. утверждал, что „никакой рок не в силах отнять теперь у нас ни открытий Коперника, ни открытия превращения энергии, ни открытия изменяемости видов, ни гениальных открытий Маркса", то он отлично понимал, что эти слова дадут возможность бросать ему обвинения и в „статике" и в „догматике":

—Но ведь не остановится же человеческая мысль на том, что вы называете открытием или открытиями Маркса? Конечно нет, господа! Она будет делать новые открытия, которые будут дополнять и подтверждать эту теорию Маркса, как новые открытия в астрономии дополняли и потверждали открытие Коперника.****)

Эти слова Плеханова находились в полном соответствии с рассуждениями Энгельса касательно абсолютной и относительной истины, представляющими, как известно, абсолютную истину, как сумму истин относительных.

Анализируя теорию об'ективности, данную эмпириомонистами и обнаруживая всю ее несостоятельность, Плеханов с особенным внима-

---

*) Примечания к „Людвигу Фейербаху" Энгельса. Стр. 117.

**) А. Богданов. Приключения одной философской школы. С. П. В. 1908 г. Стр. 24

***) А. Богданов. Эмпириомонизм. Кн. III Стр. IX.

****) К вопросу о развитии... Стр. 176.

нием остановился на отрицании махистами об'ективной реальности пространства и времени. Он установил, что рассматривая пространство и время как формы человеческого созерцания или, говоря языком Богданова как „формы социального согласования опыта различных людей", эмпириомонисты повторяли известную раскрытую Энгельсом ошибку Дюринга, для которого пространство и время существовали лишь потому, что их мыслят живые существа. Подчеркивая, что эмпириомонисты отказываются признать бытие времени, независимого от чьего бы то ни было мышления, Г. В., обращаясь к Богданову, говорил: „Бытие вне времени представляет собою такой же великий абсурд, как и бытие вне пространства. Вы наклеили оба эти абсурда на философию Маха".*) Плеханову пришлось выполнить по отношению к махистам ту же миссию, которую Энгельс выполнил по отношению к Дюрингу, когда об'яснял ему: „Основные формы всякого бытия суть пространство и время; бытие вне времени есть такая же величайшая бессмыслица, как бытие вне пространства". („Анти—Дюринг".)

Следует признать, что эту миссию Плеханов выполнил с исчерпывающей полнотой и последовательностью, выявив все слабые места теории эмпириокритиков и эмпириомонистов в этом отношении.

Одной из твердынь русского эмпириомонизма является, как известно, богдановская теория „подстановки". Считая, что „старая (Марксова С. В.) формулировка исторического монизма, не переставая быть верною в своей основе, уже не вполне нас удовлетворяет"**), Богданов пытался исправить ее своей теорией „подстановки".

Теория „подстановки" исходит из основной предпосылки эмпириомонизма—раздвоения опыта на „психический" и „физический"—зависящий от индивидуума и зависящий от коллектива. Основываясь на этой предпосылке, эмпириомонисты ставят себе задачу построения опыта вне обоих указанных зависимостей. „Подставляя" под чужие „высказывания" свой индивидуальный опыт, эмпириомонисты рисуют мировой процесс, как мир „элементов", образующих безконечную цепь комплексов самых различных ступеней организованности. „Все эти комплексы действуют друг на друга, взаимно разрушая друг друга „в борьбе", взаимно связываясь в процессе образования больших и выше организованных систем, взаимно отражаясь одно в других. „Явления психические"—это отражения самых различных комплексов в таком из них, который обозначается как „человеческий индивидуум"; „явления физические"—в таком, который называется „коллективный суб'ект".***)

Плеханов установил, что „теория подстановки", являющаяся одним из китов эмпириомонизма, представляет собою определенно выраженный махистский идеализм, при котором физическое „подставляется" под психическое. Он указал, что „функциональная зависимость" эмпириомонистов ничем не отличается от „предустановленной гармонии", от которой они так усердно открещивались, что теорией „подстановки" разрывается естественная связь явлений.

Подвергнув беспощадной критике учение эмпириокритиков и эмпириомонистов, обнаружив, что оно является плотью от плоти махистской философии, Плеханов обратил острие своей критики против самого Маха.

Об'явив весь мир одним комплексом связанных между собой ощущений, Мах полагал, что он тем самым разрешил антиномию суб'.

---

* От обороны к нападению. Стр. 84. Ответ г. А Богданову. Письмо третье.

**) А. Богданов. Развитие жизни в природе и обществе. Стр. 37.

***) А. Богданов. Приключения одной философской школы. С. П. Б. 1908 г. Стр. 52.

екта и об'екта „Я“ и „не-Я“. Взяв за основу кантовский трансцедентальный идеализм, Мах в то же время боролся с кантовской непознаваемой вещью в себе. Поэтому его учение—шаг вперед по отношению к идеализму Канта, но шаг назад по отношению к материализму Маркса. „Мах, хотя и совершенно бессознательно“, говорит Плеханов, „постоянно вынуждается переходить на *материалистическую точку зрения*. И каждый раз, когда он переходит на нее, он попадает в логическое противоречие с *идеалистической основой* своей собственной „философии“.*)

Исчерпывающе выяснив природу рокового раздвоения Маха—его дуализма, Г. В. приходит к заключению, что „махизм есть лишь берклеизм, чуть-чуть переделанный и заново перекрашенный под цвет „естествознания XX века.“**) В этих словах был приговор тем „махообразным“ марксистам, которые пытаются подвести под здание научного социализма фундамент имманентной философии; приговор тому философскому ревизионизму, который опираясь на „новейший позитивизм“, приходит к старейшему идеализму.

Подытоживая значение борьбы Плеханова с махизмом в его всяческих выявлениях и всевозможных вариациях, следует признать, что эта борьба представляет собою факт столь же крупной общественно-научной ценности, как и его полемика с суб'ективной социологической школой и критика бернштейнианстве. В этой борьбе Плеханов неизменно оставался верным продолжателем Марксова дела и носителем философии рабочего класса. Он выявил истинную ценность всех выступлений эмпириокритиков против „бельтовской школы“ против „плехановской вещи в себе“. Касаясь этих выступлений, А. Деборин в свое время писал: „Как бы согласно особому уговору все критики материализма с некоторых пор тянут одну и ту же песнь с одним и тем же монотонным припевом: одно дело материализм Маркса и Энгельса, другое дело материализм Плеханова-Бельтова. Материализм Маркса и Энгельса эмпиричен и реалистичен; материализм Плеханова—Бельтова метафизичен и идеалистичен.“***) То же чрезвычайно характерное обстоятельство отметил и В. И. Ленин. „Махисты, желающие быть марксистами, дипломатично оставили в стороне Энгельса, совершенно игнорировали Фейербаха и топтались исключительно кругом да около Плеханова“.****) Г. В. заклеймил это „топтание“ не только как неудачную, но и как немужественную философию.

Безупречные логические построения Плеханова заставляли разлетаться во все стороны карточные домики эмпириокритических концепций. Его трезвый и глубокий анализ вскрывал всю реакционность теории, которые под оболочкой позитивизма и новейшего естествознания таили в себе ядро идеализма и фидеизма. Его беспощадная убийственная чисто герценовская ирония вырывала всякую почву из под ног адептов трусливого идеализма.

Обороняясь от своих противников--махообразных марксистов и марксообразных махистов, Плеханов в свою очередь аттаковал их; защищаясь от махизма, нападал на него. Свой переход от обороны к на-

---

*) От обороны к нападению. Стр. 55.

**) Ibidem. Стр. 67. Мы считаем долгом указать здесь, что мысль о том, что аргументация „махистов“ против материализма заимствована у Берклея; была впервые высказана Л. И. Аксельрод (Ортодокс)—в ее „Философских очерках“ (1906).

***) А. Деборин, Введение в философию диалектического материализма Птг. 1916 Стр. 343.

****) Вл. Ленин. Материализм и эмпириокритицизм М. 1920 изд. 2-е. Стр. 93.

падению Г. В. сопровождал той страстностью, которая составляет одну из самых характерных черт Плеханова, этого спортсмена полемики. Эта страстность дала повод некоторым видным теоретикам марксизма, в том числе и Каутскому, упрекнуть Плеханова в излишней горячности и ненужном обострении спора. Г. В. однако считал „горячность“ *необходимым условием борьбы с философским ревизионизмом*, ибо он был убежден в том, что теоретическая буржуазная реакция, производившая в то время опустошение в рядах передовой интеллигенции России совершалась под знаменем философского идеализма. Борьбу с теми философскими учениями, которые способствуют такому опустошению, Плеханов считал обязательным вести с последовательной суровостью. В этом огромная и ценная заслуга Плеханова. Он первым из марксистов провозгласил, что за ширмой гносеологической схоластики эмпириокритиков таятся классовые тенденции. Здесь следует отметить, что осуществляя свое теоретическое размежевание с махистами в эпоху царившей в России безраздельной реакции, Г. В. поставил прогноз, в правильности которого последовательные марксисты должны были убедиться в переживаемую эпоху Великой революции. Так, напр., В. И. Невский в результате своих практических наблюдений над тем, как выковывается мысль рабочего класса в наше время, заявил, что идеи эмпириокритиков, с которыми столь страстно боролся Плеханов, представляют собою не „философию живого опыта,“ а „философию мертвой реакции“. К этому положению и сводил всю свою полемику с махистами Г. В. сразу *понявший пагубные результаты* той философской путаницы, которая наступила в результате того, что „в революционные головы попало реакционное содержание“.

Особое место в „обороне“ Плехановым диалектического материализма от многочисленных попыток „поверить“, „дополнить“, „исправить“ теорию Маркса занимает отношение Г. В. к философии Иосифа Дицгена.

Как известно, учение германского философа-самоучки, самостоятельно пришедшего к открытию основных принципов диалектического материализма, дало повод некоторым из его последователей провозгласить дицгенизм высшей „универсальной натур-монистической“ фазой диалектики. Плеханов выступил против такого чрезмерного увлечения философией Дицгена, заявив, что философские воззрения Маркса и Энгельса „*не могут быть **дополнены**, а могут быть, пожалуй, **популяризованы*** с помощью учения Дицгена“.*) Плеханов считал, что у Дицгена нельзя обнаружить ни одного основного положения, которого бы не формулировали—более научно и более ясно—Маркс и Энгельс.

Центральный пункт гносеологии Дицгена—положение о том, что „мировое единство сплошь многообразно и все многообразие составляет одно монистическое целое“,**) об'является Плехановым повторением мысли, составляющей основу всякой диалектики и исчерпывающе формулированной творцами научного социализма. Анализируя характер выступлений Дицгена, направленных против спекулятивной философии, рассматривающей дух вне мира и над миром, Плеханов считает, что Дицген с этой задачей не справился. В том ответе, который Дицген давал на вопрос об отношении суб'екта к об'екту, Плеханов усматривал *логическое грехопадение*. *Положение Дицгена о том, что бытие* производит мышление, которое, однако, является частью бытия, по мнению Плеханова, „привлекает к И. Дицгену людей, находящихся

---

*) Основные вопросы марксизма СПБ 1917 г. Стр. 5.

**) А. Дицген. Завоевания (Аквизит) философии и письма о логике СПБ 1906 Стр. 47.

под влиянием современного идеализма и во что бы то ни стало желающих приставить идеалистическую голову к историческому материализму".*)

Считая, что Маркса нельзя ни „ревизовать", ни дополнять при помощи Дицгена, Плеханов советовал знакомиться с теорией Дицгена лишь после тщательного изучения философии Маркса. „Тогда можно легко видеть, в чем он приближается к основателям научного социализма, и в чем он уступает им, значительно отставая от них. В противном же случае, чтение его внесет, правда, в голову читателя кое-какие немаловажные и интересные, но отнюдь не новые частности рядом с большой и вредной путаницей".**)

Оценка, данная Плехановым „дицгенизму", вызвала оживленную дискуссию как в России, так и на западе. Плеханова упрекали в узости, догматизме, нетерпимости. Однако наиболее авторитетные представители марксизма признали безусловную правильность положений, развитых Г. В. по поводу философии Дицгена. Франц Меринг в ответ на выступления Дицгена—сына заявил о несомненной правоте Плеханова.***) В очень категорической форме высказался по этому поводу и Ленин, сказавши, что „дицгенизм" в отличие от диалектического материализма есть *путаница*, есть шаг к реакционной философии, есть попытка создать линию не из того, что есть великого в Иосифе Дицгене, а из того, что есть у него слабого.****)

Центральная теорема диалектического материализма, устанавливающая, что идеальное есть переведенное и переработанное в человеческой голове материальное, была для Плеханова не только положением, нуждавшимся в теоретической разработке и защите, но и осью универсального метода исследования общественной жизни. Этим методом Г. В. с с исключительной силой пользовался и как литературный критик, и как историк общественной мысли.

Главную задачу свою как литературного критика Плеханов видел в том, чтобы, перевести идею данного художественного произведения с языка искусства на язык социологии, чтобы найти то, что может быть названо социологическим эквивалентом данного литературного явления".*****) Оценивая какое-либо произведение искусства, Плеханов прежде всего выяснял, какая сторона классового сознания выражается в нем, устанавливал, где то общественное „бытие", которое определило собою данное „сознание" идеологию разбираемого произведения.

В своих критических статьях Плеханов неоднократно задавался вопросом о том, существует ли и в чем выражается причинная связь между техникой и экономикой общества, с одной стороны—и его искусством,—с другой. Восставая против расплывчатости и туманности известной формулы, определяющей искусство, как отражение жизни, Плеханов указывает, что понять процесс отражения искусством жизни можно лишь изучив механизм этой последней. Основная пружина жизни цивилизованных народов—классовая борьба. Следовательно, классовая борьба отправная точка при изучении искусства какого либо народа. Ключ к об'яснению прекрасного Плеханов отыскивает не в биологии, а в социологии. Эстетические понятия и вкусы определяются общественными условиями существования. „Держась обоими руками за то неоспоримое положение, что общественное сознание определяется

*) От обороны к нападению. Стр. 177 Иосиф Дицген.
**) Ibidem Стр. 181.
***) Neue Zeit 1908 № 38.
****) Вл Ленин. Материализм и эмпириокритизм М. 1920. Стр. 250.
*****) За двадцать лет. Предисловие к третьему изданию СПБ. 1908. Стр. X,

общественным бытием", Плеханов во всех своих литературно-критических выступлениях аппелирует в классовой борьбе, как основной пружине общественной жизни. Критерии классовой борьбы является в руках Плеханова ключем к уразумению процесса образования любого литературного произведения. Достаточно обратиться к циклу его статей о беллетристах—народниках, чтобы воочию убедиться в том, каким мощным оружием критики был для Плеханова этот критерии. Пользуясь им, Плеханов—первый и единственный из критиков—доказал, как народническая точка зрения привела Глеба Успенского и других беллетристов семидесятых годов к неразрешимому для них конфликту художественности творчества с интересом к проблемам общественности. Плеханов выяснил, что лишь последовательная точка зрения классовой борьбы могла вывести беллетристов народников из тупика, в котором они очутились; лишь она могла разрешить роковое для них противоречие художественности и общественности. „Наш образованный разночинец", не переставал утверждать Плеханов, „*должен примкнуть* к начинающемуся историческому движению, стать на точку зрения интересов пролетариата. Этим он сразу разрешит все противоречия своего двухсмысленного промежуточного положения". *) Тем же отсутствием критерия классовой борьбы для Плеханова об'ясняются слабые моменты в творчестве такого художника, например, как Генрих Ибсен. Великий норвежский драматург не мог найти выхода из абстрактной, и потому бессодержательной морали, в область общественных отношений. Он не смог отрешиться от точки зрения избранных индивидуумов *и их „автономной воли", став на точку зрения общества*, точку зрения политики. Его многочисленные герои самоусовершенствуются, очищают волю ради очищения воли, подымают бунт духа ради бунта духа. Это привело Ибсена к символизму, рассудочности, тенденциозности.

Ибсеновское скитание в „пустыне абстракции", его блуждание в лабиринте неразрешимых вопросов было следствием того, что великий писатель не сумел найти в окружавшей его пошлой действительности средства для перестройки этой самой действительности, не сумел обнаружить в ней точки опоры для приложения „очищенной воли". Этим средством является—классовая борьба, этой точкой опоры—пролетариат—наиболее нравственная и революционная часть современного общества.

Это положение было Плехановым блестяще доказано в его небольшом, но богатом по содержанию, этюде „Генрик Ибсен", являющемся классическим образцом того,как следует подходить к исследованию литературного творчества с точки зрения диалектического материализма.

Плеханов никогда не соглашался с рассуждениями Канта, доказывавшего, что эстетическое наслаждение свободно от всякого интереса. Признавая правильность указания Канта в его применении к отдельным индивидуумам Г. В. утверждал, что эстетические вкусы общественного человека в конечном счете об'ясняются причинами утилитарного характера.

В то же время, предупреждая неправильные выводы из указанного положения, Плеханов неоднократно выступал против того упрощенного взгляда, согласно которому, искусство следует рассматривать, как нечто, совершающееся под исключительным и непосредственным влиянием экономического фактора. Непосредственное влияние производительной деятельности человека на его миросозерцание, эстетические вкусы и создаваемое им искусство проявляется лишь в лишенном клас-

---

*) За двадцать лет Изд. 3-е С. П. Б. 1908 Гл. И. Успенского. Стр. 74.

сового характера первобытном обществе. Но в обществе цивилизованном, разделенном на классы, непосредственное влияние хозяйственной деятельности на образование искусства, становится менее заметным. Историю идеологии в обществе, разделенном на классы, можно уяснить лишь исходя из влияния классовой борьбы на психологию составных частей общества. В искусстве выражается общественная психология, характер же последней определяется теми отношениями, в которых находятся группы, образующие данное общество. Эти отношения в свою очередь складываются под влиянием развития производительных сил. Таким образом экономия влияет на искусство не непосредственно, а через различные факторы—политику, философию, религию и т. д., обусловленные ею самой.

Считая, как мы уже говорили выше, основной задачей литературной критики отыскание социалистического эквивалента художественного произведения, Плеханов очень сурово осуждал тех критиков, которые „перегибая палку в другую сторону, ограничивают свою роль тем, чтобы переводить идею произведения с языка искусства на язык философии. Определение социологического эквивалента литературного произведения являлось для Плеханова первым актом материалистической критики; ее второй акт—анализ его художественных достоинств. Этот второй акт не только возможен, но и необходим. „Социология должна", заявлял Г. В., „не затворять двери перед эстетикой, а напротив, настежь раскрывать их перед нею". *)

Относительно Плеханова—литературного критика можно смело сказать, что он действительно никогда „не закрывал двери перед эстетикой". Достаточно прочесть его статьи об Ибсене, Горьком, Гамсуне, чтобы сказать, что он всегда „раскрывал их настежь перед нею".

Плеханов был одним из первых представителей той материалистической критики, которая по его собственному выражению, с одной стороны понимала железные законы движения „экономической струны", а с другой показывала, как на этой струне вырастает „живая одежда" идеологии.

Пользуясь историческим материализмом, как универсальным методом исследования общественных явлений, Плеханов не только оставил ряд огромной ценности литературно-критических статей, но и обогатил русскую историческую науку своими исследованиями по развитию русской общественной мысли, насквозь пропитанными диалектическим материализмом.

Никогда не порывая той причинной связи, которая существует между „ходом вещей" и „ходом идей", Плеханов исчерпывающе обосновал материалистическое понимание русского исторического процесса. Г. В. заявил, что „историк русской общественной мысли, отвергая, как совершенно устаревшее учение о полном своеобразии русского исторического процесса, ни в каком случае не может закрыть глаз на его относительное своеобразие". **) Не сомневаясь в том, что основным двигателем общественного процесса в России, как и во всякой другой стране, была классовая борьба, Плеханов обнаруживает коренную ошибку историков, сравнивающих эту борьбу исключительно с той, которая происходила на Западе, оставляя в стороне общественные отношения Востока. Лишь в сравнении России—страны, колонизовавшейся в условиях натурального хозяйства, с восточными деспотиями—

*) За двадцать лет—Предисловие к третьему изданию. С. П. Б. 1908 Стр. XVII.

**) История русской общественной мысли. т. I стр. 11

ключ к пониманию русского исторического процесса, следовательно всех извилин русской общественной мысли. Пользуясь этим ключом, Плеханов вносил очень существенные коррективы в то понимание русского исторического процесса, которого придерживались многие видные авторитеты нашей исторической науки.

В противовес тем многочисленным суб'ективным историкам, которые витая в облаках абстрактного идеала, всюду и везде отыскивают вечные этические категории, Плеханов, опираясь на железный рычаг классовой борьбы, никогда не оставлял твердой социологической почвы.

Об этом свидетельствуют его исследования о Чернышевском, Белинском, Герцене, Чаадаеве и прежде всего оборвавшаяся, до сих пор еще недостаточно оцененная „История русской общественной мысли". *)

Энгельс установил в „Анти-Дюринге", что „материализм, по существу, диалектичен и более не нуждается ни в какой философии, стоящей над прочими науками". Доведя материалистическую диалектику до высшего совершенства, Плеханов всем своим творчеством доказывал этот энгельсовский тезис. „Философия Маркса и Энгельса", говорит Г. В., не только материалистическая философия. Она есть диалектический материализм". **) Никогда не оставляя отточенного оружия диалектики, Плеханов рассматривал всякую форму в процессе движения. Он подходил к каждому историческому явлению, как к преходящему и старался не только вскрыть причины, его породившие, но также отыскать те семена развития, которые оно в себе таит:

— Все течет, все изменяется, каждая вещь носит в себе зародыш своего исчезновения. Такой ход вещей, отражаясь в человеческих головах, обусловливает собою то, что каждое понятие заключает в себе зародыш своего отрицания. Это—естественная диалектика понятий, основанная на естественной диалектике вещей. Она не сбивает людей, владеющих ею, а напротив, придает их мысли гибкость и последовательность. ***)

Плеханов владел материалистической диалектикой, как никто. Поэтому она не сбивала его, а служила ему компасом, которым он пользовался при исследовании самых сложных и запутанных явлений общественной жизни. Следуя известной энгельсовской формуле, Плеханов всегда рассматривал вещи и их отражения в понятиях „в их взаимной связи, сцеплении, в движении, возникновении и уничтожении". Ни одного из принципов не возводил он на степень безусловной истины. Лейт-мотивом всего его творчества было: „*отвлеченной истины нет; истина конкретна, в ней все зависит от обстоятельств времени и места.* Плеханов никогда не мыслил по формуле: „Да-да, нет-нет, что сверх того—от лукавого". Он жестоко смеялся над так мыслящей „доктринерской породой марксистских попугайчиков", „марксят", как говорил Г. В.

Материализм и диалектика являлись для Плеханова понятиями, взаимно дополняющими друг друга. Без одного из них он не мыслил другого. „*В основе нашей диалектики*", говорил Г. В., „*лежит материалистическое понимание природы. Она на нем держится; она пала-бы, если-бы суждено было пасть материализму. И наоборот. Без диалектики неполна, одностороння,—скажем больше: невозможна материалистическая теория познания*". ****)

---

*) Подробно этого вопроса мы касаемся в главе о Плеханове—историке общественной мысли.

**) Предисловие к „Людвигу Фейербаху" Энгельса стр. 13.

***) Генрих Ибсен С. П. Б. 1906 стр. 42.

****) *Примечания к Людвигу Фейербаху Энгельса. Стр. 21.*

Диалектика—живой дух марксизма; революционность—душа диалектики. Революционная по существу, устанавливающая неминуемость уничтожения существующего уклада, она неприемлема в своем рациональном виде для идеологов буржуазии. Вот почему последние предпочитают иметь с ней дело „в мистифицированном виде“, как говорил Маркс. „В мистифицированном виде“ диалектика превращается в оправдание действительности, становится философским освящением последней. „Мистификация“ диалектики сводится к притуплению ее революционного острия, приписываемому ей отрицанию скачков в природе и общественном процессе, провозглашению непрерывности последнего. В своем „мистифицированном виде“ диалектика превращается в теорию постепенного эволюционного принципа.

Здесь—об'яснение тому, что большинство бывших марксистов, ушедших от рабочего класса к мелкой буржуазии, свой „критический пересмотр“ философских предпосылок марксизма начало с „мистифицирования“ диалектической формулы. „Нам может быть понятно только непрерывное изменение“, писал в свое время П. Б. Струве, „поэтому старое положение: natura non facit saltus (природа не делает скачков) должно быть дополнено другим: intellectus non patitur saltus (интеллект не терпит скачков)“. *)

Струве, Бернштейн, Бердяев, Булгаков утверждали, что природа, интеллект, история не „терпят скачков“. Из этой философской предпосылки следовал естественный вывод о невозможности скачка из „царства животных в область человеческой свободы“, о невозможности четко провести демаркационную линию между сменой одной социальной формации другой, об утопичности предсказании Zusammenbruch'a. Грозная перспектива социальной революции в результате „ревизии“ сменялась миролюбивыми чаяниями социальной реформы.

Плеханов, доказав шаткость аргументов от философии Струве—Бернштейна, первый из марксистов, определил те классовые стимулы, которые привели их к реакционной мистификации революционной диалектики.

Положению ревизионистов о том, что скачков не бывает, а есть только непрерывность, Плеханов противопоставил утверждение о том, что в „действительности изменение всегда совершается скачками, но только ряд мелких и быстро следующих один за другим скачков сливается для нас в один „непрерывный процесс“. **). Изучая природу и общество, надлежит всегда помнить, что скачки предполагают непрерывное изменение, а непрерывное изменение неизбежно приводит к скачкам. Лишь на основе этого синтеза можно воздвигнуть правильную теорию познания.

Что касается той практической тенденции, которую таят в себе теоретические выступления в области толкования диалектического принципа, то Плеханов трактовал ее как тягу к передовым слоям мелкой буржуазии и попытку „приспособить“ марксово учение к ее идеологическим запросам.

Диалектический материализм был для Плеханова цельным и единым философским миросозерцанием. Он неоднократно указывал, что исторический материализм это только часть материалистического понимания мира, что материалистическое об'яснение истории предполагает материалистическое понимание природы. В отличие от многих других марксистов, Плеханов был убежденным противником того взгляда, который

---

*) Archiv für sociale Gesetzgebung und Statistik. Bd. XIV. Heft 5-6 S. 679. Цитирую по Плеханову.

**) Г-н П. Струве в роли критика марксовой теории общественного развития. Критика наших критиков. Стр. 104.

защищал, напр., Штерн, утверждавший, что ,,не только с нравственным, *но и с философским материализмом исторический материализм не имеет ничего общего*". *) Г. В. доказывал, что между материалистической философией и материалистическим пониманием истории имеется взаимная и неразрывная связь, что Маркс и Энгельс—материалисты не только в области исследования общественного процесса, но и в области понимания отношения между материей и духом.

Н. К. Михайловский в шутку назвал Плеханова ,,поэтом марксистской диалектики". Мы можем повторить теперь слова Михайловского, отнюдь, не иронически. Г. В. был настоящим поэтом марксистской диалектики, которой он владел как немногие из учеников Маркса. Неуязвимая в логических построениях, убийственная в беспощадной иронии, овеянная пафосом революционной страсти, диалектика Плеханова была исключительной по своей силе и красоте.

Работа, проделанная Плехановым в области разработки диалектического материализма, воистину, огромна. Собирая воедино наследство Маркса—Энгельса, Г. В. разрабатывал, систематизировал, грудью защищал его от всякой попытки засорения, искажения и нес в массу марксов светильник материалистической диалектики.

В истории русской общественной мысли есть эпоха, когда наша разночинная интеллигенция массами становилась под знамя диалектического материализма. То были годы, когда Россия вступила в фазу *капитализма, что не позволило более русской интеллигенции исповедывать* исторический идеализм и толковать об исключительной самобытности русского исторического процесса. ,,Тогда", говорит Плеханов, ,,явился сильнейший спрос на исторический материализм, потому что только с его помощью можно было сделать удовлетворительный анализ как западно-европейского, так и русского общественного бытия" *) Вполне естественно, однако, что массовое увлечение историческим материализмом могло продолжаться лишь до тех пор, пока довлели реальные предпосылки этого увлечения. Вскоре начался „отход" от материализма и ,,возвращение" к идеализму со стороны интеллигентов, являвшихся идеологами европеизированной русской буржуазии, не смогшими примириться с теми выводами, к которым приводило приложение *материалистического метода к русской общественной жизни.* О всех почти теоретиках, выступивших в начале девяностых годов глашатаями диалектического материализма, через какой-нибудь десяток лет можно было сказать, что „иных уж нет, а те далече". И лишь один Плеханов, в отличие от своих минутных сторонников, бывший идеологом пролетариата, до конца дней оставался безупречно последовательным материалистом. Недаром один из наиболее убежденных идеалистических противников Плеханова Н. И. Кареев, вспоминая свою полемику с материалистами, сказал в 1913 году: „Из тогдашних теоретиков экономического материализма, один только г. Плеханов остался твердо стоять на занятой им позиции". **) Будучи идейным преемником Маркса—Энгельса и наследником их философской системы, Плеханов беззаветно отстаивал дух марксовой философии, но *никогда не был в плену ее догмы.* В. Г. мог не сомневаться когда однажды сказал: ,,Я предоставляю сведущим в философии людям решить, как отношусь я к Марксу и Энгельсу: „как

---

*) П. Штерн. Исторический материализм. Перевод в изд. „Голоса" СПБ. 1905. Стр. 19.

*) История русской общественной мысли т. I стр. 129.

**) Н. И. Кареев, Собрание сочинений. 1913. т. III. стр. VI.

раб, следующий за своими господами, но неспособный усвоить всю полноту их мысли, или же, как ученик, сознательно отстаивающий те принципы, к которым пришли его великие учителя". *).

Мы видили выше, что Плеханов никогда не обращал исторического материализма в шаблон. Он всегда относился чрезвычайно критически ко всем тем марксистам, которые злоупотребляли историко-материалистическим методом, как например, автору „Греческой теории становления" Элевфоропулосу или немецкому марксисту Фейегарду, недопустимо упростившим и сематизировавшим материалистическое понимание истории.**)

В ту пору, когда Плеханов начал свои выступления в защиту диалектического материализма, его противники упрекали Г. В. в том, что защищаемая им философская система не создала такой книги, которая давала бы этой системе оправдание. Плеханов в ответ указывал, что такая „книга" может быть создана только путем „длинного ряда частных исследований, обрабатывающих соответствующие области науки с помощью марксова метода".***).

Если так, то следует признать, что никто не сделал для создания книги столько, сколько сам Плеханов. В его философских памфлетах, литературно-критических и исторических трудах мы имеем настоящую „книгу" диалектического материализма. В каждой странице этой книги чувствуется, что она написана человеком для которого диалектический материализм был сильнейшим из духовных оружий рабочего класса в борьбе за его раскрепощение. Поэтому Плеханов так ревниво оберегал философию пролетариата от всякого искажения ее теориями, „бившими марксизм по лицу": на духовном оружии самого революционного из всех классов современного общества нельзя оставить ни единого пятна эклектической ржавчины—она притупит это оружие. О Плеханове можно смело сказать словами Энгельса, что он „не шутил с марксизмом".

В „Критике гегелевой философии права" Маркс утверждал, что подобно тому как пролетариат обретает в философии духовное оружие, точно также философия обретает в пролетариате свое физическое оружие. Если так, то заслуга Плеханова в области диалектического материализма велика вдвойне. Он не только дал в руки рабочему классу России это мощное оружие, но он предварительно этот рабочий класс „открыл".****).

История русской общественной мысли в одинаковой степени оценит величие этих обоих заслуг пред делом российского освобождения.

С. Вольфсон.

---

*) От обороны к нападению. Стр. 633. Идеология мещанина нашего времени.

**) У нас в России, такой склонностью к упрощению Марксизма особенно страдал, как известно, покойный Шулятиков.

***) Основные вопросы марксизма. Изд. 1917 стр. 105.

****) Об этом подробно в главе о роли Плеханова в русском рабочем движении.

Право и нравственность

с точки зрения материалистического понимания истории.

I.

Вопрос об отношении между правом и нравственностью есть часть вопроса о существе того и другого, как двух основных областей этики. Различно об'ясняют и определяют право многообразные теории. Обилие точек зрения и богатство оттенков поражающи и утомительны, но количество здесь, к сожалению, все еще никак не может перейти в качество. Сообразно с этим, и попытки разграничить области права и нравственности, очертить их об'ем, определить их взаимоотношение и сферу действия, достигают весьма солидного числа. Наука права и в этом отношении богата тем обманчивым богатством которое никак не удается реализовать, чтобы получить об'ективную ценность. В конце концов, мефистофелевский приговор: ,,все, что существует, заслуживает уничтожения'', применим, нам кажется, в полной мере и без всякого снисхождения к бесчисленным теориям права: что они дают теоретикам, кроме отчаяния, более или менее живописно выражаемого? Ибо чему же, как не отчаянию, можно приписать, с одной стороны отождествление права с фактом, такой широкой полосой идущее в науке права, как результат знаменитого ,,естественно-научного'' наблюдения, с другой стороны--энергичный отказ от идеи и понятия права да, кстати, и от самого слова ,,права''? [1]) Отсюда, конечно, очень не далеко и до отрицания фактов, вообще. И если факты возопиют против этого, можно будет сказать, что тем хуже для фактов...

Вряд ли, однако, возможно отрицать факт крайне плачевного состояния науки о праве и нравственности. Бесконечными жалобами на совершенно неудовлетворительное положение дела полна соответствующая литература. Ученая юриспруденция и практика ,,не знают

---

[1]) Бергбсм и Еллинек во многом исходят из совершенно различных точек зрения однако, далеко ли ушел Еллинек со своей концепцией „факта, порождающего право" со своей „нормативностью фактического" (Право современного государства, Т. I, Общ. уч. о гос. СПБ. 1903, стр. 231 слл.) от Бергома с его утверждением, что „право есть только то, что функционирует, как таковое"? (Jurisprudenz und Rechtsphilosophie, I. 1892, s. 80). Мы знаем, отражением чего служит в данном случае трогательное доверие немецкого ученого к факту: могущество государства, этого бронированного факта, гипнотизирует и завораживает его, научное же понятие права до такой степени незакончено и туманно, что может быть отождествлено с чем угодно—и с „волей" и с „силой", „интересом", а лучше всего—с фактом, если он от государства исходит (Иеринг) или государством гарантирован (Еллинек)—Иначе настроен Дюги. Ему его государство импонирует мало: в прошлом—Седан, в будущем, быть может, Ватерлоо. Он весьма склонен, поэтому, к самым радикальным „преобразованиям государства" при молчаливом условии, конечно, чтобы и сильный сосед от них не отказался. Но предварительно нужно уничтожить право, а это легко сделать по той же причине, по которой легко отождествить его с чем угодно. И вот, понятие суб'ективного права „совершенно рушится", как чистейшая метафизика, заменяясь „социальной функцией". (Общие преобразования гражданского права со времени Кодекса Наполеона, М. 1919 г., стр. 15), а об'ективное право превращается в „социальную норму" (Социальное право. Индивидуальное право. Преобразование государства. СПБ. 1909, стр. 23). Таким образом, угрозу свою Дюги осуществляет с точностью само слово „право" исчезло. О, великие чародеи! Любовь к словам и боязнь слов одинаково верно характеризуют некоторых ученых исследователей. Но сидя за письменным столом, уничтожать право, о котором *уже* никто ничего не знает, с помощью социальной функции и нормы, о которых *еще* никто ничего не знает,—не значит ли это: тенью щетки чистить тень кареты?

природы того, с чем они имеют дело, не знают границ своей области действия и отношения ее к смежным областям, не знают, по каким признакам что-либо следует относить или не относить к этой области и не могут, поэтому, сознательно и достоверно решать соответствующие, возникающие в конкретных случаях вопросы...“ [1]) И против старой насмешки Канта, не потерявшей соли в наши дни, выдвигается своеобразный отвод: не дело юристов искать определение права,—этим должна заняться философия.[2]) А к выводам философии, спешащей в этом отношении на помощь (безрезультатно, впрочем), неблагодарные юристы относятся резко отрицательно.[3]) Между тем, сама природа права, оказывается, такова, что сбивает с пути свое родное детище—правоведение, замечает Л. И. Петрожицкий.[4]) Можно было бы притти в ужас от такого безнадежного прогноза. К счастью для науки, тому же Петражицкому удалось, по его заверениям, как герою в страшной сказке, стряхнуть с себя роковое заклятие и расколдовать очарованную „природу права“.

Само собою разумеется, что это общее состояние науки права—состояние неуверенности, неудовлетворенности и неясности—сказывается и в области частного вопроса об отношении между правом и нравственностью.

В традиционном ряду—право, нравственность, религия, нравы—на долю нравственности выпало особо фальшивое положение. Еще до того, как неокантианцы школы Виндельбанда выдвинули с резкой категоричностью противоположность бытия и долженствования, естественно—сущего и идеально-должного, юристы различили в мире норм, полагающих, по их общему мнению, цели и определяющих мотивы, двоякого рода правила: веления права оказались в ближайшем соседстве с велениями нравственности. Этос не монолитен; в нем есть оттенки, переходы, разграничения и даже коллизии; у права нашлись этические родственики, и ближайшим, повидимому, из них заявила себя нравственность.

Наука начала с принципиального противоположения права и нравственности. Уже в начале XVIII века молодая буржуазия почуяла настоятельную потребность развязать себе руки и вывести новый экономический быт из-под несносной опеки феодального государства. Разграничивая „чисто-отрицательные нормы, как право, от положительных норм, как области нравственности, Христиан Томазий предостерегал государство от вторжения в сферу нравственных обязанностей. Эта необходимость противопоставить праву нравственность получила дальнейшее выражение у одного из величайших философов менового общества—у Канта. Совместить свободу всех со свободой каждого—задача права. Отсюда подверженность юридическим нормам одной лишь внешней стороны человеческой деятельности, отсюда и принудительность их.

Это противоположение не могло быть особенно долговечным. Реакция последовала непосредственно за тем, как буржуазные лозунги свободы личности отвоевали себе известное признание. Скоро Фихте в System der Rechtslehre высказался за сближение права с нравственностью, а там, менее, чем три десятка лет спустя, Шопенгауэр кон-

---

[1]) Л. И. Петражицкий.—Теория права и государства в связи с теорией нравственности.—СПБ. 1907. Т. I, стр. 231.

[2]) См., напр., проф. Н. Н. Алексеев.—Введение в изучение права.—М. 1918, стр. 19.—Ср. Георг Еллинек, цит. соч., стр. 230.

[3]) Очень характерны отзывы Бергбома, цит. соч., стр. 455 и сл.

[4]) Цит. соч., 231, 241 и passim.

струирует уже право, как часть нравственности, именно, низшую ее сферу. Нравственное начало едино: сострадание. [1]) Внутренние, положительные требования этого начала — нравственность — и внешние, отрицательные требования ее же — право, суть, следовательно две частные функции одной и той же ,,пружины'': сочувствия к ближнему. [2])

В конце 70-х годов Еллинек обосновывает право, как ,,этический минимум''. [3]) Он удаляет из права принуждение, заменяя его ,,гарантией'' [4], после чего определяет право с об'ективной стороны, как сумму условий сохранения общества, а с суб'ективной, как наименьшее проявление нравственной жизни и настроения, требуемых от членов общества.

У Владимира Соловьева воззрения эти слегка модифицируются. Основываясь на ,,неограниченном или всеоб'емлющем'' характере чисто нравственного поведения, требующем высоты нравственного совершенства и находя в правовом требовании предположение ,,низшей, минимальной степени нравственного состояния'', как необходимой и достаточной, он определяет право, как ,,низший предел или некоторый минимум нравственности, равно для всех обязательный''. [5])

Критика изложенных взглядов характерна в том отношении, что наглядно выявляет выступающие перед исследователем различия, расхождения и противоречия между правом и нравственностью. Указанного отношения между двумя родами этических правил не может быть потому, утверждает критика, что существует множество несомненно правовых норм, в высшей степени, однако, безнравственных. (Примеры подыскать не трудно). Право, далее, потому не есть часть (какая бы то ни было) нравственности, что оно, как известно, осуществляется принудительно, между тем как малейшее внешнее принуждение, приложенное к нравственному повелению, уничтожает его, так сказать, essentiale. Не ясно ли, к тому же, что, регулируя внешнее поведение человека, право в большинстве случаев (конечно, не всегда) относится совершенно индифферентно к внутренним переживаниям, к мотивам действия или воздержания лица, обязанного к тому или другому. Этого никак нельзя сказать о нравственности. Столь же существенно различие в переживаниях правовых и нравственных эмоций: в то время, как правовые обязанности одного сознаются закрепленными за другим, как аттрибуты этого другого, — нравственная обязанность одностороння, ее исполнения контрагент может желать, но не требовать, она, словом, имеет чисто-императивный характер вопреки императивно-аттрибутивному (и через то крайне конфликтному) характеру правовой этики. Заключая в себе, далее, необходимый элемент принуждения, право и исходит-то от суверенной организации, монополизировавшей принуждение, от государства — творца и хранителя права. Аналогичного отношения между нравственностью и государством усмотреть невозможно. То же государство устанавливает, либо, по крайней мере, снабжает своей санкцией, длинный ряд юридических норм, до которых нравственности нет ника-

---

[1]) Артур Шопенгауэр „Свобода воли и основы морали" СПБ. 1896. стр. 262 § 16 и слл.

[2]) Его же „Мир, как воля и представление". Изд. Маркса. Стр. 357—363.

[3]) Jellinek.—Die social-ethishe Bedeutung von Recht, Unrecht und Strafe, 1878, S. 42).

[4]) Общее уч. о госуд., стр. 218—220.

[5]) Вл. Соловьев - Право и нравственность. Очерки из прикладной этики.—В собрании сочинений, Т. VII, стр. 509.

кого дела. Наконец, подобное подчинение права нравственности, превращение его в „гусиное вино социальной жизни, aqua ordinaria“, [1]) несет с собой, спохватываются юристы, крупную (анархическую, вероятно?) опасность для правового общения, заставляя последовательную мысль презреть и отринуть всякий правопорядок в пользу высшего, чисто-нравственного соединения. Не многие, впрочем, сознают, как мало смысла с научной точки зрения имеет последнее возражение: теряет ли истина в своей полноценности от того, что принятие ее грозит гибелью миру?

В конце концов, лишь нормативная теория права, столь распространенная в наше время, способна, якобы, разрешить контроверзу. Исходя из противоположения мира необходимости миру должного и уверившись в нормативной природе права, нормативисты с легкостью утверждают некий „вечный“ идеал добра, alias—нравственный идеал, „который должен определять собой развитие права“. [2]) Этот нравственный идеал есть естественное право, которое всегда было „совокупностью идеальных (нравственных) представлений о праве“. [3]) Но все обстоит прекрасно лишь до тех пор, пока не затронут вопрос о *характере* долженствования, скрытого в юридических нормах. Оказывается, что, не сходя нисколько с точки зрения нормативной природы права, можно защищать совершенно особенное существо юридического долженствования, отличного от нравственного. Больше того: право со своей всегда гетерономной мотивацией куда, так сказать, нормативнее, чем мораль, почему и может быть резко обособлено от морали. [4]) Таким образом, нормативная теория права благополучно приводит к тем самым неразрешенным недоумениям, с которыми взялась покончить.

II.

Путь к правильному пониманию взаимоотношений права и нравственности пытается проложить материалистическое воззрение на историю.

В свое время успехи научного естествознания положили конец кичливому взгляду на особенную, отличную от животного мира, божественную природу человека, онтогенетически и филогенетически подтвердив гениальную интуицию Аристотеля. Подобным же образом задачей исторического материализма является свести с небес на землю все то, что наивному идеалистическому мышлению представляется искрой божией (как бы она ни называлась), заложенной в душе человека свыше, но что в действительности, служит лишь проявлением и доказательством его животной природы. ,,Достигнув полного развития у некоторых блестящих представителей породы, иные чувства ослепляют нас, заставляя забывать, что они—не что иное, как развитие явлений сознания, довольно распространенных среди животных.“ [5]) Такой, именно, ,,искрой божией“ представляется традиционному воззрению, так называемый нравственный закон, обитающий в душе человека. Действитель-

---

[1]) П. Новгородцев.—Кризис современного правосознания.—М. 1909 стр. 12.

[2]) Кн. Е. Н. Трубецкой.—Энциклопедия права.—1908—стр. 59.

[3]) П. И. Новгородцев.—Историческая школа юристов, ее происхождение и судьба.—М. 1896. Стр. 2.—Ср. Трубецкой, цит. соч., стр. 57.

[4]) Hans Kelsen.—Hauptprobleme der Staatrechtslehre.—Tübingen.—1911— Глава 1.

[5]) Д-р Шарль Летурно.—Социология по данным этнографии СПБ. 1896, стр. 254

но, „всевозможные моралисты уже целые тысячелетия проявляют свое пристрастие к тому, чтобы представить человека сверхъестественным в этическом отношении существом“.[1]) Тем большим сочувствием и вниманием должны пользоваться те из них, что пытаются проложить путь чисто имманентному научному познанию. А такое познание в области, например, права и нравственности необходимо предполагает сопоставление человека с животными и его этических переживаний—с дочеловеческими аналогами. Иными словами: „старый вопрос об источнике нравственного порядка в обществе до известной степени переносится из антронологии в зоологию.“[2])

Мир духовной жизни животных есть, прежде всего, мир влечений и инстинктов. Сюда присоединяется и завоевания собственного ума на почве жизненного опыта. Этими же тремя чертами определяется в основе своей и жизненная деятельность человека. В частности, для раскрытия существа нравственности, для понимания происхождения нравственного закона, чувства совести и долга, необходимо обратиться к инстинктам животных и, в особенности, к социальным инстинктам высших животных.[3]) Для человека, как и для других животных, борьба за существование, обнимающая собой не только соревнование с другими организмами, но и борьбу с природой, послужила главной работой, в процессе которой укрепились инстинкт самосохранения и инстинк размножения рода. Только при наличии этих двух особенностей получили существенное значение те способности, которыми животный мир отличен от растительного: самопроизвольное движение и познавательная способность. Эти последние „лишь тогда становятся орудиямм в борьбе за существование, если рядом с ним выступает стремление к самосохранению организма.“[4]) Движение и познание—излишняя и бессмысленная роскошь при отсутствии инстинкта самосохранения. В свою очередь, инстинкт самосохранения не достигает цели без содействия движения и познания. Но и то и другое, далее, приобретает существенное значение в деле размножения рода у тех животных, у которых *размножение* это стало половым.

Тот же процесс борьбы за существование при посредствующем действии инстинктов самосохранения и продолжение рода развивает в отдельных животных видах особые инстинкты—социальные. Как общее правило, факт размножения сам по себе ведет к общественной жизни одинаковых существ, но инстинкт самосохранения в некоторых случаях парализует возможность совместной жизни (главным образом, у хищников, захватывающих добычу неожиданным нападением, прыжком и т.п.),

---

[1]) К. Каутский. —Наука, жизнь и этика.—М. П. 1918. Стр. 4.—Как увидим ниже приговор этот страдает чрезмерной огульностью.

[2]) В. Вунт.—Этика. Исследование фактов и законов нравственной жизни. СПБ. 1888. Т. I, стр. 116.—Весьма характерно, что тот же Вундт в лекциях, написанных за 23 года до издания „Этики“, не осмеливается еще так решительно связывать антронологию с зоологией. Там у него „точка происхождения нравственной жизни совпадает вообще с происхождением человеческого рода...“—и только. (В. Вунт.—Душа человека и животных. СПБ. 1866. Т. II, стр. 152) несмелость мысли, лишь отчасти обусловленная тогдашним состоянием науки, тем более явствует, что автор лекций признает за животными проявления нравственного чувства, считая, например, брак животных совершенным прототипом человеческого брака (Душа и т. д. 237 слл.).

[3]) Ср. Фр. Паульсен, проф. берлинского университ. Основы этики М. 1907, стр 341. —Это утверждение далось проф. Паульсену нелегко: пол-страницы потребовалось предварительно отвести на извинительные расшаркивания перед „религиозным“, „трансцедентным“ и т. п.

[4]) К. Каутский. —Этика и материалистическое понимание истории.—1906—стр.56

в других же—таких случаев большинство—настоятельно предписывает соединение в общество. В таком союзе миролюбивых животных—раз он возник—разделение труда не заставит себя ждать. Тогда союз индивидов превращается в правильно функционирующий организм, части которого заняты общей задачей: сохранение и преуспеяние целого. Борьба за существование—вот необходимость, бессменно стоящая перед общественным организмом, как перед животным, и в этой борьбе организм тем устойчивее, чем он спаяннее и гармоничнее. „У животных пород, у которых общественная связь становится настоящим орудием в борьбе за существование, под влиянием этой связи порождаются общественные, социальные инстинкты, приобретающие у некоторых видов и у некоторых индивидов поразительную силу".[1]) „...Труд, бережливость, мужество, послушание слабого, попечения сильного, наконец, всеобщая готовность к жертвам, т.-е., отречение от личного я ради блага коллективной личности,—вот существенные черты добродетелей, к которым животное призывается социальной жизнью, и которые оно, действительно практикует, под давлением внушаемых ею чувств, иногда даже само того не ведая."[2]) И следует ли забывать о животном характере таких общественных инстинктов, как самоотречение и верность, храбрость и дисциплина, только потому, что они „полного развития достигли лишь у иных блестящих представителей породы?" В *человеческом* обществе они, именно, и носят название возвышенных добродетелей. Это нравственные мотивы. Их сущность — нравственный закон. „Нравственный закон не вытекает ни из произвола трансцедентного властителя, ни из произвола безотчетного „внутреннего голоса,"— он является выражением внутренней закономерности человеческой жизни,"[3]) как жизни животной, прибавим мы. Так „из потребностей животной жизни в их поступательном ходе возник необыкновенно слабый на первых порах, а затем все более и более усиливавшийся нравственный инстинкт."[4]) Но не напрасно представляется нам нравственный закон то заповедью трансцедентного владыки, то повелением внутреннего голоса. Его таинственность, его кажущаяся необ'яснимость, его аподиктичность, для которой разум затрудняется найти основу, суть признаки его существа, как животного инстинкта, однородного с инстинктами самосохранения и размножения.

Нравственный закон есть отзвук животной природы человека. Социальные добродетели, столь прославляемые и высоко ценимые, одинакового происхождения с малоуважаемым инстинктом продолжения рода. Но здесь предел аналогии между человеком и другими общественными животными, и дальнейшее развитие социальных инстинктов в человеческом обществе совершается по особым законам. „Здесь кончается Дарвин, и начинается Маркс." Человек есть не только общественное животное. Непереходимую грань между ним и другими животными кладут изобретаемые им средства производства. Человек есть животное, делающее

---

[1]) К. Каутский.—Этика и матер. понимание истории.—Стр. 62.

[2]) А. Эспинас.—Социальная жизнь животных.—СПБ. 1898, стр. 293.

[3]) Паульсен, ук. соч., стр 16.

[4]) Александр Сузерланд —Происхождение и развитие нравственного инстинкта.—Цитирую по М. М. Ковалевскому. Социология, т. II, стр. 42. СПБ. 1910.

орудия. И только с производством средств производства начинается очеловечение человека. [1]) Сначала *недостаток* орудий производства заставил человека прибегнуть к сотрудничеству с себе подобными, а затем именно *наличие* этих орудий, полезное действие которых тем очевиднее, чем больше индивидов соединяется для пользования ими, принудило его дорожить сотрудничеством, укреплять и развивать его. В совместном трудовом процессе, в процессе производства жизненных благ из нескольких десятков нечленораздельных криков родилась и развивалась человеческая речь, ставшая незаменимым орудием человеческих общественных сношений. Идеология возникающая в том же процессе и неуклонно отражающая в себе все его перипетии, становятся как и речь, могучим средством укрепления социальных связей, общественного сотрудничества, до той поры, пока через прогресс техники, через развитие производительных сил, та же идеология, отразив новую ступень техники-экономики, не превращается в орудие распада старых общественных форм, отживших свой срок и уже не годных.

Какие же, говоря ближайшим образом, изменения вносятся экономическим развитием в мир социальных инстинктов человека? Эти изменения идут по двум основным линиям. Во-первых, с развитием сотрудничества, с ростом власти над природой, индивид становится во все большую зависимость от общества и привыкает смотреть на него, как на мир своеобразный и для него, индивидума, более важный, чем мир природы. В связи с этим действие социальных инстинктов становится все сильнее и неотразимее,—социальные инстинкты укрепляются. В то же время, по мере вовлечения в экономический оборот все больших масс людей, новых стран и новых обществ расширяется и сфера действия социальных инстинктов, и ко времени пышного развития капитализма в эпоху мирового сотрудничества человеческих обществ нравственный закон обнаруживает тенденцию стать обязательным в применении ко всем людям без различия рас. [2]) Но это укрепление и расширение можно принять лишь с двумя существенными оговорками: в связи с ростом разделения труда, в связи с возникновением и развитием частной собственности на орудия производства, растет расчленение на классы. Связь между различными классами становится все больше и больше связью двух ожесточенных врагов, схватившихся в смертельном об'ятии. Можно ли говорить об укреплении социальных инстинктов в отдельном индивидууме по отношении ко всему обществу? „Социальные инстинкты по отношению ко всему обществу ослабевают, но тем сильнее они начинают развиваться внутри класса" и именно того „благо которого для массы индивидов все более отождествяется с общим благом." [3]) С другой стороны, базу для расширения сферы действия социальных инстинктов дает в наше время, конечно, капитал, но он делает это против своей воли и на свою погибель. Это лишь признак все растущего классового самосознания

---

[1]) Некоторые авторы с простодушным злорадством готовы увидеть „расширение" основных принципов марксизма в выведении генезиса человеческой морали из животной природы человека. Марксизм не игнорирует биологию! Какой же это марксизм? (Ср.: В. Мачинский.—О человеческой культуре.—СПБ. 1909. Стр. 9, 97.). В простоте души им хотелось бы, чтобы марксизм выдумывал средства производства там, где их нет. И странно что „ортодоксальный" Каутский этого не делает. Впрочем, давно известно, что не только Каутский, но и Энгельс и Маркс были непоследовательными марксистами.

[2]) Нечто подобное человечество переживало в эпоху римского владычества, об'единившего весь тогдашний „круг земли", что и выразилось в создании новой религии универсального размаха, для которой в принципе „несть еллин, ни иудей."

[3]) К. Каутский.—Этика—стр 116.

враждебного буржуазии класса, которому одному дано через классовую солидарность пролетариев осуществить раньше или позже солидарность общечеловеческую в бесклассовом обществе.

Во-вторых, развитие речи способствует появлению такого морального фактора, отсутствием которого резко отличается животный мир. „Если мы обратимся к степени общественно-нравственных понятий животного, то увидим, что нечего и думать о том, чтобы приписывать ему какие-либо абстрактные мотивы или общие принципы действия.“ [1]) Моральных принципов, нравственных норм не знает животный мир. Эти нормы отличаются от инстинктов тем, что индивидуум *знает о них*...он предписывает их себе и другим в виде известных общих формул, начинающихся „ты должен“ „или ты не должен“ [2]) Но мог ли бы индивид знать о них или предписывать их себе, если бы у него не было развитого языка, „потребность в котором возникает только с появлением организованного сотрудничества. [3]) и который есть, следовательно, чистый продукт экономического развития? Это—инстинкты, которые общественными потребностями через посредство речи доведены до сознания [4]) и путем воспитания и наследственности превращены в нравственные заветы. „Раз приобретенная утонченность нравственных понятий передавалась потомкам в большей или меньшей степени. С другой стороны, воспитание работало более или менее разумно над развитием этих наследственных склонностей.“ [5])

Здесь нужно, однако, отметить следующее: и социальный инстинкт как таковой, и нравственная норма поражает наблюдателя, прежде всего своею категоричностью и обязательностью. Эти свойства, поскольку они выступают в инстинкте, не подлежат здесь, нам кажется об'яснению. Но когда речь заходит об обязательности социального инстинкта, достигшего сознания в виде нравственного принципа, легко впасть в распространенную в традиционной науке ошибку, если искать источник этой обязательности непосредственно в разумном и развитом сознании мыслящего суб'екта. Формулированная на словах обязательность социального инстинкта воспринимается первобытным человеком, живущим в коммунистическом обществе, как идеальное выражение той ясно ощущаемой материальной связи, которая существует между ним и его родовой группой. Положение меняется с развитием менового хозяйства. Здесь трудовая связь между обществом и противополагающим ему себя индивидом до такой степени затемняется, что признать в нравственной норме отражение общественных потребностей индивид, подпавший под власть экономической необходимости, не в состоянии. Тогда норма, оторвавшаяся от своей хозяйственной основы и существующая как бы сама по себе, наделяется и обязательностью, как органическим свойством„...развивается представление, что многократно повторявшееся повеление само по себе, отрешенное от своего источника, вследствие внутренней своей обязательной силы является нормой, вообще долженствующей быть исполняемой, т. е., нормой этической.“ [6]) Подобно тому, как

1) Эспинас.—Ук. соч., стр. 287.

2) Паульсен.—Ук. соч., стр. 342.

3) Каутский.—Этика, стр. 117.

4) Ср. Паульсен, цит. соч., стр. 342.

5) Летурно, цит. соч., стр. 258.

6) Еллинек.—Общ. уч. о гос., стр. 221.

товару фетишистское мышление менового общества приписывает ценность, как свойство, так и норма выступает в ореоле святости, обязательная сама по себе, носящая в самой себе существо бесспорности и категоричности.

В действительности, сила морального принципа обусловливается силой общественных отношений, создавших его. На определенной ступени производства возникают определенные общественные учреждения, назначение которых - защищать данное хозяйственное содержание до тех пор, пока не разовьются все его силы, и учреждение из средства удовлетворения общественных нужд не обратится в свою противоположность. Это относится, конечно, ко всякой идеологии. Нравственные нормы не избегают этой участи. И в этом необходимая и достаточная причина их изменчивости, констатированной этиками всех времен, но об'ясняемой крайне неудовлетворительно.[1])

Раз возникнув, нравственная норма, уже потому что возникла, обречена на гибель. Она, как и всякая идеология, отличается косностью сравнительно с непрерывным поступательным движением того экономического содержания, формой которого она явилась. Иначе, как могла бы она служить достаточно твердой опорой и защитой этому содержимому? Когда сосуд или рамка начинает принимать формы содержимого или ограничиваемого, они перестают отвечать своему назначению. Душа классового общества—противоречие между способом производства и способом присвоения, выражающееся в борьбе классов. Те самые принципы морали, которые годились и приемлемы были для всего общества. Один мимолетный незабвенный момент и вызвали (так и кажется, что это именно они вызвали) взрыв всеобщего энтузиазма, уже устарели, нравственный идеал потускнел, „благодеяние превратилось в несчастие, и разум—в безумие". Что это значит? Да только то, что опять наметилась сомкнувшаяся было трещина между классами, опять все шире и шире пропасть внутри общества, и пройдет время, пока новый класс, носитель нового экономического интереса эпохи, об'единит вокруг себя все общество и, как голубь Одиссея, на краткий миг соединит Сциллу и Харибду классовых интересов.

Но предварительно в недрах этого класса произойдет в высшей степени знаменательная идеологическая работа. „Затем, еще один шаг, и придется сказать, что и для различных групп одного и того же народа, наконец, даже для различных индивидуумов, имеет силу особая нравственность".[2]) Да, придется сказать, как это ни трудно для традиционной науки. Но придется сказать expessis verbis, называя вещи по имени и не затушевывая верную мысль расплывчатыми и ничего, в сущности, не значащими словами, в роде: различные группы одного и того же народа. Придется сказать, что в глубине нового класса нарождаются принципы новой нравственности, которым принадлежит будущее—не потому, что в них искомый абсолют, а потому, что они—неизбежное произведение новой техники-экономики. В этом смысле нравственный идеал этого класса есть, конечно, выражение его силы, но только силы организатора и руководителя производства, действительного поильца и кормильца общества. Разумеется, социальные инстинкты этого класса не действуют по отношению ко всему обществу; они, *если можно так выразиться, целиком* обращены внутрь данного класса

---

[1]) Образец ясного понимания изменчивости нравственных законов и чудовищного игнорирования ее действительной причины см. у *Ант. Менгера: Новое учение о нравственности*, СПБ. 1906, гл. IV и passim.

2) Паульсен.—Цит. соч., стр. 23.

и здесь достигают невиданной силы и размаха. В наше время зрелище высокого героизма и самоотвержения представляет любая стачка пролетариата в буржуазной стране, не говоря уже о несравненной эпохе классовых войн пролетариата Советской России. В этом—проявление того „практического идеализма, который в бесчисленных формах так ярко характеризует пролетариат"[1]) В этом—проявление его нравственного идеала, как „особого оружия для особенных условий классовой борьбы".[2]) Этот рост и укрепление социальных инстинктов внутри нового класса совершается наряду с процессом ослабления и развала этих инстинктов в среде классов отживших, теряющих власть над производством и превращающихся в общественных захребетников, чем и об'ясняется индивидуальное и групповое отпадение их членов от родного класса и присоединение их к классу - антагонисту, большей частью, правда, после длительных промежуточных шатаний. С явлениями паралича социальных инстинктов тесно связано в гибнущих классах общее снижение нравственности—моральных принципов, чему веские свидетельства, исходящие из совершенно различных источников, мы привели в другом месте.[3])

Рано или поздно должен наступить момент, когда подчиненное большинство, осознав свою экономическую силу, открыто отвергает обязательность для себя той морали, которая официально господствовала до сего времени, как выражение старых соотношений социальных сил. „Верные рабы" древности, „преданные холопы" средневековья, „честные рабочие" нового времени отказываются от верности, преданности и честности по отношению к данной общественной организации. Они выработали уже в тайниках классового самосознания представление о новом обществе, „действительно нравственном" и „действительно справедливом". На эту новую ступень нельзя подняться, не поставив ноги на прежнюю. Новый класс так и делает, подмываемый новыми понятиями о верности, преданности и честности, и под его ногами трещит и разваливается старая общественная форма. Что ему до этого! Он сам есть новое общество, в котором он призван утвердить новую добродетель, как всеобщий закон.

В этом случае массовое действие стихийно и неотразимо. И каким бы воплем ужаса и негодования ни встречали современники крушение данного миросозерцания, история и общественное мнение потомства всегда оправдывает его. Правда, венок получают от господствующей науки не массы, а так называемые великие исторические личности,[4]) но это потому, что истинные пружины больших общественных переворо-

---

[1]) Менгер.—Нов. уч. о нравственности.—Стр. XV.

[2]) Каутский.—Этика.—Стр. 136.

[3]) Г. С. Гурвич.—Основы Советской Конституции.—1921.—§§ 72—77.—Вообще, традиционная наука превосходно знакома с этими явлением, но она не знает, чему его приписать. Только таким незнанием и можно об'яснить прелестные в своем наивном огорчении следующие строки: „Il semble qu'un souffle d'alleination aveugle aujourd'hui la bourgeoisie, car elle ebranle sans les plus solides colonnes de la société qui l'abrite.... Elle perd conscience de sa superiorité, de sa puissance et de la valeur".... (D-r Gustav Le Bon.—La psychologie politique et la défense sociale.—Paris. 1910, p. 198). На ряду с этими свидетельствами получает особенный—в наши дни—смак гордое заявление Эд. Бернштейна: „я считаю своим долгом заявить, что я считаю буржуазию—не исключая и немецкой—в общем еще довольно здоровой и не только экономически, но и нравственно". (Э. Бернштейн.—Исторический материализм.—СПБ. 1901, стр. 231).

[4]) Ср., Менгер, ук. соч., стр. 4.

тов скрыты от этой науки. Бог, случай и великий человек—вот три пузыря, с помощью которых плавает эта наука по поверхности исторического моря. Она сделала все, что могла: исследовала эту поверхность вдоль и поперек и не утонула, хотя частенько захлебывалась. Но водных глубин она не изведала: мешают спасительные пузыри.

Но этому кульминационному пункту ниспровержения старых идеалов, этому революционному завершению предшествует длинный период более или менее тихой эволюционной работы. Кроту классовой борьбы нужно много времени, чтобы превратиться в льва революции. Нравственному идеалу подчиненных масс нужно много времени, чтобы выкристаллизоваться и противостать открыто нравственности господствующего класса. Но и эта последняя все менее и менее может рассчитывать на признание во всём об'еме. В непрестанных столкновениях с моралью класса—антагониста от господствующей нравственности, как нравственности официальной, откалываются все большие куски. В результате развития неоспоримая зона ее обязательного действия сокращается до границ родного класса, где она и функционирует, как отношение междуличное. Таким образом, внутри господствующего класса его нравственные правила действуют, не ограничиваемые ни в количестве своем, ни в силе своей. Здесь его нравственный идеал, заботливо культивируемый, лелеемый и чтимый, достигает величественных вершин—до тех пор, разумеется, пока класс сохраняет свою жизненную силу, т. е., об'ективную экономическую ценность. Суровая доблесть, фанатическая приверженность долгу, мужество и самоотречение, легко и радостно дающиеся, не требующие борьбы с самим собой и не рассматриваемые, как жертва, честность и правдивость, дружеская благожелательность—все это качества, неизменно характеризующие сильный экономически класс на заре его политической жизни, когда он, по выражению Маркса, „братается со всем обществом". В среде класса противоположного эти нравственные правила, сначала воспринимаемые с энтузиазмом, подвергаются по мере осложнения экономических противоречий все более разлагающей критике. Щель между „я должен" и „я вынужден" (sollen и müssen) расширяется все более и более. „Нравственные заветы" встречают растущее отрицание и протест. Воспитывается новый нравственный идеал—простая противоположность идеалу господствующего класса, как экономические интересы эксплуатируемого—простая противоположность интересам эксплуататора. Равнодушием или ненавистью встречают там—в низах—то один, то другой моральный принцип верхов. Насмешкой, скорбным пожатием плеч или „священным" негодованием клеймят наверху новые экономические идеалы и, соответственно с этим, новые нравственные идеалы низов. Уже далеко не все моральные принципы господствующего класса рискуют выходить за пределы своей общественной стихии в сферу междуклассовых отношений, а только некоторые, наиболее необходимые для урегулирования сталкивающихся интересов. Да и эти некоторые, выходя, облекаются в специфическую броню и сопровождаются эскортом специальных телохранителей.

Вот эта броня и эти телохранители и вводят в великое заблуждение большинство ученых знатоков права и исследователей нравственности.

С делением общества на классы и с зарождением классовой борьбы социальные инстинкты по отношению ко всему обществу ослабевают. Но от этого до полного их исчезновения весьма значительное, как выяснено выше, расстояние. Несмотря на прогрессирующую пропасть внутри, классовое общество существует. Самые эти классовые противоречия из себя самих рождают такую форму общественного существова-

ния, которая только и делает возможной жизненную деятельность общества. Эта форма—государство. Государство не есть продукт ни божественного произволения, ни слепого случая, ни разумной человеческой воли, ни капризной, беспорядочно играющей прихоти. Оно есть целиком произведение экономической необходимости. Оно есть, по всем хорошо известному выражению Энгельса, „сознание, что общество находится в неразрешимом противоречии само с собою, что оно распалось на непримиримые классы, и что оно не имеет средств примирить эти противоречия".[1]) И поскольку живо сознание необходимости ввести в рамки классовую борьбу, поскольку действуют социальные инстинкты подчиненных масс по отношению к государству. И господствующий класс, аппаратом экономической власти которого является государство, имеет возможность мобилизовать определенный контигент своих моральных принципов,—тем больший, чем ниже классовое самосознание эксплуатируемых классов,—снабдить его санкцией государства, поставить на страже его всю принудительную мощь государства и направить на регулирование междуклассовых отношений.

Эта сумма нравственных предписаний, снабженная этикеткой государственного признания и вооруженная аппаратом государственного принуждения, есть право.

III.

Прежде всего, такой вывод подсказывается исторически. Исследователи исторического возникновения права—философы, юристы, моралисты—с разных точек зрения и для разных целей констатировали факт первоначального единства права и нравственности. Так, множество правовых постановлений, существующих в разных законодательствах, предписывающих, например, трезвость, благочестие, почтение к старости (прямо или косвенно), общественное сострадание,[2]) рассматриваются как „неубранный остаток от древнего состояния слитности или смешанности нравственных и юридических понятий[3])". Так, разделение областей нравственности и права, „которое в декалоге лишь *слегка* проявляется во внешнем порядке следования друг за другом разнородных заповедей, достигает полноты, когда правовые нормы освобождаются от первоначальной тесной связи с религиозными предписаниями. За ними следуют те нравственные заповеди, которые еще долгое время удерживают неопределенное место между обычаем и правом".[4]) Но что, собственно, означает выражение: древняя слитность нравственных и юридических понятий? Или: „на низших ступенях развития они (право, нравственность, нравы) еще не раздельны".[5])? Это можно понимать только так, что сознание древнего общества (безклассового или с едва намечающимися классовыми расслоениями) *никакой не проводило грани* между теми понятиями, которые современному исследователю представляются разграниченными, так что, действительно, „нет возможности

[1]) Происхождение семьи, частной собств. и государства.—Петр. 1918 стр. 80.

[2]) См. напр., в русском законодательстве статьи с „нравственным" характером: 172, 107, 105, 177—Св. Зак. т. X, ч. I, изд. 1900 г., а также ст. 131 Уст. о нак. Сюда же может быть отнесена ст. 166 (св. Зак. т. XIV).

[3]) Вл. Соловьев.—Оправдание добра—Собр. соч., стр. 393.—Ср.: Н. Коркунов.—Лекции по общей теории права, С.П.Б. 1898, стр. 42, 47.

[4]) Вундт.—Этика.—I, 110.

[5]) Ф. Регельсбергер.—Общее учение о праве.—М. 1897. Стр. 7.

различить их специальные области и сказать, где кончается одна и начинается другая".[1]) Но если нет, повидимому, сомнения в первоначальном единстве религии, нравственности и обычая,[2]) и нет, равно, сомнения в позднейшей кристаллизации права из обычая,[3]) то не в праве ли мы заключить о генетическом первенстве нравственности перед правом? О том, что „первоначальные предписания права представляют из себя только часть законов нравственных"[4])? Нам трудно, конечно, согласиться с тем, что право зарождается „на почве солидарности человеческих групп" и притом до возникновения государства, но что *оно, во всяком случае, при возникновении своем ничем еще не отличается от нравственности*[5]), и является, следовательно, продуктом позднейшим, выделившимся из нравственности,—вывод, по нашему мнению, бесспорный. Остроумный и глубокомысленный исследователь движущих основ древнего права довольно верно нащупывает историческое происхождение права из нравственности, когда говорит: „Римлянам исстари удалось перевести право из области души и чувства в область расчитывающего разума, сделать из права независимый от влияний мимолетного суб'ективно-нравственного взгляда внешний механизм... Это освобождение права от суб'ективно-нравственного чувства, его овнешивание и об'ективирование... обозначает победу целесообразности над суб'ективным чувством нравственности"...[6]) Но что разуметь под этим довольно туманным переводом права из области души и чувства (т. е., *нравственности*) в область разума? Это простой Redensart. Не перевод и т. д., а суммирование определенных для каждой данной экономической эпохи нравственных воззрений господствующего класса и фиксирование их в качестве об'ективного разумного закона, обязательного для всех классов.

Действительно, только подобным генезисом права и об'ясняется его насквозь социальный характер. Совершенно верно замечено, что „правовые явления не могут существовать на необитаемом острове, у *Робинзона; они возникают, когда наряду с ним появляется Пятница*".[7]) Когда первоначальное единство родового общества гибнет в классовых расчленениях, и бок-о-бок принуждены уживаться „Freier und Sklave, Patrizier und Plebejer, Baron und Leibeigener, Zunftbürger und Sepell, kurz, Unterdrücker und Unterdrückte", тогда-то и оказывается нужда в правах и юридических обязанностях, как в ходячей монете, созданной в целях социального, а не индивидуального только обихода.[8]) В этом смысле „право есть чистый продукт необходимости или, точнее, нужды,[9]) той экономической необходимости, которая заставляет несобственника

---

[1]) П. И. Новгородцев.—Статья в „Сборнике по общественно-юридическим наукам". С.П.Б. 1899. Стр. 115.

[2]) Вундт.—Этика.—I. 110.

[3]) Там же, 228.

[4]) Паульсен.- Ук. соч., стр 15.

[5]) М. М. Ковалевский.—Социология.—СПБ. 1910 т. I, стр. 63.

[6]) Р. Иеринг.—Дух римского права на различных ступенях его развития.—СПБ. 1875, стр. 281.

[7]) Н. Н. Алексеев, ук. соч., стр. 124.—ср.: Вундт, Этика, II, 171.

[8]) Там же, стр. 133.

[9]) Г. В. Плеханов.—К вопросу о развитии монистического взгляда на историю.—М. 1919, стр. 127.

отдавать, а собственника присваивать продукт общественного труда. Но подобно тому, как классы возникают из единого общества и в дальнейшем их отношения беспрерывно меняются, так и право возникает из единой нравственности с тем, чтобы в процессе развития социальных борений претерпевать все новые и новые изменения. Каждый новый день являет пример того, как „вследствие развития производительных сил должны были измениться фактические отношения людей в процессе производства, и новые эти фактические отношения выразились в новых правовых понятиях."[1])

Изменчивость правовых институтов и самых представлений о праве и неправом—факт общеизвестный. Классическое выражение он получил в знаменитой формуле Иеринга: „Все великие приобретения, отмеченные историей права: уничтожение рабства и крепостного права, свобода поземельной собственности, промысла, веры и т. д., все они должны были выдержать на своем пути жестокую борьбу, продолжавшуюся часто целые столетия, которая нередко обозначалась потоками крови, вообще же—разрушением права, ибо здесь уничтожалось самое право. Таким образом, право это Сатурн, пожирающий собственных детей своих. Право тем только и может обновляться, что оно убирает прочь прошедшее. Конкретное право, раз оно установилось, имеет притязание на неограниченное, вечное продолжение. Это дитя, которое поднимает руку против своей собственной матери; оно смеется над идеей права, несмотря на то, что на ней основывается. Идея права есть непрерывное деяние, так как совершившееся должно уступать место новому бытию..."[2]) Этот калейдоскоп правовых понятий, эта текучесть права, ежечасно наблюдаемая, исчерпывающе об'ясняется прогрессом экономических отношений, заставляющим государство—хранителя права—вносить все новые и новые коррективы в ту сумму нравственных принципов господствующего класса, которая есть право. Так падают сословные привилегии землевладельцев феодального общества, признаваемые соответствующими нравственным идеалам, пока они не сталкиваются с новой—буржуазной—нравственностью, простым отрицанием нравственности феодальной. Провозглашаются естественные, неот'емлемые права человека, и средневековые привилегии уступают место праву равному для всех и обязательному для всех. Но необходимой предпосылкой этого идеологического переворота, вернее, его первой ступенью должно было быть и было философское утверждение примата воли над действием, т. е., пассивного еще нравственного идеала буржуазии над активным нравственным идеалом феодалов. „Нигде в мире, да вообще и вне его, невозможно мыслить ничего иного, что могло бы считаться добрым без ограничения, кроме одной только доброй воли". И „доброта воли измеряется не тем, что ею производится или исполняется; она добра не в силу своей пригодности к достижению какой-нибудь поставленной цели, но добра сама по себе только через одно воление". [3]) Кант, как и другой философ тогдашней буржуазии, Руссо, под сильным влиянием которого он находился, уже не высоко ставил право, иначе он не мог бы написать свое „Учение о праве". Потому-то он, современник отживших правовых институтов и спешил противопоставить праву систему великих нравственных принципов, не подозревая, что он противопоставляет нравственности феодальной нравственность

[1]) Там же, стр. 134.

[2]) Рудольфи Иеринг.—Борьба за право —М. 1874. Стр. 16, 17.

[3]) Иммануил Кант.—Основоположение к метафизике нравов.—М. 1912, стр. 9, 10.

буржуазию и тем облегчает победу и водворение нового права, которому, в свою очередь, суждено начать эру конфликтов со своим отрицанием—нравственностью пролетарской.

Но, как классовая борьба должна пройти все положенные ей независящей от человека силой этапы, пока достигнет своего обострения —гражданской войны и революции, так и господствующая под именем права нравственность претерпевает ряд превращений прежде, чем ниспровергается совсем. Давно отмечен некий срединный, половинчатый характер права: „...содержание права везде и во всех своих сложных частях получает характер *компромисса* между сталкивающимися интересами и убеждениями“, [1]) и лишь после этого оно получает „свою особую способность соединять даже не связанных нравственной связью“. [2]) Но каким это образом получается право от столкновения интересов? Это так же уму непостижимо, как пресловутое превращение защищенного интереса в право. Не нам опровергать наличность в классовом обществе противоположных экономических потребностей, равно как факт их ежеминутного столкновения; но в психике борющихся классов конфликт интересов переживается в виде конфликта нравственно-дозволенного с точки зрения одного класса с нравственно-недозволенным с точки зрения другого. И поскольку отрицание еще недостаточно сильно для того, чтобы исключить всякое примирение, постольку конфликт этот порождает „новое право“, которое есть не что иное, как более или менее ограниченная в своем бесшабашном разгуле нравственность сильнейшего класса. [3])

Было время, когда нравственность феодалов подверглась значительному „исправлению“ под натиском отрицательной нравственности буржуазии. Тогда об'явлена была безнравственной целая часть феодального права—крепостное право. И исправленная таким образом феодальная нравственность продолжала господствовать во всех официальных областях общественной жизни, достигая неисправленной амплитуды в специальных „аристократических“ кругах, где даже умерший институт холопства, только слегка идеализованный, оставался (да уж и не остается ли?) в ореоле нравственного признания. В новейшее время чистая буржуазная нравственность подвергается той же печальной участи постепенной локализации в тех недрах, из которых вышла в эпоху великой революции в виде всеми признанного и благословляемого „нового“, „естественного“ права. И там она еще достаточно вирулентна. А как право, действует в странах капитала она же, но исправленная упорным действием отрицательных нравственных идеалов пролетариата. Так, безудержная эксплуатация рабочего, спекулирование на общественных нуждах, сосредоточение всей политической власти в руках крупных собственников, охрана собственнических устоев аппаратом уголовной юстиции,—все это, освящаемое высоко-нравственным институтом частной собственности на орудия производства, нравственное и справедливое с точки зрения капитала, как организующего и оплодотворяющего начала, корректируется законодательной охраной труда, нормировкой заработной платы, расширением политических прав трудящихся, смягчением уголовных кар. И так как все эти коррективы

---

[1]) Адольф Меркель.—Юридическая энциклопедия.—СПБ. 1902, ст. 13

[2]) Н. Н. Алексеев, ук. соч., ст. 129.

[3]) Эта „исправленная“, „выпрямленная“ нравственность, получая название права, в самом названии своем хранит отпечаток своего происхождения: „выправить“ и „выпрямить“—почти синонимы, droit и right означают и право и прямоту, а Recht ведет свой корень от rectus.

нисколько не меняют *сущности* „рабства наших дней", и так как они не вносят никакой *органической* перемены в право буржуазного государства, то этим и об'ясняется сравнительная легкость рецидива, столь часто наблюдаемая в наши дни: демократическое государство, в праве которого совершился будто бы высокий нравственный прогресс, спешит свести на нет при малейшей возможности так называемые конституционные гарантии, вновь закабалить рабочего предпринимателю, усилить уголовную репрессию, доводя ее моментами до неслыханной жестокости, перенять у государства—в целях наживы—захваченные им было общеполезные предприятия. И эти законодательные коррективы идеологами господствующего класса расцениваются, конечно, как уступка эгоизму, жадности, самомнению, лени, коварству, наглости и прочим проявлениям безнравственности пролетариата. Таким образом, развитие права вовсе не в том заключается, что *правовой* характер принимают все новые и новые *моральные* принципы, а напротив, прогресс права есть своеобразный регресс нравственности господствующего класса в том смысле, что право это переходит во все более ограничиваемый минимум нравственных принципов имущих классов, оставаясь, однако, по существу до последней минуты только суммой этих принципов. „...Действительный прогресс в праве",—говорит традиционная теория,—есть „неуклонное тяготение правовых положений к правовым нормам, сообразным, хотя и не тожественным, с нравственными требованиями..." [1]) И даже больше: „То, что еще вчера было простым требованием морали, сегодня может стать на степень юридической обязанности (например, страхование рабочих от несчастных случаев хозяевами фабрик)..." [2]). Но в том-то и дело, что страхование рабочих от несчастных случаев никогда не было и не может быть требованием фабрикантской морали. Для предпринимателя нравственно все то, что позволяет ему использование рабочего в качестве средства для наживы; все ограничивающее это использование он переживает как горькую несправедливость, как покушение на его карман, на его собственность, как нечто безнравственное. Но это не может быть и требованием пролетарской морали, ибо таковой, как чего-то положительного, не существует: есть только отрицание морали капиталистической. Следовательно, закон о страховании рабочих ни с какой стороны не является озаконенной, правовой характер принявшей моралью, а простым практическим ограничением разгула собственнической морали, как следствием классовой схватки. А классовая борьба состоит, как известно, не в морализировании...

В задачи настоящей статьи отнюдь не входит всестороннее обоснование марксистской концепции права. Такое обоснование, предполагающее, между прочим, подробное рассмотрение причинности и телеологии в праве в связи с проблемой права, как формы временных производственных отношений и средства их урегулирования, должно-бы составить предмет специального исследования. Обсуждению здесь подлежал частный вопрос: об отношении между правом и нравственностью. Нельзя, однако, считать обсуждение это законченным, не остановившись на следующих замечаниях.

Всякая теория истинна, если она об'ясняет все явления в той области, к которой прилагается. Исключение может подтверждать правило, но теорию оно отрицает. И вот, нам представляется, что изложенный взгляд на существо права и нравственности исчерпывающе об'яс-

---

[1]) Вл. Соловьев.—Оправдание добра.—Стр. 379.

[2]) Регельсбергер, ук. соч., стр. 9.

няет те взаимоотношения между этими двумя сторонами этики, механизм и суть которых бессильна, повидимому, постичь традиционная наука.

Как видно из изложенного, с теорией „этического минимума“ наше рассуждение имеет мало общего, несмотря на сходство конечных выводов. Это сходство чисто внешнее. По нашему мнению, право есть некоторая сумма нравственных принципов господствующего класса, именно, та, главное назначение которой—регулировать междуклассовые отношения, но которая, сообразно с большей или меньшей силой социальных инстинктов подчиненного класса по отношению ко всему обществу,—силой, обратно пропорциональной самосознанию этого класса,—действует более или менее беспрепятственно и в междуличных отношениях подчиненных масс, пока не выталкивается вовсе новым нравственным идеалом. Указание на классовую сущность господствующей морали и на перманентную борьбу между ней и ее *классовым отрицанием*, служащую единственной causa efficiens исторической смены нравственных идеалов, наряду с усматриванием корней этой борьбы в развитии производительных сил, достаточно характеризует наше отношение к теории „этического минимума“ с ее признанием „общечеловеческих“ и „вечных“ идеалов, в приближении к которым (вероятно, бесконечном?)—провиденциальная роль права по отношению к обществу. Тем не менее, те возражения, которые встречает теория этического минимума в центральном пункте отожествления права с нравственностью, могут, повидимому, быть сделаны и в нашем случае. Но дело в том, что *возражения эти—не что иное, как указания на вполне правильно замеченные и несомненно существующие черты права и нравственности.* Будучи направлены против фантастической теории этического минимума, они разрушают ее; очутившись же в свете изложенного выше понимания, они превращаются в ценное подтверждение и иллюстрацию его.

Действительно, наличие во всякую данную эпоху большего или меньшего количества безнравственных правовых норм—факт бесспорный. „Таковы, напр., крепостное право, законы, устанавливающие пытки, казни, законы, стесняющие религиозную свободу.“[1]) Но с чьей точки зрения представляются они безнравственными? Крепостники en masse признавали ли крепостное право безнравственным? Возмущала ли святая инквизиция нравственность дворянства и духовенства средних веков? Признает ли буржуазия в наше время, что предание по суду смерти коммуниста есть акт безнравственный? Это что-то совсем незаметно. Деяния эти и им подобные, как и законные нормы, их устанавливающие, становятся безнравственными лишь в оценке последующей экономической эпохи, когда уже возобладали новые экономические интересы. В данную же эпоху они безнравственны очень условно: с точки зрения *отрицательной* морали подчиненных классов и с точки зрения единичных мыслителей, поднимающихся над уровнем своего времени и предвосхищающих новую мораль. Самосознание же господствующего класса, как такового, ни на одну минуту не может счесть действующее право безнравственным. Но ведь это право и есть нравственность господствующего класса. Где же противоречие?

Аналогичное рассуждение mutatis mutandis вполне применимо и к следующему возражению. Нравственность не терпит принуждения—право принудительно; конструируя право в виде минимума нравственности, мы утверждаем принудительную нравственность, а это nonsens. Защитники теорий этического минимума парируют (отчасти) этот аргумент

[1]) Е. Н. Трубецкой, Ук. соч., стр. 25.

указанием на наличие элемента принудительности (внешней силы) и в велениях нравственности. Именно, общественное мнение принуждает нас к нравственным поступкам, нисколько тем не умаляя ценности этих поступков. Но оставим в стороне этот аргумент,—он сомнителен во многих отношениях. Спросим: против кого направляется принуждение в праве? Да против кого же, вообще, направлен весь взнуздывающий аппарат принуждения? Здесь не место доказывать, что государство во все времена своего существования являло собой орудия насилия в руках класса сильного экономически,—это может считаться в полной мере доказанным. В новейшее время производным государства служит право—*„религия* эгоизма"[1]), которое в руках буржуазии—воплощения эгоизма—есть „совершеннейшее рабство и бесчеловечие".[2]) И об'ектом права, как целостности принудительных норм, являются антагонисты буржуазии, как об'ектом насилия государственного являются они же. Господствующий же класс нет никакой надобности принуждать к соблюдению правовых норм. Это эмпирическая истина.[3]) Таким образом, право—сумма нравственных принципов господствующего класса—ничего не теряет с точки зрения этого класса в своей нравственной сущности, даже будучи соединенно с принуждением. Но в самосознании подчиненного класса коллизия моментов „принудительности" и „нравственности," конечно, переживается то в одном случае, то в другом. И что же? В это самое время нравственность им отрицается, переставая быть в его глазах и нравственностью, и правом, превращаясь в голос насилие. Противоречия опять таки нет.

Далее, если согласиться с изложенным, то неудивительно, что право может, не теряя своего нравственного существа, удовлетворяться внешним поведением безотносительно к мотивам этого поведения: в сознании класса правотворящего правовой поступок совпадает, по общему правилу, с моральным мотивом: на то он и правотворящий класс. Он делает по праву то, что он делать нравственно хочет. Но когда подчиненный класс принуждается правом к действию, нравственно отрицаемому, он уступает уже не праву и не нравственности, а голому насилию. И в том и в другом случае—de internis non judicat praetor.

Вполне понятно, далее, с точки зрения изложенного понимания, почему нравственность выступает перед внимательным и остроумным наблюдателем в своей односторонней (и мирной) природе в противоположность двусторонней (и одновзно-репрессивной) природе права: она—продукт гармонического, бесклассового общества; сохраняя, с дальнейшим развитием хозяйства, свой максимальный об'ем в рамках данного класса, где междуличные отношения солидарны, она расплывчата в своих нормах, неопределенна в своих притязаниях, приспособляется к индивидуальности и не допускает кодификации; регулируя же своим принудительным минимумом отношения междуклассовые, отношения более или менее напряженной борьбы, она приобретает отчетливость, ясность, предусмотрительность и неуступчивость деловой сделки.

Касаясь, наконец, указаний на ряд правовых норм, к которым совершенно, якобы, неприложим нравственный масштаб, нельзя не видеть, что утверждение это просто наивно. Обычно ссылаются на определения

---

[1]) Иеринг.—Дух римского права.—Стр. 280—Курсив наш: примечание принято нами во внимание.

[2]) „Vollendete Knechtschaft und Unmenschlichkeit".—K. Marx und Fr. Engels.—Die heilige Familie oder Kritik der Kritischen Kritik.—Aus dem literarischen Nachlass. B. II, s. 222.

[3]) Ср. Петражицкий, ук. соч., I, 264, прим. 1.

форм юридических действий, на установления сроков, числа свидетелей и т. п.[1]) Но ведь эти формы юридических действий, эти процессуальные и им подобные нормы составляют необходимый и неизбежный аксессуар правового акта. Они с ним слиты так, что материальное право всегда предполагает формальное. Об этих нормах вообще невозможно судить, безразличны они с нравственной точки зрения или нет, ибо они неотделимы от общих норм права, и рассматривать их отдельно и независимо не имеет ни малейшего смысла. Если же ссылаются на правила ношения знаков отличий, форменной одежды, на воинские уставы,[2]) то слабая сторона таких ссылок сразу заметна: господствующий класс имеет полное основание придавать исключительное нравственное значение и орденам, и погонам, и шпицрутенам. И если нравственность феодалов выступала в панцыре и шлеме, то буржуазная мораль гуляет при шапке и в густых эполетах, которыми она особенно дорожит.

Г. Гурвич.

---

1) Н. М. Коркунов,—Лекции по общей теории права. 1898. Стр. 46.

2) Трубецкой, цит. соч., стр. 25.

Школа и задачи научной педагогики.

Речь, произнесенная на акте открытия Белорусского Государственного Университета 30 октября 1921 года.

Есть свой глубокий смысл в том, что в этот исторический для всего белорусского края день открытия Белорусского Университета первое академическое слово посвящается выяснению научных основ воспитания.

Великая социальная революция потрясла все основы русской жизни. В ее очищающем огне за эти четыре года сгорели искуственные преграды, в течение многих веков сковывавшие великие силы народов России. Возрождается их новая творческая жизнь, обещающая могучий расцвет нашей культуры. На путях этого возрождения, как напряженнейшую злобу наших дней, революция поставила на разрешение много сложных проблем. Из них проблема народного образования и воспитания во всем ее целом, несомненно, стоит на первом месте.

Это инстинктивно чувствуется всеми, и началась судорожная просветительная работа повсюду. Но эта работа властно требует, чтобы верно и четко были намечены основные линии в построении самого многоэтажного здания народного просвещения. Здесь более, чем где либо, преступны сознательные ошибки, колебания и неуверенность—судьба целых поколений будет зависеть от того, как мы, в этот ответственный момент, поймем свою педагогическую задачу. Шлейермахер, еще в половине прошлого века, среди хаоса в педагогических системах правильно сознавал, что „решение громадной политической задачи лежит ни в чем ином, как в правильной организации воспитания.“ А педагог-революционер нашего века, Франциско

Феррера, казненный в крепости 13 октября 1909 г. гордо утверждал:„ Нет дела более революционного, как дать народу действительно научное воспитание."

На нас, деятелях науки, закладывающих сегодня прочный ее фундамент для всей области, падает ответственная задача—указать те научные основы, на которых может быть возведена правильная система народного образования и воспитания новых поколений.

Мы прекрасно сознаем, что сама педагогическая наука еще не настолько созрела и окрепла, чтобы могла обосновывать все явления практической педагогики. Как завершенная стройная закономерная система, она все еще остается наукой будущих поколений; пока же в ней много спорных, не вырешенных проблем—иные из них еще только ставятся на разрешение. И это вполне понятно. Педагогика, как наука, естественно базируется на научных данных многих наук, раскрывающих сложную природу человека в ее последовательной эволюции. Ее главным фундаментом является самая юная из наук—*педология*, привлекшая внимание исследователей лишь за последние четыре десятилетия. Эта наука о ребенке, как об'екте самостоятельных изучений, сама могла опираться на ранее разрабстанные знания о природе человека.

К изучению природы развивающейся личности ученые могли приступить лишь после того, как были установлены научные методы, применяемые в науках, изучающих всесторонне физическую и духовную природу человека. И только во всеоружии всех научных методов ученые различных специальностей приступили энергично и воодушевленно к разработке сложных проблем педологии. Как в некотором основном фокусе, ребенок об'единил в процессе своего изучения и биологов (физиологов, гигиенистов и др.), и психологов, и филологов, и социологов, и философов, и историков, и юристов.

На международных педологических с'ездах можно было видеть представителей всех этих дисциплин—все они были страшно заинтересованы сложными проблемами педологии. Человечество на переломе двух веков ясно сознало, что нормальное воспитание и усовершенствование личности и общества могут быть разрешены лишь координироваными усилиями деятелей, заинтересованных в прогрессе нашей культуры. Кризис последней в связи с мировыми событиями текущего десятилетия—лишь обостряет и усиливает этот интерес к проблемам педологическим и педагогическим.

Какими же методами пользуется педагогика в научной разработке своих сложных проблем?

Кроме методов, общих у нее с другими науками, у нее есть прежде всего свой, так называемый *био-генетический метод*. Он изучает развитие индивидуума в аналогичном соответствии с развитием всего человеческого рода. В своей индивидуальной эволюции человек как бы проходит те ступени биолого-психического развития, какие пройдены в исторической эволюции самого человечества. Еще Фребель стремился проникнуть в таинственное развитие ребенка, внимательно всматриваясь в пути, пройденные человеческой культурой; позднее школа Гербарта широко применяла его в построении своих образовательных планов. В трудах американских ученых—Стенли Холла, Болдуина, Чемберлена и др. генетический метод получил дальнейшее обоснование и развитие. Природа детских инстинктов, детской игры, речи, детского рисунка, особенности в развитии социальных чувств у ребенка—все эти сложные явления детской психики изучались при помощи этого метода. С другой стороны, и

историки, изучающие первобытную культуру, стремились проникнуть в доисторическое прошлое человека, опираясь на данные, типично представленные в проявлениях душевного мира дитяти.

Широкое применение этого метода в целях чисто педагогических вызывало и вызывает серьезную критику; сюда вносились многие коррективы и ограничения, но самый метод значительно расширил сферу педологических исследований. Характерно то, что в наши дни построения систем трудового воспитания целое направление (школа Джона Дьюи) характеризуется применением этого метода, стремясь организовать самый процесс введения детей в мир культуры, отправляясь от более примитивных ее форм, более понятных и доступных детям.

Значительные услуги оказало педагогике применение методов *точного наблюдения и эксперимента.* Вслед за экспериментальной психологией, в непосредственной связи с ней создалась специальная ветвь педагогики—экспериментальная педагогика и экспериментальная дидактика. И здесь научной педагогике приходится искать своих путей исследования, видоизменяя методы экспериментальных биологических наук. Процесс воспитания и учения обусловливается знанием сложных проявлений детской и юношеской психики и самых типов детской личности.

Экспериментальная же психология, усовершенствовав свои методы исследования главным образом в области простейших психо-физиологических актов и только за последние годы переходя к исследованию более сложных процессов мышления, волевых актов и изучению высших эмоций, пока еще не могла помочь педагогике в разрешении ее сложных проблем. И понятен скептицизм Ришара, утверждающего, что „экспериментальная педагогика, основаная на одних данных психологических лабораторий, является бессмыслицей“.*)

Изучение процессов письма, чтения, процессов детского творчества, наконец, центральная проблема педагогики—проблема одаренности, требуют дальнейшего видоизменения и усовершенствования экспериментально-психологических и педагогических методов исследования. Школа умершего пять лет тому назад русского психолога А. Ф. Лазурского сделала существенный шаг вперед на этих путях, разрабатывая метод *естественного эксперимента*, имеющего своей задачей изучать сложные проявления личности ребенка, в естественной обстановке его домашней и школьной жизни**). Сам Лазурский отчетливо сознавал, что это только первый приступ к дальнейшим, весьма плодотворным работам в области научной педагогики и дидактики. Его планы „экспериментальных уроков“ и цельного „школьного экспериментального дня“, проведенные как пробные опыты, позволили ему наглядно вскрыть характерные проявления личности учащегося в их своеобразных отличиях в различные моменты школьной работы. Весьма ценным здесь является то, что личность детей полнее раскрывалась в процессе своей естественной школьной жизни, и к ее изучению и внимательному наблюдению привлекался сам учитель, пока еще недостаточно сознающий, что его постоянная работа с детьми в классе и детском саде, этой естественной психологической и педагогической лабаратори, позволяет ему участвовать в разработке и самых проблем педагогики и дидактики.

---

*) Ришар, Экспериментальная педагогика. М. 1914 г. стр. 39.

**) Естественный эксперимент и его школьное применение. Под редакцией проф. А. Ф. Лазурского. Петргр. 1918 г.

За последние годы более сознательное учительство весьма определенно стремится не только изучать педологию и педагогику, но и принять участие в научных работах, чутко прислушиваясь к тому, как они ставятся, какие естественные выводы можно сделать из них для обновления и реформирования школьного дела. И знаменательно то, что обширные педагогические труды видных авторитетов в области экспериментальной педагогики, какими были за последние годы Эрнст Мейман в Германии, Альфред Бинэ во Франции (оба не так давно потерянные для науки), Стэнли Холл в Америке и А. Ф. Лазурский в России,—выполнены ими в коллективном сотрудничестве с передовым учительством этих стран. По этому пути естественно пойдет и далее развитие педагогических наук.

Симптоматична по методам своей работы и деятельность бреславльского педолога Вилльяма Штерна. В центре внимания его исследований—проблемы развивающейся личности в ее основных проявлениях. Его монографии о душевном развитии ребенка, посвященные изучению троих собственных детей, в условиях естественной домашней жизни, поучительны тем, что теснейшим образом связывают педагогику с педологией*). Направляя свои наблюдения и исследования как бы внутрь, в глубину детской личности, Штерн мог систематически проследить эволюцию детской личности в сложных процессах развития детской речи, образования наглядных представлений, точности и продолжительности детской памяти, эволюцию детского рисунка, игры, волевых проявлений и т. д. Сравнивая свои наблюдения с данными психогенетических монографий других авторов, Штерн дает ценные обобщения типичных для раннего возраста проявлений ребенка, прокладая тем самым пути и для нормального их воспитания. Это особенно ценно для понимания процессов детского творчества. Здесь биографический метод изучения оказывается весьма плодотворными, так как берет автора в процессе его работы, уясняя те или иные внушения, под влиянием чего создаются своеобразные об'екты детского рисунка.

Итак, для педологии центральной проблемой является проблема личности развивающегося существа. Эта же проблема остается основной и для педагогики. И понятен тот интерес, с каким педагогика относится по всем педологическим исследованиям в этом направлении.

Развивающийся индивидуум имеет свои типические периоды, столь характерные для каждого возраста. При этом самый процесс развития в связи с психо-физиологическими изменениями, имеет или ускоренный, или замедленный темп: можно наблюдать своеобразную кривую повышения и понижения интеллектуальной и волевой сфер личности в зависимости от усложнения физиологических процессов созревающего организма. В целях воспитания особенное значение, еще не вполне усвоенное практической педагогикой, могут иметь три важнейших момента в жизни ребенка и отрока: 1) первое пробуждение самосознания (осознание своей личности, своего я), сопровождающееся усиленным развитием речи—к концу третьяго года; 2) смена молочных зубов по седьмому году, характеризующая временную задержку умственного развития, и 3) период наступления половой зрелости, также понижающий кривую интеллектуальных и волевых напряжений. Легко понять, что как раз эти три момента в жизни развивающейся

*) Клара и Вильям Штерн Воспоминание показание и ложь в раннем детстве. СПБ. 1911 г. Его же. Психология раннего детства. СПБ.—1915 Его же. Факты и причины душевного развития. СПБ. 1911 г.

личности могут иметь переходное значение, совпадая с поступлением в детский сад, начальную и последующую школу, почему и требуют к себе особенно внимательного и бережного отношения.

Сколько преступлений совершала старая педагогика по отношению к отроку, тревожно переступающему роковой порог пробуждения ранней юности, чрезмерно и односторонне напрягая его умственную энергию и тем ослабляя его душевные силы! И сколько учащихся именно в этот, определяющий личность момент жизни или совсем выбрасывались из школы, не желавшей считаться с требованиями отроческого организма, или оставались в ней одинокими, морально беспомощными и искалеченными существами. Решающий момент в жизни каждого человека—момент зарождения своих интимных запросов, период переоценки извне навязываемых убеждений, сопровождающийся неуравновешенным Sturm und Drang'ом созревающей личности—для семьи и школы проходил тяжело и ненормально, сопровождаясь и от'единением, и отчуждением ее от той и другой воспитывающей среды.

Не подлежит сомнению, что при построении ступеней единой школы следует особенно посчитаться с переходными гранями ребенка и юноши; педолог должен сказать здесь свое властное слово.

Не менее важное значение имеет для педагогики и *проблема одаренности*. С развитием индивидуальной психологии все очевиднее становится различие в типах личности, имеющих свои психофизиологические особенности, свои степени одаренности. Нет средней алгебраической личности ученика; есть тот или другой индивидуальный тип, пред'являющий свои властные права в школе. Проблема индивидуализации воспитания и обучения, проблема отбора и группировки детей по степеням их одаренности уже поставлены в современной педагогике, к ним чутко прислушивается и жизненная педагогическая практика нашего времени. С одной стороны, уже признаны специальные вспомогательные школы для умственно отсталых, дефективных детей, с другой стороны, предпринимаются новые попытки к отбору одаренных в особые группы. Прежняя школа, расчитанная по всей своей системе отношений, построением учебного плана и программ скорее на среднего приспособляющегося ученика, менее всего считалась с этими двумя категориями индивидуумов, требующих к себе особенного внимания. И если дефективный ребенок скоро же становился жертвой не считавшейся с его ослабленными силами школьной системы, то сильный, талантливый ученик или вступал с ней в борьбу, или порывал с ней идейную и моральную связь, идя своим путем, замыкаясь в свои интересы, свои дающие знать силы. Обе эти крайние категории учащихся детей ставят проблему о подготовке *своего* учителя, более талантливого и сильного, более знающего индивидуальный уровень своих детей. Научная педагогика идет ему навстречу, разрабатывая, на основе учения об одаренности, своеобразную школьную систему, построенную на большей индивидуализации методов обучения и концентрации знаний в сторону преобладающих интересов личности.

В задачу научной педагогики входит выяснение условий научной работы детей в школе. Естественно, что все их занятия в школе должны идти в полном соответствии с развитием их душевных сил. Поскольку психологии уже удалось установить стадии в развитии детской мысли и детских интересов, вскрылась одна знаменательная черта их психики: их мышление по самой природе своей научно.

Прирожденное и неиспорченное состояние детства, утверждает современный представитель научной педагогики *Дж. Дьюи* *), отличающееся научной любознательностью, богатым воображением и любовью к опытным исследованиям, находится близко, очень близко к состоянию научного мышления. Ребенок по природе своей исследователь-экспериментатор. Изучая на опыте свойства тех или иных предметов, фактов и явлений, он стремится постичь их связь, их закономерность. Пусть этот внешний мир еще не вполне дифференцировался и обособился от суб'ективных его восприятий; пусть ребенок о законах его судит по своим собственным проявлениям, уподобляясь тем самым своему отдаленному предку-дикарю—он все равно будет искать новых об'яснений, проверяя и контролируя свой предшествующий опыт. Этот самостоятельный, вечно ищущий и вопрошающий ум ребенка и отрока требует таких методов работы в школе, чтобы можно было самому больше искать и вернее находить истину, т. е. законы жизни. И школа дает не знание, как нечто законченное, ранее приобретенное и теперь подлежащее лишь усвоению,—школа с самых первых шагов вооружает ученика приемами, методом работы. Она учит его искать, исследовать, находить. Само знание не укладывается в тот или иной школьный предмет, на которые старая педагогика распыляла его. Ученик, наравне с подлинным ученым, в процессе своих научных занятий в школе всегда может почувствовать, какая близкая связь существует между этими „предметами“, как только об'единение, близость и связь наук дают истинное знание. А это знание приводит к мировоззрению, к пониманию жизни природы и человека в ее целом. Если прежде предмет, как об'ект школьного обучения, „выучивался“, „проходился“,—то науку, знание выучить нельзя, и взрослый сознательный человек никогда этого и не делает. Учащийся в праве пред'явить такое же требование и к школе, и школа, по самому смыслу своему, является лабораторией первого научного труда своих питомцев. Ее первое и главное задание—организовать, поставить в лучшие условия работы эти их научные занятия. С этой точки зрения, самая обычная школьная терминология, унаследованная нами со времен схоластики, требует переоценки. Основные понятия: *учить, ученик, учебник, учитель* порождают только недоразумение: слишком одностороннее и исключительное ударение придается всей этой школьной *учебе*. В ее внешние формальные требования к личности подростка-исследователя совсем не укладывается активная работа последнего.

Стоит остановиться на роли учителя в современной школе. Она понимается им, как роль организатора научного труда детей в школе, помогающего им овладевать методами научного познания, в соответствии с умственными особенностями каждого возраста. Учитель—лишь старший сотрудник учащихся в общей работе: не он задает и спрашивает, всецело подчиняя их своей инициативе и авторитету власть имеющего; он косвенно направляет занятия детей, в сотрудничестве с ними разрабатывая те или иные области знания, приучая к точности и систематичности в наблюдениях и опытах. И не учебник, содержащий в себе сумму готовых знаний, служит к тому естественным средством, а живые наблюдения и непосредственно поставленный опыт, или пособия, как материал для своих посильных выводов.

---

*) *Проф. Д. Дьюи.* Психология и педагогика мышления. М. 1915 г. стр. V.

В задачу педагога в школе естественно войдет прежде всего знакомство детей с их собственными способностями и силами. Он может или показать, как естественно функционирует наша способность запоминания, как экономнее повторять, возобновляя вскоре же полученные впечатления, как усваивать стихотворения, картинно восстановляя ассоциативную связь цельных образов поэта. Изобразительные искусства, черчение, моделирование изощряют наблюдательность, научают точнее и полнее видеть. В творчестве мы создаем новые образы на основе реальных восприятий, развивая свою фантазию. Организация общественной жизни предусматривает упражнение симпатической чуткости и большего понимания интересов другой личности. Планомерность занятий, умение распределять свое время, выдержанность и настойчивость в проведении своих намерений и планов упражняет волю. Так постепенно формируется сознательная личность юноши, внимательнее относящаяся к своему внутреннему опыту.

Это формирование личности с ранних пор совершается в общественной среде, в которой эта личность занимает свое определенное место. Если прежняя педагогика мало считалась с тем, что социально может об'единять детей, и школьная среда чаще всего оставалась внутренно неорганизованной, хаотической, то педагогика наших дней все более внимательно изучает социальную жизнь детей. Правда, и здесь остается масса неуясненных проблем, почему и организация детей идет чаще сверху, осуществляя тот или иной опыт взрослых, переносимый в среду детского общества. Мы еще не решили вопроса, в какой естественный коллектив могли бы об'единяться сами дети разных возрастов, какое влияние оказывают на них те или иные типы их товарищей. Но со времен Песталоцци для нас ясен путь социальной педагогики, приучающей детей совместно жить и работать на принципе сотрудничества и ответственности в общем деле. Каждый служит целому, живет общим, внося свою лепту в совместную жизнь, имея какое нибудь ответственное поручение коллектива. Самое улучшение и совершенствование жизни нашего коллектива зависит от нас самих, от каждого из нас,—вот то воспитывающее социальное внушение, на котором основывается общественное воспитание. Воодушевленный таким внушением детский коллектив богат потенциальными силами, что придает ему бодрость и радостное соревнование. Внутренно спаянное общество не есть только сумма входящих в него индивидуумов, оно есть свое целое, выявляющее свою скрытую энергию. Дать почувствовать эти лежащие в каждом члене его внутренние силы, наметив каждой личности свойственную ей роль—в этом основной смысл социального воспитания. Оно неотделимо от морального совершенствования личности, расширяющей свое *я*, устремленное к благу всех. Эти задатки коренятся в природе ребенка, общественно организованная среда дает широкий простор для их нормального развития.

И. Соловьев.



Социально-политическое мировоззрение Платона.

Учение Платона, как это бывает почти у всех великих мыслителей, стояло в близком отношении к современной ему действительности— действительности IV в. до Р. X.

Несмотря на то, что большую часть своей жизни Платон провел в теоретических исследованиях, он стал во вполне определенное отношение к главнейшим политическим, социальным и культурным явлениям своего времени. Но его участие в истории IV века было главным образом теоретическим, потому что от активного участия в публичной жизни его отталкивало убеждение, что плодотворная политическая деятельность невозможна прежде, чем не будут совершенно пересозданы все существующие политические и хозяйственные отношения. Его полное и совершенное осуждение государства настоящего ставило его в невозможность занять какое-нибудь место в рамках этого государства. В этом заключалась, как выяснил Grote[1]), полная противоположность точки зрения Платона точке зрения софистов. Софисты были слугами существующего государства, не задаваясь вопросами, хорошо ли оно или дурно. Платон прежде всего осудил все существующее и новый порядок построил на совершенном отрицании современного ему строя. Цель софистов — практическая—приготовить способных людей для службы существующему государству. Цель Платона—теоретическая— найти основы лучшего государственного строя. В этом Платон расходился и с Сократом. Для Сократа нормы существующего государства были обязательны. Сократ хотел долгим путем преподавания юношам исцелить язвы демократии, не сходя с ее почвы. Философия Сократа не поднималась над существующим правом. Платон же думал, что вырвать юношество из того мира заблуждений, каким ему представлялся современный ему социально-политический порядок, можно только одним средством—полным упразднением этого самого порядка. Самый мудрый правитель, по мнению Платона, ничего не может сделать, „если попал в неподходящее для себя правление, ибо только в подходящем он возвеличится (auxesetai) и вместе с делами частными спасет и общественные“.[2]) Несколько ниже Платон говорит: „ни один из существующих государственных порядков не достоин природы философа“[3].) При этих порядках „разумный человек, прежде чем успеет принести пользу государству и друзьям, становится бесполезным для себя и для других“[4]). Платон сам сознавал, насколько резко порывал он с современностью, и не надеялся перевоспитать для нового порядка уже взрослых людей. Поэтому он советовал[5]) тем, кому обстоятельства откроют возможность радикальной реформы, начать с революционного акта—с изгнания из реформируемого города всех старше 10 лет, чтобы иметь дело только с детьми, в которых привычки их отцов еще не укоренились.

---

[1]) Grote. Plato and the other companions of Socrates.

[2]) Oute ge, eipon, ta megista, me tuchon politeias prosekouses. En gar prosekouse autos te mallon auxesetai, kai to ton idion kai ta koina sosei (Politeia, 497, A.)

[3]) medemian axian einai ton nun kata stasin poleos philosophou phuseos (ibidem, 497 B.)

[4]) prin ti ten polin e philous onesai proapolomenos, anopheles hauto te kai tois allois an genoito (ibid., 496, D.)

[5]) Jbid., 540-541.

Отрицание существующего касалось в учении Платона в равной степени хозяйственного, политического и культурного порядка Греции времени упадка. Его хозяйственным идеалом было аграрное государство с ограниченной ролью денег, индустрии и торговли; но действительность далеко ушла от этого идеала. В IV веке деньги, индустрия и торговля стали главными хозяйственными факторами. Земледелие не могло выдержать конкуренции привозимого из-за моря зерна и удовлетворить потребностям увеличивавшегося населения. Сверх того, на падение сельского хозяйства влияла и война, обращавшая поля в пустыни. Вследствие этого мелкие и средние землевладельцы охотно продавали богатым свои земли и обращались к торговле и индустрии. Постепенно большие поместья стали сосредоточиваться в одних руках, и сословие средних крестьян погибало. Вообще же земельное владение, бывшее некогда основанием социальной и политической жизни, становилось только придатком к денежному богатству или предметом спекуляции. Греция все больше превращалась в промышленную страну. Маленькие греческие города, вследствие невозможности удовлетворить всем своим потребностям на месте, уже давно искали помощи в предметах ввоза. Еще в VIII веке в Грецию привозились сырые продукты с Севера и предметы роскоши с Востока. К V же веку развивавшаяся в Афинах индустрия позволила грекам в изобилии изготовлять предметы вывоза. Изделия афинских фабрик распространялись по трем частям света. Деньги значительно увеличились в числе, во-первых, вследствие того, что были пущены в обращение драгоценные металлы, хранившиеся прежде в государственных и храмовых кассах, во-вторых, вследствие того, что их в изобилии привозили греческие наемники, поступавшие на службу в другие государства. Роль денег уже не ограничивалась в то время только службой обмену (как этого хотел Платон); вследствие отдачи в рост и сделок в кредит они стали оригинальным источником богатства, и народное сознание закрепило за ними такое значение в поговорке, появившейся уже в V веке: „золото делает человека".

Далее, Платон считает идеальным государство, в котором нет богатства и бедности; но экономическая действительность IV-го века представляла полную противоположность такому идеалу. Падение мелкого и среднего землевладения вело к повсеместному увеличению лишенного собственности пролетариата; к тому же вели частые политические процессы, кончавшиеся конфискацией имущества у побежденных. Многие граждане были лишены всякого имущества. Ценз 322 г. показал в Афинах 9.000 граждан, имеющих среднее состояние, 12.000 — без состояния (Ed. Meyer). В Спарте быстро уменьшалось число полноправных граждан, имеющих земельные участки, и увеличивался класс „умаленных",*) Наряду с обеднением народной массы шел процесс накопления состояний в руках немногих. В течение IV века значительно увеличилось число крупных состояний. Наплыв денег сделал более легким переход состояний из одних рук в другие, что в конце концов должно было повести к концентрации имуществ в руках немногих богатых. Вследствие этого в древней Греции имущественные контрасты еще никогда не достигали такой силы, как в годы жизни Платона.

В политической области мы видим такое же глубокое расхождение с основными тенденциями века. Платон высоко ставил принцип авторитета и с недоверием относился к господству не только демократического большинства, но и капиталистического меньшинства. Но и тут он

*) Hupomeiones.

стоял за безнадежное дело: принцип авторитета был похоронен уже софистическим движением, а что касается до власти, то в Афинах ее захватил бедный демос, в Спарте же господствовали не „благородные", как того хотел Платон, а богатые. Желание Платона было поставить правящий класс в полную независимость от хозяйственных отношений, сделать его совершенно незаинтересованным в экономической жизни страны. В действительности в то время политическая власть была только средством для удовлетворения экономических желаний, а борьба за политическое преобладание была борьбой за экономическую власть. „Приобретение власти и исполнение великих задач нации, говорит Ed. Meyer, стали только средством для разрешения желудочного вопроса",[1]) Политическая борьба основывалась на классовых противоположностях: господство демократии было господством бедных, господство аристократии—господством богатых.

Еще сильнее разошелся Платон с духом своего века в области социальной этики. Он считал необходимым воспитать в гражданах общественное чувство, связующее человека с человеком и ставящее индивидуальным волям границы, не дающие им действовать вопреки общему благу. Его общественным идеалом было всеобщее согласие в мыслях и чувствах и приведенная в гармонию работа всех на пользу государства. От власти он требовал обеспечения интересов всего общества, а не отдельных частей его, и ограничения эгоистических индивидуальных желаний. Но действительность IV века совершенно расходилась с этими требованиями. Господствующей социально-философской теорией была теория так называемого естественного права, которая ставила индивиду границу только в мере его собственных сил. Право общества отступало на задний план перед правом индивида: власть делалась только орудием для осуществления частных интересов. Правым становился тот, кто имел достаточно силы, чтобы добиться осуществления своих желаний. Аристотель дал верную характеристику этого этического индивидуализма в словах: „только слабые взывают к справедливости, сильные не спрашивают об этих вещах".

Не трудно заметить, что эта полная противоположность основных принципов учения Платона современной ему действительности не была случайной. Она доказывает, что Платон подверг тщательному наблюдению главные явления своего времени, определил лежащие в основе их принципы и, признав их сплошь ошибочными и вредными, положил в основу своего учения начала, прямо противоположные современным ему социально-политическому порядку и этическим понятиям. Как увидим ниже, Платон, несмотря на свое отрицательное отношение к современности, в некоторых отношениях не сумел отделаться от ее влияния и даже возвел в теорию некоторые из ее фактов; но это не лишает учение Платона его характера реакции против современной ему действительности.

Учение Платона выросло на почве его недовольства существующим, и это недовольство было настолько велико, что исключало со стороны Платона возможность всякой партийности: он относился отрицательно ко всей современности, следовательно ко всем существовавшим тогда партиям, из которых ни одна не подходила к его желаниям.

Некоторые ученые—Белох, Онкен и др. [2]) склонны видеть в уче-

---

[1]) Ed. Meyer, Geschichte des Alterthums, 5 B.

[2]) Beloch Griechische Geschichte. 2. B. W. Oncken. Die Staatslehre des Aristoteles. Erste Hälfte.

нии Платона выражение аристократической реакции против чрезмерного развития демократических начал. Но в данном случае со словами „аристократизм“ и „демократизм“ надо обращаться осторожно. Как увидим ниже, в учении Платона были и аристократические (требование господства немногих) и демократические (желание обеспечить интересы всех) элементы, но платоновский аристократизм и демократизм не имел ничего общего с тем аристократизмом и демократизмом, которые нам известны из истории Греции V и IV в в. Исторический [1]) аристократизм, равно как исторический демократизм, был чужд Платону, и поэтому утверждение Oncken'а, [2]) что „Платон теоретически продолжал ту же борьбу с демократией, какую Антифон, Пизандр и Критий вели практически“—является совершенно неверным. Платон, как увидим, вел борьбу с афинской демократией во имя совсем других идеалов, чем эти его сограждане, и благодаря этому всякая аналогия его с ними отпадает.

Свои социально-политические взгляды Платон изложил, главным образом, в двух больших сочинениях: „Политии“, время составления которой относится, вероятно, к периоду между 46 и 54 годами жизни „Полиeен“ Платона, и „Законах“, написанных Платоном уже на склоне его жизни, после возвращения из Сицилии. Кроме того, о политических же темах трактуют и три меньшие сочинения Платона: „Политик“ [3]) (вероятно относится ко времени 399—388 г. до Р. Х.), „Тимей [4])“ (непосредственно следующий по времени написания за „Политией“ [5]) и представляющий в начале ее краткое резюме) и „Критий“, неоконченный диалог, написанный, вероятно, вслед за „Тимеем“. Между „Политией“ и „Законами“ Платона—большая разница по содержанию. В первой Платон мало считается с реальными условиями человеческого существования и руководствуется почти исключительно отвлеченными требованиями разума (по содержанию к „Политии“ примыкают „Политик“ и „Тимей“, хотя в „Политике“ есть некоторые частные отступления от „Политии“. [6]) В „Законах“, написанных уже в глубокой старости, Платон, разочаровавшись в исполнимости своих требований и убедившись в слабости человеческой натуры, делает большие уступки действительности. Вследствие этого, говоря о социально-политических взглядах Платона, надо иметь в виду два проекта созданного им государства: во-первых проект идеального государства, развитый в „Политии“, причем некоторые дополнения и вариации этого проекта содержатся в „Политике“ и „Темее“; во-вторых, проект уже не лучшего, а второго по совершенству государства, изложенный в „Законах“. Начнем с первого.

В „Политии“ проект идеального государства развивается Сократом в ответ на поставленный в беседе его со стариком Кефалом во-

---

[1]) В рамках истории Греции V и VI в. в.

[2]) Oncken. Die Staatslehre des Aristoteles.

[3]) Politikos.

[4]) Timaios.

[5]) Kritias

[6]) Что касается до „Крития“, то он представляет из себя исторический роман—описание была древних афинян и атлантидян: в нем слишком много неимеющих значения частностей, и поэтому для характеристики социально-политических взглядов Платона этот диалог представляется маловажным.

прос: „что такое справедливость?“ Чтобы определить сущность справедливости, говорит платоновский Сократ, надо начать с исследования общества. „Сперва исследуем, какова справедливость в государстве, а затем рассмотрим ее в каждом отдельном лице, наблюдая подобие большего в идее меньшего [1]) Но чтобы найти, чем является справедливость в государстве, нужно определить точно тип государственной организации, который является высшим воплощением идеи справедливости. Этой теме—описанию справедливого по своей сущности государства—и посвящена большая часть „Политии“. [2])

Платон был проникнут недоверием к личности и не считал возможным предоставить ее самой себе ни в одной области жизни. Индивид, по его мнению, склонен желать исключительно материального счастья, которое удовлетворяет его эгоизм; в нем слишком сильна чрезмерная любовь к себе (he sphodra heautou philia). В противоположность индивиду государство заботится об осуществлении общей для всех справедливости, об ограничении частных эгоизмов и направлении деятельности отдельных лиц на общее благо. Правда, ставя своему государству эту *правовую* цель, Платон, как увидим ниже, к достижению ее идет чисто *полицейскими* средствами. Поэтому-то в Платоновском государстве тесно переплетены элементы правового (борьба с эгоизмом частных интересов) и полицейского (отсутствие всяких конституционных гарантий) государства. В общем полицейский элемент в конце концов победил в мировоззрении Платона элемент правовой. Государство Платона есть по преимуществу *властное* государство, устанавливающее свой контроль над всеми областями человеческой жизни и снабженное органами для приведения в исполнение своих постановлений принудительной силой в случае, если это понадобится.

Организация этого государства, по мнению Платона, должна быть основана на строгом проведении принципа разделения политических обязанностей между тремя классами платоновского общества: 1) правителями, 2) воинами и чиновниками и 3) лицами, занимающимися хозяйственным трудом (ремесленниками и сельскими жителями). Каждый из этих классов должен специализироваться только на одном занятии: правители должны посвятить себя исключительно делу управления, будучи совершенно освобождены от всех других забот[3]); обязанности воинов и чиновников—только исполнительные: они должны приводить в исполнение распоряжения правителей, не вмешиваясь сами в дела управления[4]); наконец, крестьяне и ремесленники должны заботиться только о хозяйственных нуждах—о пропитании самих себя и о содержании правителей и чиновников (гражданских и военных).

---

1) ... proton en tais polesi zetesomen poion ti estin, epeita houtos episkepsometha kai en heni hekasto, ten tou meizonos homoioteta en te tou elattoños idea episcopouhtes (ibid..—369 A).

2) Спорный вопрос о том, в чем заключалась задача платоновской „Политии“—открыть ли лучшее государственное устройство или определить сущность справедливости,—интересен для раскрытия внутренней архитектоники „Политии“, но для характеристики социально-политических взглядов Платона значения не имеет, тем более, что сторонники и того и другого решения этого вопроса признают, что лучшее государство, по Платону, должно воплощать в себе идею справедливости.

3) Ten gar ontos ousan basiliken (technen) auten dei prattein all' archein ton dunamenon prattein. gignoskousan ten archen te kai hormen ton megiston en tais polesin egkairias te peri kai akairias. (Politikos, 305 D).

4) Tas d' allas (technas) ta prostachthenta dran (ibid. 305 D). Здесь слова tas allas technas относятся к риторам, военачальникам и судьям.

В этом разделении обязанностей между тремя классами Платон видит осуществление самой идеи справедливости. Справедливость, по определению Платона, заключается в том, что каждый делает свое дело, ему хорошо известное, и не вмешивается в чужие дела. Платон проводит аналогию между тремя силами души (ум—to logistikon, мужество—ho thumos и страсти—he epithumia) с тремя общественными классами (в четвертой книге „Политии"). Подобно тому, как в душе справедливо будет то соотношение сил, при котором to logistikon управляет, ho thumos помогает уму обуздывать страсти, а he epithumia находится в полном подчинении первым двум душевным силам, так и в государстве справедлив такой порядок, при котором люди мудрые управляют, воины исполняют их повеления, а хозяйственные классы подчиняются правителям и воинам.

К этой аналогии общественного и индивидуального организма Платон возвращается несколько раз: разуму у него соответствует сословие правителей, мужеству—сословие воинов, а страстям—хозяйственный класс. Но было бы неверно думать, что Платон создал свое разделение общества на классы для того, чтобы дать подражание делению человеческой души[1]). При проведении этого деления для Платона на первом плане стояла не психологическая, а историческая и социально-политическая точка зрения: излагая историю возникновения города[2]), Платон представлял себе повидимому, что здоровое общество естественным ходом своего развития само придет к указанному им разделению политических обязанностей. Платону казалось, что стоит только мысленно представить себе ход человеческой истории, и станет ясно, что, если бы естественное течение истории не подвергалось разного рода искажениям, то здоровое понимание человеком своих социально - политических выгод должно бы было толкнуть общество на указанный им путь.[3])

Поэтому параллель с человеческой душой[4]) имеет у Платона значение только иллюстрации к нарисованной им картине общественного деления.

Справедливость у Платона аналогична с здоровьем, потому что справедлив тот строй, при котором соотношение частей общества и души согласно с природой. Напротив, несправедливость есть нарушение естественного порядка, и потому она необходимо должна привести к болезни[5]). Таким образом, содержание идеи справедливости определяется у Платона сообразностью природе, которая одна и та же для всех времен („Сообщить здоровье не значит ли части тела поставить в состояние господствования и подчиненности, свойственное каждой по природе? а сообщение болезней не в том ли состоит, что они господствуют и подчиняются несогласно с природой?[6]) Это сразу накладывает

---

[1]) Это мнение Целлера.

[2]) Politeia. 369 A и далее (книга вторая)

[3]) proton men phuetai hekastos ou panu homoios hekasto, alla diapheron tên phusin, allos en'allou ergou praxei (Politeia, 370 A. B.) См. также: Ek de touton pleio te hekasta gignetai kai kallion kai raon, hotan heis hen kata phusin kai en kairo, scholen ton allon aron, pratte (ibid., 370 C.)

[4]) Ibid, 434 D.

[5]) Arete men ara (из контекста видно, что под arete разумеется dikaiosune) hôs eoiken ugieia te tis an eie kai kallos kai euexia psuches: Kakia de, nosos te kai dischos kai astheneia (Kakia—здесь несправедливость) Ibid., 444 D—E.

[6]) Esti de to men hugieian poiein, ta en to somati kata phusin kathistanai; kratein te kai krateisthai hup allelon, to de hoson para phusin archein te kai archesthai allo hup'allou (Ibid., 444 C. D.)

метафизический отпечаток на все политическое учение Платона, потому что понятие права является у него, говоря словами Pohlman'a, „метафизическим фантомом, заключающим в себя абсолютную истину. [1])

Такое понимание, казалось, должно бы решить для Платона вопрос и о возможности осуществления идеи справедливости (а с нею и всего общественно-политического идеала Платона) в жизни, так как то, что согласно с природой, должно в конце концов осуществиться, несмотря на временные или кажущиеся отклонения в реальной жизни.

В некоторых местах Платон действительно в таком смысле и решает вопрос. „Не невозможное и не подобное обетам (т.-е. безнадежное) дело постановили мы, положив закон, согласный с природой" [2]) (книга пятая). В шестой книге Платон говорит: „разумные законы гражданам нельзя не желать исполнить". И несколько ниже: „совершиться этому трудно, но не невозможно" [3]). Но в других местах Платон решает этот вопрос иначе. В одном месте пятой книги он говорит, что полное соответствие идеала с действительностью невозможно: „не принуждай меня доказывать, что изложенное нами на словах осуществится повсюду и на деле"[4]). В действительности возможно только большее или меньшее приближение к начертанному идеалу. Поэтому все значение своего исследования Платон сводит здесь на то, что оно дает цель и образец, хотя и недостижимый для практического поведения. „Мы исследовали, что такое справедливость, ради образца...[5]) а не для того, чтобы доказать возможность этого".[6])

На склоне жизни Платона эта последняя точка зрения явно получила перевес. Это доказывается уже одним фактом составления „Законов", которые были написаны тогда, когда Платон признал, что его лучшее государство годится только для богов и детей богов"[7]) и попытался приспособить свою реформу к условиям реальной жизни.

Требуя разделения политических обязанностей между тремя классами общества, Платон в сущности возводит в теорию то, что стало в IV веке уже историческим фактом. В V веке частный гражданин, воин, государственный человек—были понятиями, покрывающими друг друга. На каждом из граждан лежала обязанность военной службы, каждый гражданин мог во всякий момент занять крупную государственную должность. В IV веке это единство разлагается. Войска из граждан еще существуют, но они уже в меньшинстве; вообще же гражданин отказывается от военной службы и передает эту обязанность наемникам, образующимся из людей, лишившихся всяких средств существования; образуется класс воинов-профессионалистов, посвящающих войне всю свою жизнь и состоящих на жалованье у того государства, ко-

---

[1]) Geschichte des antiken Kommunismus und Socialismus 1-er Band.

[2]) Ouk ara adunata ge oude euchais homoia enomothetoumen, epeiper kata phusin etithemen ton nomon (Ibiad., 456 C).

[3]) Chalepa de geneshtai, ou mentoi adunata ge (Ibid., 502. C.)

[4]) Touto men de me anagkaze me, hoia to logo dielthomen, toiauta pantapasi kai to ergo de gignomena, apophainein (Ibid., 473 A).

[5]) Paradeigmatos ara heneka, en d'ego ezetoumen auto te dikaiosunen hoion Esti... (Ibid., 472 C).

[6]) all'oe toutou heneka, hin'apodeixomen, hos dunata tauta gignesthai (Ibid., 472 D).

[7]) He men de toiaute polis, eite pou theoi è paides theon outen oikousi pleious henos houto diazontes euphrainomenoi katoikousi (Nomoi, 739 D)

торое желает воспользоваться их услугами. Точно так же увеличившаяся сложность государственных дел требует, чтобы делу правления посвятили себя лица со специальными знаниями и особыми способностями. Хотя в Афинах и продолжают существовать демократические формы, но власть принадлежит немногим лицам, отдавшим себя всецело политической деятельности—чаще всего вождям победившей в данный момент партии. Таким образом, та специализация политических обязанностей, которую Платон вводит в свое учение в качестве обязательной нормы и в которой он видит высшее осуществление идеи справедливости, уже существовала фактически в Греции IV века.

Самую главную и трудную из политических обязанностей—дело управления—Платон находил необходимым вверить философам. „Пока в государствах, говорит платоновский Сократ в пятой книге „Политии", не будет или философы царствовать или нынешние цари и правители с знанием дела и удовлетворительно заниматься философией, пока сама государственная власть и философия не совпадут в одно, и многие натуры, направляющиеся ныне отдельно к той и другой, будут взаимно исключаться, до тех пор, друг Главкон, не будет конца злу ни в государствах, ни даже, думаю, в целом человеческом роде, и то государство, которое мы описали на словах, раньше этого не родится, как могло бы, и не увидит солнечного света"[1]). Специальной добродетелью философов, по Платону, является мудрость (he sopnia), которая дает им возможность иметь о вещах не мнение (doxa), а знание (gnome). Знание есть сила, которая познает сущности вещей в их истинной природе, между тем как предметом мнения являются чувственные вещи, представляющие собой только изменчивые отражения вечных идей. Истинная форма правления и определяется тем, что правители имеют истинное знание [2]). Только то государство настоящее, говорит иностранец в „Политике", в котором правители,—кто бы они ни были, люди знающие. Но много истинно знающих людей не может быть в государстве; поэтому „правильного управления, если только бывает правильное, надо искать у одного или двух, во всяком случае у немногих."[3])

К своим философам Платон пред'являет очень много требований: они должны соединять серьезность и ученость с живостью ума и души [4]), они должны иметь любовь к искуствам и наукам, быть рассудительными, умеренными, презирать смерть, быть не трусливыми, великодушными, мужественными [5]). Но все эти свойства сами собой приложатся. если только философы будут обладать истинным знанием. Из всех предметов философского знания важнейшее значение Платон придает идее блага (he tou agathou idea)). Идея блага у Платона является каким-то животворным источником, который сообщает вещам действительное и истинное существование и, кроме того, углубляет духовное зрение познающих

---

[1]) Ean me, èn d'ego, e hoi pihlosophoi basi leusôsin en tais polesin, e hoi bosileis te ntn legomenoi kai duuoastai philosophesôsi gnesiôs te kai hikanôs, kai Eis tauton xumpese duiamis te politike kai philosopia tôn de nun poreuomenon chozis eph'hekateron hai pollai phuseis eх anagkes anokeiusthôsin ouk esti kakôi paula, ô phile Glaukôn, tais polesin, dokô de oude tô, anthropinô genei. Oude haute he polieia mepote proteron phue te eis to dunatohi kai phôs heliou ihe hen nun logô deleluthamei Potiea.

[2]) Politikos 292 B.

[3]) Hepomenon de oimai touto ten men ortheu arhen perihena tina kai duo ka pantapasin oligous' dein zetein hoton orthe gighetai (Politikos, 293 A)

[4]) Politeaia 503.

[5]) Ibidem, 484—487 A.

суб'ектов. „Доставляющее истинность познаваемому, говорит платоновский Сократ, и сообщающее силу познающему называй идеей блага, причиной знания и истины, поскольку она познается умом“ [1]). Так солнце, освещая предметы, дает возможность зрению видеть их в истинном свете. Таким образом сущность предметов получается от идеи блага, которая сама не есть сущность, но выше ее. Идея блага не поддается у Платона точному определению, и он признает, что ее можно постигнуть только интуитивно. Вследствие этого его философы являются не просто теоретически образованными и практически мудрыми людьми, они наделяются еще, сверх того, высшим даром интуитивного познавания[2]). И эта мистическая высота, на которую Платон их ставит, дает ему право облечь их необычайно широкими полномочиями в области государственного управления.

Своим правителям-философам Платон вручает полную и абсолютную власть над гражданами; он делает их единственными выразителями всех государственных функций, не исключая и законодательной. Никаких конституционных гарантий против злоупотребления правителя своею властью Платон не признавал, ибо он отрицал самую возможность появления злоупотреблений среди правителей-философов. Платон не считал нужным даже связывать действия правительства законом, потому что находил, что философское знание и политическое искусство лучше подскажут правителям, как поступать в каждом отдельном случае, чем писаный закон (suggrammata), который все равно не может всего предусмотреть.

Законы не нужны, говорит иностранец в „Политике“, „ибо никогда закон не может с точностью и вполне обнять самое хорошее и самое справедливое, чтобы предписать всем наилучшее“[3]). Несколько ниже „иностранец“ говорит о малой способности законодательства приспособляться к разнообразию индивидуальных случаев. „Законодатель, желая распоряжаться стадами сообразно с справедливостью и взаимными их отношениями, не в состоянии бывает правилами для всех вместе взятых (pasin athroois) предписать точно подходящее каждому порознь [4]), Законы только стесняют искуство правителей. Если бы все людские занятия велись „по писаным правилам (kata suggrammata), а не по искусству“ (kai kata technen), то „жизнь стала бы невыносимой“[5]). Деятельность правителей не должна терпеть ни в чем и ни от чего ограничений, пока ею руководят только соображения о благе государства. „Во всех делах мудрых правителей нет погрешности, пока они соблюдают одно великое правило: всегда разумно и искусно уделять гражданам государства самое справедливое,—пока они способны под-

---

[1]) Touto, toinun to teni aletheian parechon tois gignoskomenois, kai to gignoskonti ten dunamin apodidon, ten tou agathou idean phathi einai. aitian d'epistemes ousan kai aletheias, hos gignoskomenes men dianou (Jbid., 508 E).

[2]) Влияние пифагорейцев.

[3]) Hoti nomos ouk an pote dunaito to te ariston kai to dikaiotaton akribôs pasin hama perilabôn to beltiston epitattein (Politikos, 294 B).

[4]) Kai ton nomotheten toinun hëgometha, ton taisin age'lais epistatesonta tou dikaiou peri kai ton pros allelons xumbolaion, me poth'hikanon genesesthai pasin athroois prostattonta akribos heni hekasto to prosekon apodidonai Ibidem, 294 E—295 A).

[5]) Hoste ho bios ... abiotos gignoit' an to parapan (Jbid., 299 E).

держивать их и из худших, по возможности, делать лучшими"[1]). Самое насильственное изменение старых законов не должно ставится в вину правителям, если оно соединено с пользой для граждан: насилие, приносящее пользу, перестает быть насилием. Для дела не имеет значения, делает ли кто полезное „убедивши или не убедивши", „по хартиям или против хартии"[2]) Польза государства, и только одна она, должна служить единственным мерилом всех действий правительства.[3]) Таким образом, Платон прямо дает одобрение своим правителям на совершение государственных переворотов и нарушение законов, хотя бы и соединенное с насильственными актами, если это удовлетворяет требованиям политической целесообразности. Но, ставя своих правителей в такое авторитетное положение и не допуская никакого ограничения их власти, Платон в то же время заботился о том, чтобы окружить их условиями, исключающими возможность своекорыстных действий с их стороны. Присущие философам мудрость и интуитивный дар казались Платону еще недостаточной гарантией против такой возможности. Поэтому он требует лишения правителей (и вообще всех чиновников, гражданских и военных) частной собственности[4]). Пока чиновники, говорит Платон, будут обладать частным имуществом, они будут более чувствовать себя собственниками домов, полей и денег, чем служителями общего блага, и подвергнутся искушению употребить свою власть в интересах собственного обогащения. Чтобы власть была совершенно эманципирована от интересов хозяйственной жизни и возвышена до полной самостоятельности, все начальники должны получать средства к жизни только в виде жалованья от государства.

„Необходимые вещи, сколько их требуется для благоразумных и мужественных подвижников на войне, им надо, в награду за охранение, получать от прочих граждан, определив такое количество всего, какое было бы и не велико на год и не мало."[5]) Эти средства к жизни они должны получать натурой, потому что употребление золота и серебра Платон запрещал своим чиновникам. „В обществе граждан им одним (стражам) не должно принимать и касаться золота и серебра, даже вступать под одну с ним кровлю, обкладываться золотыми и серебряными вещами или пить из них"[6]). Ведь золото и серебро—это орудия накопления и эксплоатации, и чиновники, которые должны бороться со всякой возможностью эксплоатации одних другими, должны прежде всего сами уметь обходиться без этих пагубных средств. Принцип эманципированья чиновничества от всяких социальных влияний Платон проводил так да-

---

1) Kai panta poiousi tois emphrsin archousin ouk estin hamartema mechriper an hen mega phulattosi, to meta nou kai teches dikaiotaton aei dianemontes tois en te polis ozein te autous hoioi te osi kai ameinous ek cheironon apotelein kata to dunatonc Jlidem, 297 A—B)

2) Kata grammata e para grammata (Jbid., 296 E)

3) Jbid., 2962).

4) Proton men, ousian kektemenon medemian medena idian, an me posa anagke Никто из них (начальников) не должен иметь никакой собственности, кроме самого необходимого. Politeia, 416 D.

5) Ta d'epitedeia, hosôn deontai andres athletai polemou sôphrones te kai andreioi, taxamenous para tôn allôn politôn, dechesthai misthon tes phulakes tosouton, hoson mete perieinai autois eis ton eniauton, mete endein (Ibid., 416 D—E).

6) Monois autois tôn en te polei metacheirizesthai kai haptesthai chrusou kai argurou ou themis, oud' hupo ton auton arophon ienai oude periapsasthai, oude pinein ex arguron e chrusou (Ibid., 417 A).

...ско, что требовал совершенного изолированья чиновников от хозяйственных классов: они должны быть поселены в отдельном от прочих граждан, как бы лагерном, месте и иметь там общий стол. „Они должны посещать сисситии, как бы целым лагерем и жить сообща“[1]).

Во вторых, Платон требовал ограждения правителей от семейных влияний посредством уничтожения института брака и замены его общественным пользованием женщинами и общественным воспитанием детей. „Все эти женщины (принадлежащие к сословию стражей) должны быть общими всем этим мужчинам (стражам), и ни одна не должна жить частно ни с одним; тоже опять общими, так чтобы и дитя не знало своего родителя и родьтель своего дитяти“[2]). Тогда все чувства любви и дружбы, испытываемые прежде к женам и детям, перенесутся на общество и его членов. И по другой причине „общность жен и детей между попечителями должна быть причиной величайшего блага“[3]). Тогда все они будут предполагать друг в друге или брата или сына или отца и потому будут жить в мире. Тяжба и ссоры станут невозможными, потому что они возникают или из-за денег, или из-за детей и родственников, а все это будет тогда общим среди стражей[4]).

Относительно взглядов Платона на брачные отношения нужно сделать следующее замечание. Эти взгляды толкуются как одобрение беспорядочному смешению полов. Цитированное место из „Политии“ действительно оправдывает это мнение. Но в противоречии с ним стоит другое место „Политии“. В этом месте[5]) Платон придает несколько другой смысл своему мнению, что все женщины должны быть общими для всех мужчин; а именно, он говорит, что право на женщину не есть частное право отдельных лиц, а право государства, и потому выбор женщин для брачного сожития должен принадлежать государству, а не индивидам[6]). Немного ниже приведенной цитаты находится такой диалог между Сократом и Главконом. Сократ; „Соединяться беспорядочно или делать что-либо подобное этому было бы нечестно в обществе людей блаженных (eudaimonon), да и правители не позволят.“—„Потому что это несправедливо,“ сказал Главкон.—„Так явно, что после этого мы установили браки, и браки, сколько достанет сил священные, священными же пусть будут самые полезные“[7]). Самыми же полезными браками Платон считал такие, которыми „отличные соединялись бы большею частью с отличными, а худшие, напротив, с худшими“[8]). Это мнение о

---

1) Phoitôntas de eis xussitia, hôsper estratopedeumenous kaine zen (Ibid. 416 E)

2) Tas gunaikas tautas ton andrôn toutôn pantôn pasas einai koinas, idią de medeni medemian sunoikein, kai tous paidas au koinuus kai gonea ekgonon eidenai ton hautou, mete paida, gonea (Ibid., 457 D).

3) Tou megistou ara agathou te polei aitia hemin pephantai he koinônia tois epikourois tôn te paidon kai tôn gunaikôn (Ibidem, 464 D).

4) Ibidem, 464 E.

5) Ibid., 458 D—E.

6) Свободные отношения полов Платон, правда, признавал, но только для лиц, уже перешедших брачный возраст (Ibidom, 461 B—C).

7) ...„Ataktôs men mignusthai allelois, e allo hotioun poiein, oute hosion en eudaimonôn polei out easousin hoi archontes“—„ou gar dikaion, ephe“ „—Delou de, hoti gamous to meta toûto poiesomen hierous eis dunamin hotimalista. Eien d'an hieroi hoi ôphelimôtatoi (Ibidem, 458 D—E).

8) ...Tous aristous tais aristais sugginesthai, hôs pleistakis tous de phaulototous tais phaulototais tounantioun (Ibid., 459 D).

полезности индивидуальных браков, хотя бы и контролируемых государством, и возобладало в конце концов в платоновском мировоззрении. Это видно уже из того, что вопросу о выборе супругов Платон уделяет очень много места. В производимом правительством *выборе* лиц, долженствующих соединиться между собой браком, и должен сказаться общественный, а не частный характер брака. Дело выбора супругов Платон считал слишком сложным и важным для того, чтобы предоставить его капризу самих желающих вступить в брак. Платон требует, во-первых, чтобы вступали в брак лица только цветущего возраста: женщины —от 20 до 40 лет, мужчины—от 25 до 50 лет[1]). Во-вторых, безусловно должны быть запрещены браки, в которых замешаны корыстные рассчеты[2]). Наконец, государство должно заботиться, чтобы натуры тихие соединялись с горячими, нежные с мужественными, рассудительные с живыми и быстрыми,—иначе крайние черты характера в силу наследственности будут укрепляться и с течением времени дойдут до ужасных размеров[3]).

Все эти требования Платон считал необходимым прилагать ко всем классам общества, а не только к стражам; контролю государства над брачными отношениями должны подчиниться все граждане, как видно из текста, а не одни правители и чиновники, хотя правильным бракам стражей Платон, несомненно, придавал большее значение, чем правильным бракам низших классов. Это доказывается уже выше цитированным местом из „Политии" о необходимости государственного контроля над тем, чтобы худшие соединялись с худшими; конечно, Платон не мог предположить, чтобы среди стражей могло оказаться много дурных людей и следовательно в вышеприведенной цитате (459 Д) он не мог говорить об одних стражах. Да и в других местах ничто не дает права предполагать, что Платон имел в виду только стражей.[4])

Что касается до второго класса платоновского общества—воинов (и других чиновников), то Платон требовал, чтобы и они так же, как и философы, были освобождены от всяких хозяйственных занятий и семейных забот и получали средства к жизни в виде платы от государства натурой (все приведенные выше на этот счет цитаты относятся к ним в такой же мере, как и к правителям). Так как обязанности воинов заключаются, по Платону, только в безпрекословном исполнении приказаний правителей, то Платон требовал от них уже не „знания истины" и не мудрости, а только мужества (andria). Мужество, которое Платон ближе определяет, как „правильное и законное мнение о вещах страшных и нестрашных", должно быть специальною добродетелью сословия воинов. Но кроме этой добродетели у них так же, как и у философов, должно быть сильно желание посвятить все свои силы благу государства; уступая философам в мудрости, они не должны уступать им в способности к самоотречению, в готовности ограничивать свои желания.

Что касается до третьего класса платоновского общества, обнимающего собою лиц, занимающихся торговлей, ремеслом и сельским хозяйством, то Платон требует от них добродетели, которая в равной мере должна быть присуща и двум высшим классам—благоразумия (sophrosune). Эту добродетель Платон определяет как воздержание от

---

1) Ibidem, 460 E.

2) Politikos, 310 B.

3) Ibidem. 310.

4) Об общественном воспитании детей мы будем говорить особо.

удовольствий и страстей, уменье побеждать самого себя, а в сфере общественных отношений—как готовность толпы подчинять свои желания желаниям немногих и воздержаннейших (epilikesterais); это та добродетель, которая возвышает не одну какую-либо часть города (как мудрость возвышает сословие философов, а мужество—сословие воинов), но поддерживает „симфонию и гармонию“ во всем городе.[1])

Не отказывая в этой добродетели хозяйственному классу, Платон показал, что он был не абсолютно низкого мнения о личных качествах этого класса и не относился к нему с презрением, как то думают Żelle, Ed. Meyer и Oncken. Правда, sophrosune—добродетель низшего качества; она основана не на истинном знании, а на привычке и упражнении и заключает в себе постоянную возможность возвращения к заблуждению, но Платон сам признавал, что „истинным знанием“ обладают только исключительные личности. Правда, пред деятельностью лиц, принимающих участие в управлении, Платон считал низкими занятия всех других, начиная от богатых купцов и кончая поденщиками; но отсюда еще нельзя делать вывода, что по мнению Платона всякая хозяйственная работа была недостойна человеческого достоинства. Он разделял всех граждан на euphucis ta somata kai tas psuchas u tous de kata ten psuchen kakophueis kai aniatous[2]) и нет никаких оснований предполагать, что к первым он причислял только правителей и стражей, ко вторым—всех земледельцев, ремесленников и торговцев.

Точно также нет оснований упрекать Платона в полном равнодушии к судьбе хозяйственных классов.[3]) Правда, в „Политии“ нет почти никакого законодательства относительно этих классов. Но это обстоятельство вытекает не из отсутствия заботливости Платона о третьем сословии, а из его недоверия ко всяким законодательным определениям. „В „Политии“ для Платона было важно одно: указать средства, которыми можно поставить на верху власти философов, отнять у них всякую возможность злоупотреблений и оградить этих совершенных правителей от эгоизма граждан: на этом, по Платону, и должна остановиться деятельность законодательства, потому что самим правителям эгоизм чужд и стеснять законами их деятельность на благо государства было бы неразумно.

Упрек Платону в равнодушии к хозяйственной массе граждан совершенно несправедлив потому, что, по мнению Платона, счастье государства заключается в счастьи всех составляющих его личностей. Надо, говорит Платон, „при развитии и устройстве всего города предоставить каждому сословию ту меру счастья, которую ему позволяет получить его природа“.[4]) Распространенное мнение, что высшая цель, по мнению Платона, заключается в благе государства, как высшего и самостоятельного организма,—благе, которое независимо от счастья или несчастья входящих в состав его индивидов, не основывается на тексте сочинений Платона. Платоновский гражданин поступает нравственно

---

[1]) Politeia, 430 E.

[2]) Jbidem 410A.

[3]) Таково мнение Zeller'a, Oncken'a, Die Staatslehre des Aristotelles (erste Hälfte) u Ed. Meyer'a (geschichte des Alterthums, 5 B).

[4]) ...hopos hekastois tois ethnesin hu phusis apodidôsi tou metalambanein eudaimonias (Politeia, 421C); см. также 519 C: „Ты опять забыл, мой друг, что законодатель заботится не о том, как бы сделать в городе счастливым особенно один какой-либо род, но старается устроить счастье целого города“.

не только для общества, но и для самого себя, потому, что добродетель награждает человека счастьем и в этой и в той жизни[1]). Граждане у Платона, таким образом, отнюдь не отказываются от личных желаний, и их поступки мотивируются не исключительно альтруистически. Добродетель у Платона является источником не только внутренних, но и внешних благ: она приятна не только сама по себе, но и по своим внешним последствиям. „Справедливые, став постарше, несут в городе правительственные должности, какие хотят, берут себе жену, откуда хотят, выдают детей за кого хотят" [2]). Таким образом мнение, что у Платона государство является самоцелью, а личность только орудием для достижения целей государства, не выдерживает критики: существенными правами индивида Платон не жертвовал для благополучия государства и признавал за каждым отдельным лицом право на bios hedistos. Государство для Платона было только средством для достижения высшей цели—блага всех входящих в него членов, а не самостоятельной целью.

Нельзя признать справедливым и то мнение, что Платон отрицал всякое самолюбие: он отрицал только преувеличенное самолюбие [3]), идущее в разрез с интересами других, а не то самолюбие, которое состоит в желании добиться личного счастья.

Что государство само по себе не было для Платона целью, видно уже из того, что высшая цель человеческого существования у него лежит за границами государства. Высшее назначение человека заключается в чистом познании, и жизнь человека, занимающегося до конца своих дней наукой, счастливее жизни государственного человека. Философов можно только просьбами склонить посвятить себя политической деятельности, ибо нельзя рассчитывать на то, чтобы они добровольно согласились променять блаженную созерцательную жизнь на полное волнений служение интересам земли. Они, говорил Платон, „не имеют собственной охоты к деятельности и думают, будто место их жительства просто острова блаженных". [4]) Только убеждение в необходимости пожертвовать личным счастьем благу всех может заставить философов оставить высоты спекулятивного мышления и снизойти до роли государственных деятелей. Но этот переход от науки к практике

---

[1]) Слова Сократа: „Не возбудим ли мы теперь зависти, Главкон, полагая, что справедливости и всякой добродетели воздаются еще награды, какие и сколько могут быть воздаваемы душе и от людей и от богов и при жизни человека и когда он окончится" (...nun ėdė anepiphthonoų esti, pros ekeinois kai tous misthous tė dikaiosunė kai tė allė aretė apodounai, hosous te kai hoious te psuche parechei par anthrópòn te kai theòn, żontos te eti tou anthròpou kai epeidan teleutese Politeia, 612 B—C; см. также 613 A: „...Живет ли человек справедливый в бедности, страдает ли от болезней или от других кажущихся бед, надо предполагать, что это кончится для него добром или при жизни или по смерти. Ведь боги никогда не оставляют того, кто усердно хочет сделаться справедливым". (Hoûtos ara hupolepteon peri tou dikaiou andros, ean t'en penia gignetai ean te en nosois, e tini alló ton dokoúnton Kakón; hos touto, tauta eis agathon ti teleutesei żónti e kai apothanonti.

[2]) Ezó gar de hoti hoi men dikaioi, epeidaų presbuteroi genontai en te hauton polei archousi te an boubontai tas archas, gamousi te hopothen an boulontai, ekdidoasi te eis hous an etheosi (Politeia, 613 D).

[3]) He sphodra heautou philia.

[4]) Hoti hekontes einai ou praxousin, hegoumenoi en makaron nesois zontes eti apokisthai (Politeia, 519 C)

будет „обидой" для „лучших натур", так как „они будут жить хуже, имея возможность жить лучше". [1])

Таким образом, обвинение, иногда пред'являемое Платону в том, что он жертвовал интересами масс интересам государства, как отвлеченного понятия, или интересами избранной кучки философов,—является ни на чем не основанным. Благо государства совпадало у Платона с благом всех, а правители у него ничем не пользовались, кроме власти, ибо их материальное положение не было лучше положения остальных граждан, и они были обеспечены только самым необходимым. Что же касается до власти, то уже самая решимость принять ее рассматривалась Платоном как жертва со стороны философов, и следовательно не счастье этих избранников было целью платоновского государства: они получали власть не для себя самих, но для других.

В этом желании обеспечить интересы масс, распределить счастье по возможности поровну между всеми гражданами и проявился демократический элемент учения Платона. Но, конечно, демократизм Платона не был демократизмом политическим, заключающимся в равном распределении между всеми политических прав. Платон желал обеспечить счастье за возможно большим количеством лиц, но политическим способностям „многоголового деспота"—демоса он не доверял, и потому находил нужным сосредоточить политические права в руках возможно меньшего количества лиц. Следовательно, в политическом смысле Платон был аристократом; его политический символ веры можно выразить в словах „все для народа, но ничего—посредством народа". Для осуждения политического демократизма Платон не находит достаточно резких выражений. Демократии свойственны своеволие, дерзость, разнузданность в желаниях. В демократических государствах все понятия совершенно извращаются и пороки называются „прекрасными именами": наглость—образованностью, своеволие—свободою, распутство—великолепием, бесстыдство—мужеством. [2]) Правительственные должности захватывают худшие люди, потому что сам народ совершенно неспособен определить, кто пригоден к делу правления, и удостаивает почестей тех, кто потакает его порокам, а хороших правителейпреследует. Водворяется полная анархия, потому что граждане не обращают никакого внимания на законы, как писаные, так и неписаные, чтобы никто не был над ними деспотом" [3]). „Учитель в таком городе боится учеников и льстит им, а ученики унижают учителя и воспитателей" [4]).

Отрицая за гражданами способность политического самоопределения, Платон считал, однако, нежелательным *слепое* повиновение правителям и требовал от граждан *сознательного* подчинения. Повиновения от граждан должно добиваться не принуждением, но убеждением, внушая им правильное понимание их обязанностей [5]). Все воспитание граждан должно быть направлено на то, чтобы заставить их смотреть на свое подчиненное положение, как на исполнение религиозной обязанности. Им должна быть внушена мысль, что, хотя все люди происходят

---

[1]) Adikesomen autous kai poiėsomen cheiron zēn. dunaton aütois ameinon (Jbidem, 519 D).

[2]) Ibidem, 560 E.

[3]) ... oude ton nomon phrontizousi gegrammenon e agraphon, hina de medame medeis autois e despotes (Jbid., 563 D).

[4]) Didaskalos te en to toiauto phoitetas phobeitai kai thopeuei, phoitetai te didaskalon oligorousin, houto de kai paidagogon (Jbid., 563 A).

[5]) Jbid., 519 E.

от одной матери—земли, о которой они должны всеми силами заботиться, но не все предназначены для одинаковой роли на земле. Пусть воспитатели расскажут им такой миф: „хотя все вы в государстве и братья, но бог—образователь к тем из вас, которые способны начальствовать, при рождении примешал золота, отчего они более всего заслуживают почтения (timiotatoi), а другим—помощникам их—серебра, и к земледельцам и прочим мастеровым—железа и меди"[1]. Тогда все в своем месте на земле увидят результат божественной воли и добровольно „без принуждения" подчинятся своему положению. С требованием от граждан сознательного подчинения правителям согласуется и то место из „Политика", в котором говорится, что и управляемые должны иметь „прочно утвердившееся, правильное представление о прекрасном, справедливом и хорошем и о противном этому" [2].

Требование сознательного подчинения граждан правителям не делало, однако, платоновского государства свободным. Аргументация Pöhlmann'а, [3] при помощи которой он доказывает присутствие идеи свободы в платоновском политическом учении, представляется мало убедительной. Pöhlmann говорит, что платоновское государство свободно и граждане не подвергаются принуждению при одном условии,—если они разумно понимают свои права и обязанности и добровольно преданы государству. Но там, где квалификация поступков как разумных или неразумных принадлежит исключительно правительству, где сверх того область правительственного вмешательства чрезвычайно широка и захватывает даже частную жизнь граждан,—там свобода ограничивается только правом соглашаться с решениями правительства и добровольно подчиняться им; в тех же случаях, когда граждане иначе понимают свои задачи, чем правительство, они подвергаются более или менее суровому принудительному воздействию со стороны государства. Хотя Платон и говорит, что настоящим политическим искусством является свободное устроение свободных двуногих существ [4], но последние свободны только до тех пор, пока они во всем подчиняются правительству. Нарушение же этого подчинения, т. е. непонимание гражданами их пользы, должно, по мнению Платона, необходимо вести к мерам принуждения со стороны правительства [5]. И так как идеальные правители Платона не могут предписывать ничего дурного, то даже одно порицание их принудительных мер является, по Платону, недопустимым. Такое порицание „чтобы не быть ему крайне смешным, должно каж-

---

[1] Jbid., 415 A. В этом месте нельзя видеть оправдания Платоном кастового устройства со всею исключительностью его общественных делений. Основной признак последнего—наследственность прав и обязанностей—Платон ослаблял тем, что считал необходимым недостойных сыновей правителей низводить до степени ремесленников и крестьян, а одаренных членов низших сословий возводить в ранг стражей или их помощников. (См. 415 С.) Но это было только ослабление кастового принципа и поправка к нему, а не полное отрицание его, так как указанная здесь Платоном мера могла применяться только в виде исключения к обычному порядку наследственной передачи родителями их прав и обязаностей детям.

[2] ... Ten ton kalon kai dikaion peri kai agathon kai ton toutois enantion ontas ousan alethe doxan meta bebaioseos... (Politikos, 309 C).

[3] Pöhemann. Heschichle l. antiken Socialismus und Kommunizmus, 1-er B.

[4] Hekousios kai hekousion dipodon zoon ageilaoikomike (Politikos, 276 E).

[5] Jbidem, 293 E.

дый раз скорее выражать все, чем то, будто насилуемые потерпели от насилующих постыдное, несправедливое и злое“ [1]).

Сам Платон сознавал иллюзорность своей надежды на то, что большинство добровольно и сознательно подчинится предписаниям государства. Не надеясь на убедительность своих доводов, что счастье индивида заключается в безусловном подчинении правительству, Платон предлагал внушать гражданам целый ряд целесообразных обманов. „Более, чем кому-либо, идет лгать правителям общества,—либо ради неприятелей, либо ради граждан, когда имеется в виду общественная польза“ [2]). „Людям ложь приносит пользу в виде лекарства“ [3]).

Для того чтобы внедрить в граждан социальный дух, необходимо, по мнению Платона, нравственные постулаты сделать требованиями религиозного убеждения, т. е. необходимо воспитание в религиозном духе. Для этого философами и поэтами должна быть создана целая система религиозных мифов. Среди них одно из первых мест должен занимать уже упомянутый миф о происхождении всех граждан от одной матери земли, но с примесью различных металлов: золота, серебра и меди. Далее, гражданам должно внушить миф о наградах в будущей жизни, ожидающих справедливых людей. В „Законах“ Платон говорит, что поэты должны быть принуждаемы государством писать только то, что может укрепить граждан в добродетели, хотя бы для этого пришлось прибегать ко лжи. „Если бы я был законодателем, то заставил бы всех поэтов и всех граждан воспевать справедливость и определил бы самое жестокое наказание тому, кто стал бы разглашать в государстве, что есть некоторые другие люди, живущие в удовольствии, что польза корысть и справедливость суть вещи различные[4]). Таким образом, и религия, и поэзия, не стесняемые обязанностью следовать истине, привлекаются Платоном к укреплению политических добродетелей, и все-таки у него остается мало надежды, что граждане добровольно и свободно будут преданы государству, и он говорит, притом без особого огорчения, о пользе и неизбежности принудительных мер.

Таким образом, хозяйственные классы у Платона находятся в безусловном, ничем не ограниченном ***политическом*** подчинении правительству: но решительно настаивая на лишении хозяйственной массы всех политических прав, Платон не менее решительно выдвигает принцип ***экономического*** равенства граждан. Он очень энергично требует, чтобы в его государстве не было ни богатства, ни бедности. Стражи должны всеми силами остерегаться, как бы втайне от них богатство и бедность не проникли в город [5]). Богатство и бедность приносять вред прежде

---

[1]) Toiutos psogos ei mellei me katagelastotatos einai panton, panta auto mallon lekteon hekastote, plen hos aischra kai adika kai kaka peponthasin hoi biasthentes hupo ton biasamenon (Jbidem, 296 D).

[2]) Tois archousi de tes poleos... prosekei pseudestai e polemion e politon heneka ep'ophelia tes poleos (Politeia, 389 B).

[3]) Pseudos „anthropois de chresimon, hos en pharmakou eidei“ (Jbidem, 389 B).

[4]) nomothetes on taute peiromen an tous te poietas anagkazein phtheggesthai kai pantas tous en te polei, Zemian te oligou megisten epititheien an, ei tis en te chora phthegxaito, hos eisi tines anthropoi pote poneroi men, edeos de zontes, e lusitelounta men alla esti kai kerdalea, dikaiotera de alla (Nomoi, 662 B—C)

[5]) Hetera de, hos eoike, tois phulaxin, eurekamen ha panti tropo phulakteon hopos me pote autous lese eis ten polin paradunta—Ta poia tauta; Ploutos te, en d'ego, kai penia—(Policia, 421 E)

всего ремеслу „От богатства и бедности как произведения ремесла так и самое ремесло становятся худшими"[1]). Разбогатевший ремесленник не захочет больше заботиться о своем ремесле вследствие лени, свойственной богатству, а бедняк не будет иметь *возможности о нем* заботиться, так как не достанет себе орудий. И в отношении военной защиты город, распадающийся на богатых и бедных, не может быть особенно надежным: богатство породит в нем изнеженность, а кроме того противник может воспользоваться враждой экономических партий, привлекши на свою сторону одну из враждующих сторон[2].) И внутренний покой будет чужд такому городу. „В подобном городе был бы по необходимости не один город, а два: один—из людей бедных, а другой из богатых, и оба они, живя на одном и том же месте, злоумышляли бы друг против друга"[3]). Бедные, питая ненависть против тех, кто завладел их имуществом, будут вечно склонны к восстанию; а богатые, ведя разгульную жизнь, станут слабы и ленивы, через что неудовольствие бедных еще более разгорится.

Обыкновенно полагают, что *имущественный* коммунизм Платон считал необходимым ограничить только сословиями правителей и солдат. Но в „Политии" есть места, которые доказывают, что такое ограничение было чуждо Платону, и что лучшим лекарством против богатства и бедности он считал распространение коммунистического пользования имуществом на всех граждан...Самый лучший порядок будет в том городе, „в котором в отношении одному и тому же слова „мое" и „не мое" произносит наибольшее число граждан"[4]). Народное хозяйство, по мнению Платона, должно стать государственным хозяйством, все предметы хозяйственного пользования перейти в собственность государства. Тогда установится та общность „радостей и горестей",[5]) которую Платон считал первым и необходимым условием общественного счастья. В идеальном государстве, если дела одного гражданина находятся в хорошем или дурном положении, то все будут произносить „мои дела хороши", или „мои дела не хороши"[6]).

В. Н. Перцев.

---

[1]) Hup... penias te kai ploutou cheiro men ta ton technon erga, cheirous de autoi (Ibidem, 421 E)

[2]) Jbidem, 423 A.

[3]) To me mian alla duo anagken einai ten toiauten polin, ten men peneton, ten de plousion oikountas en to auto aei epibouleuontas allelois (Jbid., 551 D).

[4]) Ar oun ek toude to toionde gignetai, hotan me hama phtheggontai en te polei ta toiade remata, to te emon kai to ouk emon; kai peri tou allotriou kata tauta touto legosi to emon kai to ouk emon, haute arista dioikeitai. (Jbidem, 462 C)

[5]) 462 B: т. е. все члены общества будут испытывать по одной причине радость, а по другой все-же горе.

[6]) 463 E.

От редакции. За отсутствием греческого шрифта в типографии пришлось набрать греческие цитаты латинским. При этом *ипсилон* передавался через u, хи через ch, *фи* через ph, *дзета* через z, *кси* через x, *тета* через th, *пси* через ps, густое придыхание через h. Указания автора относительно передачи *эты* через э с надстрочным знаком омеги через z таким же знаком и подписной йоты через носовой звук польской азбуки, к сожалению, по техническим условиям выполнить не удалось, в чем редакция и извиняется как перед автором, так и перед читателями, знающими греческий язык.

Феодальные отношения в древнем Израиле.

Изучение истории Израиля фатально не может выйти на ту дорогу, которая давно уже проторена для изучения истории других стран и народов. После того, как установились более или менее точные и бесспорные выводы относительно времени происхождения, состава и точек зрения главного источника для истории Израиля, библейской литературы, настало, казалось, время приступить к разработке различных проблем древне-израильской истории. Но богословы немецкой критической школы, разрешившие литературно-историческую проблему, были не в силах, да и вряд-ли желали заниматься историей Израиля с социальной точки зрения. Они применяли свои выводы или к построению эволюции религиозного сознания Израиля, или к созданию „верхозаветной теологии", т. е. совершенно искусственной системы по образцу „новозаветной теологии", или, наконеп, к детальному изложению событий внешней истории Израиля и Иуды. Можно было ожидать, что на помощь придут другие специалисты, из родственной области: ассириологи и египтологи. Но и тут древнему Израилю не посчастливилось. Историей Израиля заинтересовались и занялись, главным образом, представители очень яркого, но крайне одностороннего и парадоксального направления ассириологии, так называемые панвавилонисты. Они исходили из положения, что искони существовала древне-восточная культура, проникнутая общим астральным мировоззрением; создателем этой культуры панвавилонисты считали древнейших обитателей так называемой Вавилонии, откуда и всю культуру они назвали вавилонскою; эту последнюю культуру и мировоззрение, которым она была проникнута, заимствовали с берегов Евфрата повсюду на земном шаре другие древние народы, как соседние, так и отдаленные, семиты и арийцы, персы и индусы, китайцы и американцы. [1]) Не входя здесь в оценку панвавилонистского направления, делавшуюся мною не раз на страницах русской печати,[2]) скажу только, что от некоторых его крайностей отказывался в последние годы своей жизни сам основатель и глава панвавилонизма, Гуго Винклер; [3]) со стороны же его противников, как из среды богословов, так в особенности из среды ассириологов, были выставлены весьма серьезные возражения, подрывающие панвавилонист-

---

1) Начало было положено весьма легковесной лекцией Ф. Делича „Babel und Bibel", выдержавшей целый ряд изданий (первое изд. 1902). Но обоснована и разработана теория панвавилонистов была в трудах Штукена (E. Stuken, Astralmythen der Hebräe, Babylonier und Aegyfter) и, главным образом, в многочисленных работах его последователя, Гуго Винклера (основными систематизациями надо считать его „Himmelsbild und Weltenbild der Babylonier. Altorientalische Geschichtsauffassung, Der alte Orient und die Bibel, третье издание в сотрудничестве с Циммерном труда Шрадера Dre Keilinschiften und das Alte Testameut. и, наконец, подводящая итоги брошюра De babylonische Geistekultur in ihren Beziehungen zur Kulturentwickelun yger Menschheit, 1910, переведенная в 1913 г. на русский язык под моей редакцией) и верного, но малоталантливого подголоска последняго Іеремиаса (основные работы: Das Alte Testament im Lichte des alten Orients и Handbuch der altorientalischen qeistaskultur).

2) Ср. мои статьи „Вавилон и Библия" (Критическое Обозрение, 1909 вып. VIII), „Израиль и Вавилон" (Вестник Европы, 1910. май—июнь), и „Очерк разработки истории древнего Израиля в XIX в." (История еврейского народа, изд. т-ва „Мир", т. I).

3) Ср. рецензию Винклера в Orientalistische Literaturzeitung, januar 1910 S. 20.

скую теорию в самом корне [1]) Но так дело обстоит в настоящее время; в начале же к разработке истории Израиля Винклер и его последователи приступили в самый разгар своей работы с полной энергией и с несокрушимой еще верой в правоту своей идеи. Понятно, что усилия их направились на то, чтобы доказать полную зависимость древнеизраильской литературы и религии от астральной системы, а во внешней истории еврейских царств они больше всего искали следов полной подчиненности царей Израиля и Иуды владыкам Ассирии и Вавилона; чтобы характеризовать их труды в этом последнем направлении, достаточно указать, что значение некоторых пророков было сведено Винклером к роли руководителей ассирийской партии при дворах Иерусалима и Самарии [2]). Жестокая полемика, возникшая вследствие выступления панвавилонистов между ними и богословами—верхозаветниками, только обострила страсти и затемнила многие вопросы. В море мелких придирок и диалектических рассуждений потонули некоторые правильные наблюдения панвавилонистов; с другой стороны, панвавилонистские претензии на единственно правильное понимание проблем истории Израиля заставили богословов занять также непримиримую позицию и еще энергичнее ухватиться за идею своеобразия и самобытности всей древнеизраильской культуры и истории.

И та, и другая сторона в сущности грешили одною и тою же ошибкой: предвзятым отношением к предмету своих исследований. Это предвзятое отношение является плодом многовековой церковно-богословской традиции, восходящей еще к отцам церкви и возводящей Израиля в ранг избранного народа, из недра которого должно было явиться христианство. Отсюда богословы, естественно, проявляют понятное увлечение историей Израиля, ибо они, даже наиболее критически настроенные, стоят в сущности на указанной традиционной точке зрения. Для панвавилонистов та-же точка зрения была притягательна в качестве необычайного соблазна: несомненно, что слава Вавилона поднялась бы на недосягаемую высоту, если бы удалось доказать, что почвой, на которой выросло христианство, была вавилонская культура. Винклер сделал это более или менее тонко и осторожно; он ограничился только тем, что попытался превратить древнеизраильскую культуру в слабый отпрыск вавилонской; другой панвавилонист Иенсен, сделал то-же самое гораздо грубее и смелее, заявив, что не только вся израильско-иудейская история, но также история евангельская и история Деяний являются перифразами вавилонского мифа о Гильгамеше [3]). В итоге, и для той, и для другой стороны Израиль является народом необыкновенным; при этом богословы поддерживают необыкновенность традиционную, а панвавилонисты—необыкновенность новооткрытую, но и те и другие одинаково неспособны подойти к истории Израиля как к самой обыкновенной истории самого обыкновенного народа, народа притом очень маленького и пользовавшегося политической самостоятельностью в течение лишь сравнительно короткого промежутка времени.

Правильный взгляд на историю Израиля, чуждый всякого пред-

---

1) Главнейшие критические этюды указаны в моем обзоре „Вавилон и Библия",—сверх того следует указать на блестящую брошюру астронома-ассириолога Куглера „Jm Bannkreis Babels" и остроумную едкую критику богослова Эрдманса (Erdmans, Alttestamentliche Studien, II).

2) Ср. Geschichte Jsraels, B. I.

3) Ср. „Das Hielamesch Epos in der Weltlitteratur" Moses, Iesus, Paulus" „Hat der Jesus der Evangelien wirklich gelebt?".

взятого отношения, возможен только для историка общества, возможен, иными словами, только тогда, когда во главу угла будет положено основание, а не вершина, социальная история, а не литература и религия, являющиеся лишь продуктами социального развития. Для историка общества, вообще говоря, нет ни великого, ни малого, есть только нормально типичное и уклоняющееся более или менее от нормы, в силу случайных нарушений общих законов общественного развития. Поэтому и на социальной истории Израиля мы должны остановиться с тем же вниманием, какое мы уделяем другим, более крупным, народам древнего и нового мира, хотя количественно Израиль со многими из них совершенно несоизмерим. Наличие же в изучении истории Израиля целого леса недоразумений, увлечений и, скажем прямо, стремлений к оригинальничанью налагает на историка общества обязанность показать, что история Израиля не выходит из ряда обычных исторических индивидуальностей и подчинена общим законам общественного развития. Показать это можно и должно с двух сторон. Во-первых, мы должны остановиться на внутренней истории Израиля и показать, что его социальное развитие прошло через те-же этапы, чрез которые обычно проходит история всякого общественного соединения. Во-вторых, мы должны рассмотреть историю Израиля в связи с международной, хозяйственной и культурной жизнью той эпохи, и путем определения его места и роли среди других общественных единиц древнего востока, с ним связанных, определить степень самостоятельности и оригинальности его культуры. Только таким путем возможно составить об'ективное представление о всех сторонах истории Израиля и учесть правильность или неправильность утверждений богословов и панвавилонистов.

Задача эта новая и нелегкая. С одной стороны, ее затрудняет самый характер материала. Библейская литература в ее современном виде является плодом крайне тенденциозной переработки с точки зрения определенного церковно-религиозного мировоззрения. Редакторы ее ставили себе задачею доказательство правильности своей точки зрения путем тенденциозного подбора исторических факторов, доходившего в иных случаях до их фальсификации, и интересовались более всего сакральным законодательством и событиями церковной и внешней истории. В таком материале факты, касающиеся социальной истории, могут быть собраны только по крохам, из мелких обмолвок и случайно уцелевших обрывков первоначальной традиции в исторических книгах; несколько больше интересующего нас материала найдется у пророков, главным образом у Амоса, Осии, Исаии и Иеремии, но и там этот материал не всегда надежен, так как страдает слишком общим и отрывочным характером и изобилует всеми недостатками, свойственными страстной партийной полемике. С другой стороны, этот скудный материал чрезвычайно мало разработан. Среди необозримого моря литературы, вышедшей из-под пера различных исследователей истории Израиля, мы имеем только две-три тощих брошюрки о социальных отношениях израильтян [1], несколько глав об общественном быте различных эпох в последнем издании исторического труда Киттеля [2] и несколько страниц самого об-

---

1) Ср. напр. Buhl, Die socialen Verhaltnissen der Israeliten (есть русский перевод в сообщениях Православного Палестинского Общества, 1908—1909): Zöhr, Socialismus und Individualismus im Alten Testament.

2) R. Kuttel, Heschichte des Volkes Israel, II. Auflage, два тома; работа эта положена в основу I тома „Истории еврейского народа", изд. т-ва „Mip".

щего характера у Каутского [1]), рабски воспринимающего взгляды богословов. О какой-либо серьезной разработке материала, касающегося социальных отношений, в упомянутых брошюрах и в истории Киттеля вряд ли приходится говорить. Буль дает очень добросовестную выборку материала из соответствующих цитат, расположенных по самым элементарным категориям: семья, рабство, землевладение, суд, гражданское и уголовное право и т. д.; Киттель считает своим долгом дать характеристику общественных и политических отношений каждой эпохи также путем механического подбора соответствующих цитат, лишь слегка разбавленых обычными малосодержательными фразами, типичными для всякого немецкого рядового историка. Ни у Буля, ни у Киттеля мы не видим никакой попытки обобщить и осмыслить этот материал, осветить его сравнительно-историческим изучением и проследить хотя бы самым грубым образом социальную эволюцию; и, конечно, богословы совершенно неспособны что-либо подобное сделать. Надо при этом заметить, что и выборка материала при всей ее добросовестности, далеко не исчерпывающая. Не имея никакого понятия даже о том, что такое социализм (социализм в представлении одного бреславского профессора теологии сводится к солидарности семьи, городской общины и народа!), [2]) богословы не могли, конечно, в целом ряде мелких, случайных замечаний исторических и пророческих книг усмотреть любопытные намеки и даже прямые указания на те или иные социальные явления, в то время как историк общества сразу оценил бы подобные указания, как самый драгоценный материал. Единственное ценное явление на этом безотрадном фоне—это работа Адальберта Меркса, анализирующая право Пятикнижия и его эволюцию. [3]) Но работа эта носит по преимуществу юридический характер, и давая любопытные контуры эволюции различных институтов права, она очень слабо связывает эру эволюцию с общим развитием социальных отношений древняго Израиля.

Указанными трудностями определяется характер настоящего экскурса. Для первого опыта он касается только внутренних отношений древнего Израиля, именно феодальных элементов древне-израильского строя. Характеристике этих элементов должны предшествовать замечания о первоначальном общинно-родовом быте, замечания краткие, ибо эпоха господства родовых отношений является одною из самых темных, и при исследовании ее невозможно обойтись без реставрации первобытной религии израильских племен; но эта задача, требующая детального и кропотливого исследования, сопряженного с многочисленными лингвистическими экскурсами, должна быть задачею особого очерка. Здесь придется только констатировать элементы общинно-родового быта, продолжающие жить и в феодальную эпоху; подробная же характеристика будет дана только для эпохи феодальных отношений. Но при этом моя характеристика не будет претендовать на исчерпывающую полноту. Есть многие вопросы, касающиеся этой области, недостаточно ясные; таковы, например, вопросы об иммунитете и коммендации. Быть может, когда-либо и явится возможность так или иначе обосновать существование и этих элементов феодализма в Израиле, но при современ-

---

[1]) Der Ursprung des Christentums. S. 184—230 (есть русский перевод под заглавием „Античный мир, иудейство и христианство").

[2]) Löhr, op. cit.

[3]) A. Merx, Die Bücher Moses und Josua (в серии Religionsgeschichtliche Volksbücher) Из работ юридического характера следут указать еще: D. H. Müller, Die Gesetze Hammurabis und ihr Verhaltniss zur mosaischen Gesetzgebung sowie zu den XII Tateln—сравнительно-юридическая работа.

ном состоянии критики библейского текста и при отсутствии другого рода источников приходится в настоящее время от этой задача отказаться. Таким образом, то, что я предлагаю в настоящей статье, до известной степени есть еще предварительное розыскание, пробелы которого должны быть пополнены будущими исследованиие.

Как известно, сыны Израилля не были аутохтонами в Палестине; в течение более или менее значительного промежутка времени израильские племена завоевывали эту страну, и в ней спустя полтора—два века после завоевания сложились два израильских государства. До израильского завоевания Палестина была конгломератом отдельных мелких княжеств, об'единявшихся лишь временно под давлением внешней силы, или подчинением египетским фараонам, или подчинением хеттским царям; всего в ней насчитывалось в ту эпоху около сорока местных князьков, если доверять библейским данным. [1]) Несомненно, что эти князьки были потомками тех „царей“, переписка которых с египетскими фараонами была открыта в Эль-Амаринс. [2]) Не вдаваясь в подробную характеристику до израильских отношений в Палестине можно сказать только что повидимому строй этих отношений был чисто феодальный: между местными князьями и египетским фараоном существовали отношения вассалов по отношению к севьеру, самый же характер службы князьков достаточно уясняется из них обязанности оборонять страну от степных кочевников и из военного устройства древнеханаанских городов. Последнее в особенности важно: после раскопок на месте Гезера, Таанаха, Мегидло и некоторых других городов уже не может быть сомнения в полной аналогии их со средневековыми бургами. [3]) Резко выраженный военный характер поселений и власти, быть может, и об'ясняется именно борьбою с израильскими племенами и другими родственными им кочевниками Аравийской пустыни, заставившими своими нападениями всю страну стать на военное положение. Но все усилия обороны были разбиты стихийными волнами кочевников, напиравших на Ханаан из пустыни; когда они, взяв передовой оплот Ханаана на Иордане, Иерихон, разлились по всей стране, в социальных отношениях произошел быстрый и резкий поворот.

Израильские племена, вторгшиеся в Ханаан, жили строгим родовым строем. Мы не в состоянии теперь восстановить этот строй в деталях, но основные его черты для нас ясны. От древнейшего патриархата почти не осталось следов; семья и род организованы на строго патриархальном принципе. Власть находится в руках старейшины, zagen или rosch beth'aboth; собрание родовых старейшин имеет решающее

---

[1]) Ср. перечисление в кн. Иошуа (Иисуса Навина) XII.

[2]) Переписка эта издана в настоящее время целиком в транскрипции и с немецким переводом E. Knudzon'om, Die El.-Amazna Tafein (в серии Vordreasiatischa Bibliothek).

[3]) Общий обзор раскопок и добытых материалов с их классификацией и описанием у Vincenst, Canaan; в последнее время вышло исследование, касающееся специально вопроса о характере и технике укреплений на древнем востоке, начиная с III тысячелетия до Р. Х., в издании Ausgrabungen der Deutschen Orientsgeselschaft: Die Festungswerke.

значение для союза родов, так называемого *колена* или племени [1]) Под начальством племенных вождей каждое колено завоевывало себе область, которая затем разделялась между родами в общинное владение; [2]) пережитки общинно-родового владения сохранялись до самого последнего момента независимого существования израильских племен в обязанности каждого сельчанина, продающего землю, прежде всего предлагать ее к покупке родственникам, [3]) а также в праве родственников участвовать в переделах земли, хотя бы они и не жили постоянно в деревне и не занимались земледельческим трудом. [4]) Расселившись по земле Ханаанской, израильские колена перешли от оседлости к земледелию; но процесс завоевания и расселения не прошел бесследно для родовой организации. За время войн выдвинулась уже аристократия, лучшие люди из среды родовых старейшин; это уже не dzeqenim—„старцы", но śarim—господа, князья. Эти sarim, несомненно, все еще отпрыски кровной родовой аристократии, сели в городах и управляют ими; мы встречаем их в Суккоте (Суд. 8,14), в Сихеме (Исх. 9,1). С другой стороны, неравенство возникало и в общественных низах. Рядовые члены родов становились в положение постоянного подданства по отношению к родовой аристократии, возводившей обычно свое начало к общему родоначальнику (Суд. 9, 28); но они еще оставались свободными, в то время как рядом с ними завоевание поставило и зависимых порабощенных людей.В такое положение попали жители некоторых ханаанских округов, не поладившие сразу с завоевателями: жители Гезера были обложены вечной барщиной в пользу сынов Ефрема (Иис. Нав., 16, 10), жители некоторых других округов были обложены в пользу завоевателей данью. [5]) По обычному правилу, мелкие свободные члены израильских родов должны были равняться по условиям быта худшим, а не лучшим категориям населения; и это постепенное уравнение мелкого израильтятина, *служащего* потомству родовых вождей, с покоренным ханаанеем, *работающим принудительно* на победителя, особенно ярко выразилось в языке; глагол 'abad одинаково означает и служить, и работать, и быть рабом. С другой стороны, с

---

[1]) Терминология библейских книг весьма колеблющаяся и непостоянная—верный признак того, что в эпоху окончательного редактирования произведений древнеизраильской литературы родовые отношения находились уже в состоянии полного разложения. Род называется или mischpacha, или более образным и, вероятно, более древним выражением beth aboth—„дом отцов"; колено носит наименование или schebet, или (в так наз. жреческом кодексе)—matte: тот и другой термин в первоначальном значении являются наименованием отпрыска, палки, жезла, причем schebet специально применяется к пастушескому посоху и скипетру государя. Очевидно, что эти термины переносные и более поздние; более ранним термином был, по аналогии с bethaboth термин beth в соединении с наименованием колена—beth Jsrael, beth Jehuda, beth Ja'aqob и др. О старейшинах ср. Исх 3, 16; Второз., 15 Суд. 11, 5 и сл. I Сам.. 4, 3; 30, 26; II Сам. 5, 3.

[2]) Ср. в рассказе о разделе земли Ханаанской между израильскими коленами выражение: удел сынов такого-то по родам их, mischpechotham (Иис. Нав., 15, 1, 20, 16, 58; 17, 2 и т. д).

[3]) Ср. Иерем. 32, 7—10; также Руфь, 4,9. Право называлось mischpat hagge-'ulla.

4) Этот обычай не может быть, впрочем, доказан с такою же очевидностью так как единственное место, говорящее о нем, Иерем 37, 12, испорчено и требует восстановления при помощи конъектур. Существование переделов и разделов очевидно из Мих. 2, 5 и 16, 6.

[5]) Суд. I, 30—Китрон и Нахалол обязаны данью Завулону, I, 31 (по LXX)—жители Акко—Асиру; I, 32—жители Бет-Шемеша и Бет-Аната—Неффалиму.

течением времени израильские общины стали принимать к себе и чужаков, gerim, из среды хананеев. Все эти условия ослабляли прежнюю родовую сплоченность и выдвигали новые формы социальных отношений. Но главное значение для процесса распада родовых связей и развития феодализации имели непрерывные войны с соседними племенами, пытавшимися перебить у сынов Израиля „землю, текущую молоком и медом". Эти войны чрезвычайно ускорили процесс феодализации и придали ему в некоторых отношениях типический характер. Войны выдвигают вождей, так называемых судей, schophetim; выходя обычно из среды племени, подвергшегося нападению, удачливый вождь, в роде Гедеона-Иероваала, захватывал власть над соседними округами и сажал там своих наместников, совершенно чуждых по крови и по родству местному населению; судья иногда становился царем. (Ср. Суд 8--9). Правда, эти первые попытки имели лишь кратковременный успех; но напор главного врага Израиля, филистимлян, не прекращался, и в связи с ним неудержимо идет процесс феодализации, параллельно с окончательным оформлением и установлением царской власти. К началу правления Соломона от старых родовых учреждений остаются лишь некоторые институты, имеющие местное значение, главным образом в области культа; политические и социальные отношения приобретают уже строго выраженный феодальный характер. Наиболее цельную и яркую характеристику процесса феодализации и сущности феодального управления и хозяйства в древнем Израиле мы имеем в чрезвычайно характерном памфлете, вставленном в начало I книги Самуила. Начало этой книги рассказывает о возникновении царской власти Самуила; впоследствии, несколько веков спустя после воцарения Саула, в эпоху жестокой борьбы царской власти со старой жреческой знатью, из ее среды вышел целый ряд памфлетов, которые можно было бы поставить наряду с памфлетами монархомахов. Установление царской власти изображается тут богопротивным делом, а права царя изобличаются, как нарушение первобытных равенства и вольностей. В интересующем нас памфлете жрец-прозорливец Самуил уговаривает ослепленный примером соседей народ не выбирать царя и стращает его изложением тех прав, которые, согласно откровению Иагве, присвоит себе царь. Изложение этих прав довольно об'ективное, но оно, конечно, страдает искажением исторической перспективы: оно дает тот итог, который получился в результате долгого процесса феодализации. Так как в этом изложении прав суммированы почти все элементы феодализма, то я считаю необходимым привести его целиком, тем более, что ни один из ветхозаветников им не воспользовался и не вдумался достаточно в его смысл[1]); на отдельные его элементы мне потом придется постоянно ссылаться. Изложение прав царя гласит (I Сам., 8, 11—17): „Вот право царя, который воцарится над вами: сыновей ваших возьмет он и посадит к себе на колесницу свою и на коней своих, и будут бежать они перед колесницей его...[2]); (возьмет их), чтобы пахали они пашню его и жали жатву его и делали орудия для войны его и орудия для колесницы его; и дочерей ваших возьмет он, чтобы готовили они масти, варили и жарили; лучшие поля ваши, и виноградники ваши, и масличные поля ваши возь-

---

[1]) Буль (op. cit., S. 18—19) приводит этот документ только для того, чтобы характеризовать „мрачную картину" (das dustere Bild) царствования Соломона. Не сумел оценить его и Benzinger (Hebr. Arch., II. Aufl., S. 259, Anm.).

[2]) Начало ст. 12 („чтобы поставить их начальниками над тысячами и пятидесятиначальниками") разрывает естественную связь контекста между ст. 11 и второй половиной 12 стиха; или это позднейшая вставка, или оно переставлено сюда по ошибке из ст. 14.

мет он и отдаст слугам своим, (чтобы поставить их начальниками над тысячами и пятидесятиначальниками); и с посевов ваших и виноградников ваших будет брать десятину он и даст ее[1]) евнухам своим и слугам своим; рабов ваших и рабынь ваших, лучших быков ваших[2]) и ослов ваших возьмет он и употребит на работу свою; десятую голову из овец ваших (будет брать он); а сами вы будете рабами его".

Нет нужды доказывать, что право царя, изложенное в приведенном памфлете, есть право именно феодального государя. Памфлет с замечательной простотой и ясностью показывает, что в сознании его составителя, отражавшем, конечно, общую точку зрения его эпохи, управление государством представлялось в виде управления вотчинного: на первом плане фигурируют права царя, как вотчинника—право на царскую барщину, право на оброк, право, наконец, на ограничение свободы рабочих людей. Анализируя содержание памфлета более детальным образом, мы видим ясное подразделение барщины: на сельско-хозяйственную, ремесленную, дворцовую; есть намеки и на барщину строительную, если под орудиями для войны разуметь сооружение укреплений. Но вместе с тем достаточно ясно выдвигается и другая сторона феодального царского права: право на землю и на службу, связанную с пожалованием земли; с другой стороны, рядом с моментом чисто-хозяйственным, памфлет выдвигает и момент военный, столь типичный для феодальной эпохи, и, не обинуясь, ставит их рядом: пахать пашню и жать жатву—два важнейших члена хозяйственной барщины, и сейчас же за ними два важнейших члена ремесленной барщины: делать орудия для колесниц и делать орудия для войны. Параллелизм замечательно точный и многознаменательный: это—не риторический прием, но отзвук жизненной повседневной практики, творившей права и обязанности.

Таково первое, самое общее заключение, на которое наводит содержание памфлета. Исследуя его по частям и привлекая при этом все другие замечания библейской традиции, так или иначе освещающие интересующий нас вопрос, мы получим довольно полную характеристику феодальных отношений. Первое, на что мы должны обратить внимание при нашем исследовании, это—процесс окняжения земельной собственности, превращения ее из свободной, аллодиальной, выражаясь западной терминологией, в землю, связанную феодальной службой и повинностями и переходящую в суверенное владение царя. „Лучшие поля и виноградники" переходят во владение царя, а он в свою очередь, передает их своим слугам, именно, военным слугам, тысяченачальникам и пятидесятиначальникам. Последнее можно подтвердить из другого места той-же I кн. Самуила (22,7): „или сын Иессея (т. е. Давид) дал всем вам поля и виноградники и поставил вас тысяченачальниками и сотниками, что вы все сговорились против меня?"—упрекает Саул своих дружинников: он, царь и сеньер, раздавал земли, а не его раб Давид, сторону которого готовы тянуть слуги Саула. Став царем, Давид раздает земли уже и сам: он отдает внуку Саула, калеке Мериваалу „все, что было у Саула и во всем доме его" (II Сам. 9, 9); и дальше (ст. 10) сейчас же об'ясняется, что под владением Саула и дома его прежде всего разумеется земля (adama), с которой Мериваал будет „есть хлеб свой". Впоследствии Давид, разгневавшись на Мериваала, передал его лен слуге его Циба (II Сам. 16, 3). К какому времени относится начало этого процесса феодализации земельной собственности, трудно ска-

---

[1]) Т. е., право собирать десятину.

[2]) В оригинале bachurthem—„юношей ваших". ZXX дают, несомненно, более правильное чтение: га Borkôma—begarekhem.

зать с полной определенностью. Можно только отметить, что когда установилась прочная царская власть, сеньериальное право уже существовало; раньше царей его проводили местные князьки, в роде Авимелеха, избранного царем в Сихеме и отдавшего этот город в ленное владение своему дружиннику Зевулу[1]), или в роде филистимского князька Ахиса, давшего в лен Давиду город Циклаг.[2]) Окняжение свободных прежде земель сопровождалось постепенным образованием новой феодальной аристократии, отчасти ставшей рядом со старой родовой знатью, отчасти заменившей ее. Как и в эпоху европейского средневековья, среди феодальной аристократии различаются два разряда: военно-дворцовой аристократии и жреческой аристократии. Военно-дворцовая аристократия включила в свой состав гораздо больше новых людей, выдвинувшихся службой во время беспрерывных войн эпохи Саула, Давида и Соломона, чем аристократия жреческая, в составе которой до самого последняго момента независимого существования царства Давида старые фамилии сохраняли первенствующее значение. Среди военных и служилых людей эпохи Давида и Соломона мы встречаем таких представителей старых родов, как некий сын Гура, наместник Ефрема при Соломоне (I Цар., 4, 8), происходивший, по всей вероятности, из старой вифлеемской фамилии,[3]) или другой такой же областной наместник некий сын Рехава[4]), из иудейского рода рехавитов, или Шим'и, сын Элы, из калебитского рода[5]); но, конечно, главное ядро старых фамилий составляли представители местной знати, „князья Иуды и Израиля". Рядом с ними стоят homines novi, люди, вышедшие из царской дружины и свиты, иногда даже иностранцы, как дружинники Саула и Давида эдомитянин Доэг (I Сам. 21, 8), аммонитянин Целек (II Сам. 23, 37), хеттеянин Урия (II Сам. 23, 39). Численное соотношение того и другого составного элемента новой аристократии мы, конечно, восстановить не можем, так как лишь немногие фамилии могут быть прослежены по более или менее надежным генеалогиям; но с достаточной вероятностью можно утверждать, что на дворцовой службе и на ответственных постах областного управления преобладали более надежные новые люди, со стороны которых цари могли не так опасаться измены или предательства, как со стороны местной владельческой аристократии.

По своему положению на иерархической феодальной лестнице военная аристократия может быть разделена на два крупных разряда. Низший, наиболее многочисленный разряд составляли так называемые gibbore chajil, „витязи воинства", соответственно „доблестным рыцарям" средневековья. Судя по тому, что численность этих gibbore chajil определяется, правда, не вполне надежно, для эпохи конца царства Ефрема в 60.000 (II Цар., 15, 19—20), а для эпохи конца иудейского царства—в 10.000 (II Цар. 24, 14), можно признать, что это был мелкий вассалитет, составлявший ядро тех дружин, которые обязаны были приводить с собою крупные вассалы. Но сверх того, можно указать и известное бытовое различие. Уже в самую раннюю эпоху под-

---

1) Суд. 9, 28. 30. 41.

2) I Сам. 27. 5—6. Давид приходит к Ахису с дружиной в 600 человек.

3) Ср. генеалогические данные в I Хрон. 2, 2. 4. 5. 18. 19, которыя Sanda (Die Bücher der Könige übersetzt und erklärt, I, S. 73—74) считает возможным отнести к этому наместнику.

4) Цар. 4, 9; оригинал гласит ben Deqer, но лучшие кодексы LXX (B и L) дают чтение Rhechab, Rhechal cp. Sända, op. c., S. 74).

5) I Цар. 4, 18; ср. I Хрон. 4, 15; Sanda, op. c., S. 84.

готовки феодализма, еще до возникновения царской власти, в Ханаане существуют два типа укрепленных поселений, сохраняющиеся, по-видимому, вплоть до конца царской эпохи. Во первых, так называемый ‘ir‘ir mibezar, то, что обычно переводится в Библии термином „город“, „укрепленный город“. Для XI—X веков это не что иное, как большой замок, бург, окруженный рвом и толстыми стенами с башнями, куда скрывается окрестное население в случае неприятельского нападения. Такими типичными бургами были в эпоху судей Сихем и Тебец (Суд., 9, 46—47. 49, 51); в том и другом городе в центре были еще особые башни, соответствующие „donjon‘у средневековых замков: они были сильно укреплены (migdal ‘odz) и служили последним прибежищем осажденных (Суд., loc. cit. 7); кругом города шла обычно стена, в свою очередь укрепленния башнями.[1]) Но, в полном соответствии с западно-европейским феодальным бытом, башня встречается в Ханаане и как самостоятельное укрепленное поселение. Так, в эпоху Судей, Пенуэль называется то ir, то migdal (Суд. 8, 9, 17); Иудейский царь Иотам строил в горах Иуды города (‘arim), а в лесах—башни (migdelim) [2]); при Давиде города, деревни и *башни* имели особых начальников над запасами, хранившимися в этих поселениях [3]). Но характернее всего выражение II Цар. 17, 9: „строили (сыны Израиля) высоты во всех городах своих, от сторожевой башни до укрепленного города“ (bekol ‘arêhem mimmigdal nozerim ‘ad‘ir ‘mibezar). Но если владельцем города, ‘ir, мог быть только царь или князь, то владельцем башни мог быть только воин низшего ранга; для Израиля это и будет gibbor chajil.

Князья, Sarim, стоявшие на верхней ступеньке феодальной лестницы, разделялись по общему феодальному шаблону на сановников местной и сановников дворцовой службы. На это указывают, прежде всего, замечания книг Самуила и Царей относительно служебного положения тех или иных определенных лиц; но характернее всего то обстоятельство, что такое разделение произвел и сам автор I кн. Царей, описывая управление и двор царя Соломона (I Цар. 4—5, 8). При всех недостатках этого описания [4]), оно все таки является почти

---

[1]) Такой же характер носил и Сион, новая резиденция Давида: это была ханаанская крепость. mezuda поселившись в ней, Давид называет ее „городом Давида“—‘ir Dawid (II Сам., 5, 7—9. Только впоследствии, в VIII—VII в. в. вырастают под стенами этих бургов торгово-промышленные слободы, и старинная, укрепленная часть города получает техническое наименование millô (греч. akropolis, наш кремль)—ср. II Сам. 5, 9; I Цар. 9, 15, 24; 11, 27; I Хрон. 11, 8; II Хрон. 32, 5; Суд. 9, 6. 20.

[2]) II Хрон. 27, 4. Известие почерпнуто хронистом из одного из его источников и потому может считаться более или менее надежным. Стоящий перед migdelim термин biranijôtt—синоним для migdelim; это позднее речение, персидской эпохи и поставлено здесь либо хронистом, либо его позднейшим читателем в качестве об‘яснительной глоссы к migdelim.

[3]) I Хрон., 27, 25; известие также принадлежит какому - то источнику хрониста и за надежность его говорит такое старинное поэтическое выражение, как kepharim—деревни. Слово встречается еще только в *Песне Песней*; присутствие его является верным признаком того, что заметка I Хрон. 27, 25 заимствована из такой же полулегендарной-полупоэтической традиции о Давиде, какая обработана в книгах Самуила.

[4]) Текст его, как вообще всей I кн. Царей, очень плохо сохранился: так, в ст. 8, 9, 10 и 13 гл. 4 выпали личные имена наместников; далее, сличение с LXX показывает, как мы увидим ниже, что выпало несколько важных для смысла выражений и местами совершенно переиначены собственные имена. С другой стороны, автор сильно повредил своему описанию неимоверными преувеличениями и пристрастием к круглым священным числам.

единственной в своем роде и наиболее полной характеристикой положения высшей феодальной знати и ее отношений к царю и с известными оговорками может быть принята и для предшествующей Соломону и для последующей эпохи. Высшие придворные сановники названы тут šarim (I Цар, 4, 2); высшие областные сановники—nizabim—наместники; но как явствует из I Цар. 20, 14 и II Цар. 10, 1, тот-же титул šarim присвоивался также областным и городским наместникам, в полном соответствии с более ранним словоупотреблением (ср. напр. Суд., 8, 16; 5, 15), так что точнее было бы назвать их Šarim hannizabim—князья—наместники. В списке Соломоновых наместников их насчитывается двенадцать—число, конечно, круглое, принятое по системе священных чисел [1]). Наместники и их владения перечислены поименно; тут характернее всего разделение между ними областей. Они получили в управление по большей части не старинные племенные области, но округа, составленные из кусков различных племенных областей. Именно, только пять из них получили области, занятые определенным коленом; при этом трое из последних управляли областями отдаленных от Иуды колен (Неффалимом, Асиром и Иссахаром), имевших вообще второстепенное значение, один управлял соседним с Иудой ничтожным коленом Вениамином и только один имел в управлении такую важную племенную область, как „горы Ефрема". Тут сказывается обычное для моментов усиления царской власти стремление парализовать центральные силы, таящиеся в партикуляризме издавна сложившихся областей, назначением наместников из центра и перетасовкой старых областей; исключения допущены или по отношению к второстепенным и потому неопасным коленам, или по отношению к таким коленам, насильственное разделение которых могло бы повести к еще более горшим неприятностям, чем обычные проявления партикуляризма. Таковы колено Вениаминово, близко родственное Иуде и составлявшее известную опору для иерусалимского царя, и колено Ефремово, уже тогда слишком сильное для того, чтобы Соломон мог разделить его на части по своему произволу. [2])

Обязанности наместников изложены довольно односторонне и, несомненно, неполно. Само собою разумеется неупомянутая обязанность военной службы, которая, как мы видели из изложения прав царя в I кн. Самуила, являлась первым условием ленного владения. Но за то описание I кн. Царей существенным образом дополняет изложение прав царя, давая при этом чрезвычайно характерные для феодального быта подробности. „Они содержали",—говорит I Цар. 4, 7: „царя Соломона и дом его [3]); месяц в году полагалось каждому давать содержание"; и далее, I Цар. 5, 8: „и ячмень и солому для лошадей (для колесниц) и верховых коней доставляли они на место, где бывал царь [4]), каждый в свою очередь". Тут соединены воедино две различ-

---

[1]) Иуда, напр., отсутствует в списке, между тем, как над этой главнейшею областью также был наместник. (ср. II Хрон. 19, 11—nagid lebeth Jehuda—князь дома Иудина).

[2]) При невозможности установить местоположение некоторых из названных в списке местностей и при спорности местоположения некоторых других, нельзя расшиффровать точно и уверенно по племенной принадлежности области, доставшиеся остальным семи наместникам. Поэтому, комментаторы сильно расходятся. Ср. Sanda, op. cit., I. 86. и Alt, Israels Gaue unter Salomo.

[3]) I Цар. 5, 7 дает вариант: „царя Соломона и всех, кто приближен был к столу царя".

[4]) В оригинале подлежащее отсутствует и восполняется по LXX—basileus.

ные обязанности вассалов, которые на европейском западе резко разграничивались: обязанность делиться с сеньером доходами и обязанность содержать сеньера и его свиту на походах и переездах. По первому пункту дело изображено так, как будто размер участия царя в доходах наместников точно не определялся, но наместники должны были удовлетворять требования царя по его фактическим потребностям. Однако, эти потребности тут же (I Цар., 5, 2—3) определяются в таких преувеличенных цыфрах, что вряд ли какой либо наместник мог фактически удовлетворить хотя бы даже десятую долю этих колоссальных расходов [1]). С другой стороны, как мы увидим дальше, феодальные отношения в Израиле определялись точным и ясным договором; и, конечно, такой важный пункт, как доля участия царя в доходах наместников, должен был иметь точное фиксирование в договоре о службе. Если исходить из данного места I кн. Царей, то царская доля будет равняться $1/_{12}$, но на самом деле вряд ли так было, ибо схема священных круглых чисел наброшена здесь совершенно искусственно, в качестве литературного приема, и совершенно не соответствует всей многовековой практике израильско-иудейского тягла. В этом последнем господствует во все века и во всех разрядах податей десятина; как мы видели, та-же десятина указана и в изложения прав царя кн. Самуила. В свою очередь, пошлинные права князей, как показывает то - же изложение, также сводились ко взиманию десятины („и даст десятину евнухам своим и слугам своим"). По второму пункту, обязанности вассалов содержать сеньера и его свиту во время переездов, мы имеем указание только на обязанность доставлять фураж для лошадей. Обязанность эта выдвигается на первый план потому, что конные отряды (на колесницах) составляли главную боевую силу всякой армии на востоке в эпоху Соломона; обязанность содержать самого царя и его свиту здесь особо не указывается, но подразумевается implicite, из пункта первого.

Таковы обязанности сановников местной службы; менее ясен вопрос о их правах. Кроме права на десятину, они несомненно, в известной степени обладали также и юрисдикцией. В особенности это надо сказать по отношению к старой родовой знати: она цепко держалась за свои старинные судебные права, и в эпоху разложения феодализма, когда против ее юрисдикции поднялось с одной стороны мощное пророческое движение, а с другой—царская юрисдикция и юрисдикция царских чиновников-судей, родовая знать пыталась защитить свои судебные права ссылкой на их богоустановленность, еще в пустыне, чрез Моисея (ср. Исх. 18,19 и сл., Второз., 1, 15 и сл.; Числ. 11, 16 и сл). Однако, определенных и точных сведений по этому вопросу библейская традиция не дает. От первобытного права кровной мести, существовавшего еше при Давиде (II Сам., 14,7), и первобытного совмещения в лице родовладыки функций военноначальника, судьи и жреца (ср. напр. историю Гедеона в кн. Судей), традиция прямо перескакивает к формальной судебной царской организации при Иосафате (II Хрон., 19,11) и при Иосии (Второз., 16,18), оставляя нас в неведении относительно всей эволюции судебных отношений за четыре века от эпохи судей до конца иудейского царства.

Дворцевые sarim перечисляются трижды: два раза в описании царствования Давида (II Сам. 8, 16—18 и 20, 23—26) и в цитирован-

---

[1]) По исчислению Sanda (op. cit., S. 93), количества хлеба, указанного в I Цар., 5, 2—3 хватило бы ежедневно на 32.000 человек, а мяса—на 21.000 человек; очевидно, что мы имеем здесь дело с цифрами, совершенно фантастическими.

ном уже списке сановников Соломона (I Цар., 4, 2—6). Различия между списками носят второстепенный характер [1]), и в главном они совпадают, заключая в себе типичных, необходимых представителей всякой феодальной курии. Тут мы встречаем придворных жрецов. играющих в то-же время роль гадателей и прозорливцев, писцов, (при Давиде—одного, при Соломоне—двух), начальника над войском, соответствующего меровингскому палатному меру, начальника личной царской стражи, начальника над наместниками, дворецкого, заведующего дворцом (al habbajit), начальника над царской барщиной и, наконец, двух сановников, о которых придется говорится особо: так наз. madzkir'a и re'eh hammelekh. Madzkir—буквально „напоминатель"; так и переводят этот термин LXX hypomimneskon в B, anamimneskon—в A). Мнения комментаторов по вопросу о характере этой должности несколько расходятся вследствие неопределенности самого термина. Это был, во всяком случае, один из главнейших сановников; в позднейшую эпоху ему, совместно с дворецким, поручались важнейшие дипломатические переговоры (II Цар.,18, 17). Ближайшим же образом его функции надо, вероятно, определять, как функции личного царского секретаря, „напоминающего", т. е. докладывающего царю о делах [2]); он же, вероятно, был также хранителем царской печати и заведывал архивом царских дел [3]). При таком определении характера должности madzkir'a, он ближе всего подойдет к средневековому канцлеру [4]) Re'eh hammelekh—буквально значит „друг царя". Это звание существовало не только при иерусалимском дворе; носитель его упоминается при царьке филистимского горо-

---

[1]) Списки сановников Давида относятся к двум разным эпохам его царствования; поэтому они расходятся в личных именах, и сверх того, в позднейшем списке (20, 23—26) фигурирует уже начальник над царской барщиной, отсутствующий в первом списке. Список сановников Соломона содержит, как и следует ожидать от еще более поздней эпохи, двух писцов вместо одного при Давиде, и начальника над наместниками, которого в эпоху Давида еще не было. Но за то в списке эпохи Соломона помечен один жрец вместо трех (Садок и Авиафар из ст. 4 должны быть исключены—это позднейшая вставка, отсутствующая у LXX и выдающая себя тем, что если бы Садок был жив, в это время он должен был бы фигурировать на первом месте вместо своего сына Азарии в ст. 2, и тем, что опальный Авиафат, еле спасшийся от казни в начале царствования Соломона —I Цар. 2,26,—был сослан в Анатот и никак не мог фигурировать наряду с Садокидами) Это об'ясняется вероятно тем, что при Соломоне был выстроен храм, первый жрец которого занял выдающееся положение среди остальных царских жрецов, число которых, вероятно сильно возросло; при Давиде-же было сначала только два, а потом три жреца, все более или менее равные по положению, почему они и перечисляются поименно.

[2]) Так понимают: Gesenius-Buhl, Hadwörterb., 15. Aufl., S 196; Stade, Wörterb, S 173: Benzinger Hebraische Archäologie II tufl S 258; Baentsch, Dawid und sein Zeitalter. S 150: Sanda склоняется к тому, что mazkir был придворным историографом (ор. с. т., 66—67) но к этому взгляду вряд ли можно присоединиться. По Kitlel'ю („Ист. евр. нар.". I, 316) madzkir был и секретарем, и историографом.

[3]) Baentsch (op. cit S. 150), напротив, считает, что хранителем царской печати был писец. Это могло быть при Давиде, в начале его царствования, но никак ни при Соломоне, когда канцелярия разрослась, и функции неминуемо должны были распределиться более строго по иерархической лестнице.

[4]) Kamphausen (в 3 изд. перевода Ветхого Завета Kayra) так и переводит—Kanzler.

да Герара Абимелеке (Быт. 26,26),[1] а при дворе египетского фараона это звание существовало со времен древнего царства и до конца египетской самостоятельности.[2]) Труднее установить, было ли оно сопряжено с отправлением определенных функций, или это был только почетный титул, присвоивавшийся различным сановникам в знак особенной царской милости. В Египте имело место последнее: в звании „друга царя“, „возлюбленного друга царя“ мы встречаем и казначеев, и жрецов, и наместников; в особенности часто это звание давалось сыновьям царя. Относительно израильского „друга царя“ по этому вопросу нет определенных данных. Бенцингер склоняется к тому, что это была определенная должность, именно, царского оруженосца, называемого иногда таким же общим именем, как и re‘eh hammelekh,—‘ebed hammelekh [3]). Мне думается, что отожествление, предлагаемое Бенцингером, совершенно произвольно; но весьма вероятно, что звание „друга царя“ при иерусалимском дворе могло быть не только почетным титулом, но и определенною должностью. Наряду с египетскими параллелями, можно привести также более поздние европейские параллели: раннее средневековье знает самостоятельное звание conviva regis [4]); оно восходит, вероятно, к званию „друзей императора“, существовавшему в императорском Риме и сначала имевшему личный характер, а затем сделавшемуся официальной должностью [5]). В итоге приходится признать, что от звания „друга царя“ веет до известной степени восточным духом, так как к римскому императорскому двору оно могло проникнуть также с востока, а в эпоху классического феодального средневековья в Европе мы этого знания не встречаем. Но, с другой стороны, несмотря на всю колоссальную разницу во времени, географическом положении, бытовых условиях и расе, мы должны констатировать полнейшее, доходящее до отдельных выражений и наименований, совпадение „в табели о рангах“ дворца любого средневекового сеньера и іерусалимского царя X—IX в. до Р. Х. Надо полагать, что все описанные дворцовые sarim имели также и свои кормления, эксплоатируя, вероятно, подчиненных им людей; к сожалению, какие-либо сведения об этих кормлениях совершенно отсутствуют.

Вслед за этой высшей дворцовой и местной знатью идут в иерархи-

---

[1]) Есть намек на существование подобного звания в Палестине и в доизраильский период: в Эль-Амарнском архиве 288, 11 иерусалимский князь Абди-Хиба называет себя ruhi sarri; термин ruhi не ясен, но напрашивается сближение его с евр. re‘eh и египетским rh (см. след. примеч.), каковое и делает Sanda (op. cit. 68). Из ассириологов Унгнад (Altorientalische Texte und Bilder zum A. T. hrsg vou Gressmann S. 133.) переводит Bekannter des Königs, снабжая свой перевод знаком вопроса: Knudzon напротив переводит Hirt des Königs op. cif., S. 869) Schwally u Kittel в своих комментариях предлагали кон‘ектуру в этом же смысле Śokhen re‘i hammelekh —начальник пастбищ царя; но эта кон‘ектура совершенно излишняя, так как термин re‘eh встречается в истории Давида (Сам. 15, 37; 16 16). Винклер (Keilinschriften und das A. T., S. 233, Anm, 4) толкует ruhi в смысле Offizier.

[2])По египетски —rh śtn; ср. Erman, Aegypten und aegyptisches Leben im Altertum, S. 110—111.

[3]) Ср. Hebr. Arch., II Aufl. S. 258.

[4]) Lex Salica, 41, 5—6. Д. Н. Егоров в „Сборнике законодательных памятников древнего западно-европейского права“, вып. I, стр. 198, прим. 423 переводит „сотрапезник“.

[5]) Ср. Фридлендер, Картины из бытовой истории Рима, пер. пер. ред. Ѳ. Зелинского, стр. 71—73 Д. Н. Егоров (loc. cit.) подчеркивает, что звание conviva regis давалось римлянам, а не германцам, которые могли быть и дружинниками.

ческом порядке нисходящие по рангу феодальные чины, уже исключительно военной службы. И опять-таки драгоценное указание относительно рангов этих gibbore chajil дается для эпохи Соломона (I Цар. 9, 22): „(сыны Израиля)—мужи войны, слуги его—и князья (śarim) его, и подручные (schalischim) его, и начальники над колесницами его и всадниками его". Мужи войны, слуги его—общее определение совершенно в феодальном стиле; далее, чины располагаются по иерархической лестнице. На первом месте стоят уже описанные нами śarim; далее идут подручные—schalischim. Это—очень близкая к царю и важная в военном отношении должность. Собственно, schalîsch—„третий на колеснице"; по хеттскому образцу на израильской боевой колеснице действовало три воина: возница, боец и щитоносец, помогавший бойцу, который опирался на него во время боя одной рукой, чтобы сохранить равновесие. На царской колеснице бойцом был сам царь; должность же царского подручного, естественно, предоставлялась одному из ближайших царских приближенных и потому schalisch, после śarim, занимал первое место (ср. II Цар., 7, 2; 5, 18), и был как бы переходным мостом от чинов царской дворцовой службы к чинам местной военной службы. Собственно военные чины—это начальники колесниц, начальники всадников, к разряду которых надо также отнести упоминавшихся уже тысяченачальников, сотников (о последних см. II Сам. 18, I и II Цар. 11, 4) и пятидесятиначальников, и, наконец, самый мелкий вассалитет, всадников на колесницах (бойцов, возниц и щитоносцев) и всадников на конях. Суммируя воедино отрывочные указания об этих разрядах военно-служилых людей, рассеянные по разным книгам Библии, мы получаем ту же картину внедрения новой феодальной организации в старую, родовую, какую мы уже наблюдали при исследовании процесса окняжения свободных земель.

Военная организация эпохи переселения и борьбы за Ханаан очень проста: во время переселения военную силу составляют все взрослые мужчины рода от двадцатилетнего возраста[1]), выходящие в бой по родам, под начальством родовых старейшин; во время эпохи борьбы за Ханаан, когда израильтяне уже более или менее осели на новых местах, племенные вожди сзывают добровольцев-дружинников, которые и составляют войско, также организованное на родовом принципе. Так, по призыву Гедеона на борьбу с мадианитянами поднимается сначала весь род Абиезера, к которому принадлежал сам Гедеон, а затем уже и прочие роды колена Манассиина[2]). Главную силу этих родовых ополчений составляли всадники, на конях и также на ослах[3]); но были и пехотинцы[4]). Недостатки такой организации давали себя постоянно

[1]) Ср. Числ. 1, 3 и 26, 2. Цитаты относятся к так наз. жреческому кодексу; но если самый сюжет переписи военнообязанных отдает духом позднейшей эпохи, то такая деталь, как определение военно-способного возраста, несомненно, покоится на исконной традиции.

[2]) Ср. Судей, 6, 34—35. Характер добровольчества по призыву засвидетельствован также Суд. 4, 10; 7, 23—24; 1 Сам. 11, 7 и, в особенности, песнью Деборы (Суд. 5, 15—18), где в высшей степени картинно и определенно изображается военное рвение одних племен и холодное равнодушие других.

[3]) Суд. 5, 22—конное ополчение; 5, 10—всадники на ослицах. Последние не должны нас удивлять; до проникновения в Ханаан и в Месопотамию коней из Аравии, и верховым, и упряжным животным был осел. Древнейшие сумерийские вожди выезжают в бой на колесницах, запряженных ослами,—ср. изображение с глиняной таблетки у Heuzey et Thureau-Dangin, Restitution materielle de la Stèle des Vautours, p. 18.

[4]) Ср. Суд. 5, 15; операция Гедеона против мадианитян также была произведена при помощи пехоты—Суд. 7, 16 и сл.

чувствовать: сыны Израиля долгое время не в состоянии были подчинить себе весь Ханаан, так как ханаанские князья могли противопоставить родовым конным дружинам, составленным по добровольческому принципу, организованные феодальные ополчения, главную силу которых составляли отряды на железных колесницах, а опору— укрепленные замки (Суд. 1, 19); те же колесничные отряды давали и филистимлянам постоянный перевес в долголетних войнах с Израилем (I Сам. 13, 5). Отсюда, новая военная организация, естественно, должна была заимствовать у неприятелей их же оружие—колесницы и укрепленные замки. Последние отчасти переходили постепенно во владение сынов Израиля, по мере их успехов в борьбе за Ханаан, отчасти строились за-ново; традиция кн. Царей приписывает всю эту строительную деятельность, как и создание феодальной служебной организации, Соломону (I Цар. 10, 26; ср. 9, 15—19 и 5, 6), но нет никакого сомнения в том, что эта деятельность началась еще при Давиде, который вряд ли мог ограничиться основанием только своей резиденции, Сиона. Данные I кн. Царей подводят, опять-таки, тот итог, который сложился в эпоху Соломона в результате векового процесса развития.

Рассматривая этот итог, мы видим прежде всего, что на первый план выдвигаются военные чины, связанные со службой на колесницах. Это—начальники колесниц, sare rekheb; под этим термином разумеются не отдельные бойцы каждой колесницы, но начальники отрядов, состоящих из колесниц[1]); воины, непосредственно управлявшие и сражавшиеся на колесницах, назывались иначе (rakhab—возница— I Цар. 22 34; schalisch—щитоносец подручный бойца; сам боец не называется особым термином,—I Цар. 22, 34 дает просто isch). Среди начальников колесниц были также иерархические подразделения: упоминаются начальники отдельных отрядов (I Цар. 22, 32—33) и начальники соединений таких отрядов (I Цар. 16, 9—начальник над половиною царских колесниц). Рангом ниже стоят начальники всадников—конных отрядов; они, собственно, должны быть отожествлены с тысяченачальниками, сотниками и пятидесятиначальниками. В подчинении у них стоят отдельные всадники, составлявшие конные отряды; судя по преувеличенным цифрам I кн. Царей (10,26), определяющей число колесниц Соломона в 14.000 и всадников в 12.000, колесничные воины и всадники принадлежали к мелкому дворянскому вассалитету и отнюдь не набирались вообще из простых свободных людей, так как в этом последнем случае их было бы значительно больше, чем даже преувеличенные цифры кн. Царей.

Дальнейшие подробности, которые мы узнаем о положении этого вассалитета, носят типично феодальный характер. Начальники колесниц и всадников (тысяченачальники и т. д.) жили в предназначенных для них „городах“[2]); по призыву царя они должны были являться со своим вассалитетом, „отроками“—na'arim (I Цар. 20, 14—15), и тут происходило точное распределение отрядов для данного похода между явившимися чинами (ср. II Цар. 18, 1). Исключение составляли только начальники колесниц и, конечно, колесничные воины, выделенные в особый разряд царских колесничных слуг; совершенно подобно „дворянам

---

[1]) Единств. число в собирательном смысле, почти во всех случаях употребления термина в Библии.

[2]) I Цар. 10, 26: колесницы были распределены по особым „городам колесниц“, конечно, вместе с обслуживавшим их военным персоналом. Другое, прямое, указание на местный характер службы тысяченачальников и др. дает I Сам. 18, 13: когда Саул стал бояться усиления влияния Давида, он, чтобы удалить его от себя, назначил его тысяченачальником.

московским“ в отличие от „дворян городовых“, они жили в Иерусалиме, при царе (I Цар. 10, 26), очевидно, на иждивении его дворца; при этом, старшие чины, śarîm, приглашались, несомненно, к царскому столу (I Цар. 5, 7). Мелкий вассалитет, масса gibbore chajil, имел пребывание не в городах, а в башнях, отправляя в обычное, мирное время сторожевую службу. Других подробностей мы установить не можем; но и сказанного достаточно, чтобы воочию представить себе типичный феодальный характер военной организации, сложившейся к эпохе Соломона.

Круг феодальных господ был бы не полон без „молитвенников“— жречества, столь влиятельного и важного сословия во всякую феодальную эпоху. О наличии многочисленного и влиятельного жречества во Израиле говорить не приходится; нам нужно только выделить феодальные черты его положения и быта. По общему правилу, в феодальные эпохи духовенство рекрутируется из рядов военного класса; ту же черту мы находим и во Израиле. Сыновья Давида были жрецами (I Сам. 8, 18); ранее царской эпохи сыновья Эли, главы жреческого рода в Силоме, участвовали в войне с филистимлянами (I Сам., 4); позднее Давида порядок был тот же. Мало того: почти до самых последних времен израильской независимости наряду с профессиональными жрецами жреческие функции отправлялись и царями, и царскими сыновьями, и родовыми старейшинами (I Цар. 1, 9; 8, 1 и сл. и мн. др). Труднее ответить на другой вопрос: было ли жречество связано с ленными владениями и ленной службой? Тут возможны только предположения. Точно устанавливается лишь тот факт, что во владении старинных жреческих фамилий были целые города с их округами. Такими владетельными князьями были в эпоху войн с филистимлянами жрецы Силома (I Сам. 1—4) и Ноба (I Сам. 21—22); для более поздней эпохи мы не имеем таких же прямых указаний, но за то есть не менее выразительные указания косвенные. Проводя реформу централизации культа в Иерусалиме, Второзаконие стремится сломить силу сопротивления местных жреческих родов посредством лишения их права владеть землею (Второз. 18,1); это предписание Второзакония было бы совершенно излишним, если бы жречество не владело землею. Сверх того, позднейшая традиция сохранила память о специальных жреческих городах с приписанными к ним пастбищными выгонами—драгоценная черточка, так как каждое крупное святилище должно было владеть большим количеством скота для жертвоприношений (Иисус Нав., 21); в числе этих 48 городов мы встречаем такие важные центры местных культов, как Хеврон, Иерихон, Бет-Шемеш, Сихем, Маханаим и менее известные святилища Голан, Аштарот (Беештера), Кедеш, Безер. [1]) Из числа этих несомненно существовавших жреческих городов два были укрепленными бургами (Иерихон и Маханаим); но в таком случае владевшие ими жрецы должны были иметь и военные отряды. Наконец, следует указать на судебные права жрецов. Повидимому, жреческая юрисдикция не носила характера иммунитетов, но выросла естественно, на почве сакрального права, как источника всякого другого; таково же происхо-

---

[1]) Глава относится к так наз. жреческому кодексу, и потому, вслед за Вельгаузеном (Prolegomena, V Aufl., S. 156 ff.) большинство комментаторов склонно считать ее сплошь вымыслом позднейших раввинов. Однако, в настоящее время, после работ Драйвера и Эрдманса вряд ли возможно такое чисто отрицательное отношение к жреческому кодексу; при всей его ненадежности в целом, в отдельных частях и многих деталях он содержит драгоценные обрывки древней традиции. Задача трезвой критики только в том, чтобы выделить это драгоценное зерно из под груды рационалистических домыслов и выкладок.

ждение судебных прав жрецов и в Вавилонии, и в Египте, отчасти и в античных республиках. Но тем не менее, в процессе развития феодализма судебные права жрецов сделались важным элементом их феодальной самостоятельности, и реформа Второзакония опять-таки идет решительно против юрисдикции местного жречества, предписывая учреждение в каждом городе и местечке царских судей и нотариусов [1]) и лишь в исключительных случаях допуская аппелляцию к Иерусалимскому суду при участии жречества (Второз. 17, 8 и сл.).

Феодальные отношения обычно определяются договором; имеется целый ряд совершенно определенных свидетельств о существовании феодальных договоров и в Израиле. Прежде всего, такого рода свидетельства удостоверяют заключение договоров между царем и вассалами при избрании на царство. Право избрания царя принадлежало военному классу, который при избрании заключал с царем договор; все случаи избрания на царство, сохраненные исторической традицией Библии, согласно подтверждают это положение. Первый случай, ранней феодальной эпохи,—избрание Сихемом в цари Абимелеха (Суд. 9, 1—6). В качестве лиц, полномочных избрать царя, фигурируют „господа—ba'alê [2])—Сихема"; их предварительно Абимелех склоняет на свою сторону, а затем, устранив братьев-соперников, добивается избрания в цари. При этом „господа Сихема" и „весь дом millo"—крепости—ставят Абимелеха царем под священным сихимским дубом, который имел несомненую связь с почитавшимся в Сихеме Ваалом договора (Ba'al berith), обычно призывавшимся в свидетели заключаемых местными жите-

---

[1]) Второз., 16, 18: термин šoter означает вообще писца или чиновника, и ближайшим образом определяется контекстом. В данном случае дело идет о чиновнике, составлявшем и регистрировавшем акты гражданских правоотношений и сделок—функции нашего нотариуса. Нотариат существовал отдельно от судейского звания и в Вавилоне.

[2]) Выражение ba'ale в соединении с названием города встречается в Библии
всего 9 раз, только в кн. Числ. Иис. Иав., Судей и Самуила; при этом два случая
(Числ., 21, 28 и I Сам. 13, 11) надо исключить, так как здесь текст испорчен, и
LXX дают другое, более правильное чтение, в первом случае переводя не ba'ale,
а глагол bala'a а во втором опуская всю фразу. Толкование термина колеблется; LXX во
всех случаях, кроме одного (Иис. Нав. 24, 11), переводят hói andres; в Иис. Нав. 24, 11
LXX переводят hoi katoi kountes, т. е. а как, будто в оригинале стояло joschebhe (ср. I
Сам., 23, 5: Masora—joschebhe; LXX hoikatoikountes).Толкование LXX смутило многих
ветхозаветников, в том числе даже такого знатока, как Buhl, который в XV изд.
Гезениусова словаря толкует ba'ale в данном соединении Einwohner, Bürger der
Stadt (s. 106). Но вряд ли есть достаточные основания для такого толкования, со-
вершенно уничтожающего основной смысл термина ba'al—господин, властитель. Бо-
лее правы Stade (Wörterb, S. 96), подводящий значение термина под категорию
Herren, Fürsten, правда, в смягченном смысле Vollburger, и комментатор кн. Иису-
са Нав., Bennett (The sacred Books of the O. and N. T., by Paul Hagupt,
Joshua, p. 91), который дает толкование holders possessors citižens. Для толкования
термина решающее значение имеет сопоставление I Сам. 23, 5 и 23, 12: Давид по-
мог жителям Кегилы—joschebhe Qe'ila (23,5); но когда против него повел кампанию
Саул, грозивший уничтожить за Давида весь город, Давиду был оракул, что, если
он останется в городе, то ba'ale Qe'ila—господа Кегилы,—его выдадут, чтобы спа-
сти город. LXX в первом случае переводят hoi katoikountes, во втором—неопределен-
ным hoiandes; но очевидно, что Давид, защитив город от разбойников, оказал услугу
всем его жителям, право же выдачи должно было принадлежать только офици-
альным лицам ba'ale. И действительно, во всех прочих случаях употребления этого
термина, кроме одного сомнительного (Суд. 20, 5—вообще сомнительный отрывок),
дело может итти только об официальных лицах или военных людях, но отнюдь не
о всех жителях или всех гражданах города: Иис. Нав. 24, 11—ba'ale воюют; Суд.
9, 2, 4, 6—избирают царя; I Сам. 23, 12; имеют право выдать Давида; II Сам. 21,
12: по приказу Давида выдают ему прах Саула и Ионаθана для почетного погре-
бения.

лями договоров; надо полагать, что и с Абимелехом был заключен договор, нарушение которого со стороны сихемитов повело к столкновению Абимелеха с Сихемом (Суд. 9,23 и след., ср. в особенности 25). Вполне определенно звучит другой рассказ, об избрании Саула на царство. После победы Саула над аммонитянами „весь народ", т. е. все воины, участвовавшие в походе, пошли в Гилгал, старинное священное место „и поставили там Саула царем перед Иагве в Гилгале и принесли там жертву мирную пред лицом Иагве" (I Сам., 11, 15); другой вариант того же рассказа [1]) добавляет подразумевающуюся здесь подробность: Самуил, помазавший по этой версии Саула в цари, „сказал народу право царской власти, записал в книгу и положил пред лицом Иагве" (I Сам. 10, 25). Тут дело идет прямо о писанном акте, имеющем характер договора, так как „мирная жертва"—dzebach schelamim—приносилась именно для скрепления договоров и клятвенных обещаний [2]). Следующий случай—провозглашение царем Давида. Сначала, после гибели Саула, Давид был избран царем только над Иудой, в Хевроне „мужами Иуды" (II Сам. 2, 4). Через некоторое время, после победы Давида над сыном Саула, Ишваалом, и после гибели последнего, „пришли все старейшины (dziqnê) Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними царь Давид договор пред лицом Иагве, и помазали они Давида царем над всем [3]) Израилем". (II Сам. 5, 3). Все приведенные случаи восходят к эпохе образования царской власти, и для них характерными чертами является смешение старых родовых традиций с первыми успехами новой феодальной организации. С одной стороны, право избрания царя принадлежит еще старой родовой знати, или дружинам, построенным по родовому признаку; с другой стороны, избираемый царь—не просто выдвинувшийся военачальник, подобно германскому конунгу не слагающий с себя власти после окончания походов, [4]) но представитель новой власти, более формальной, чем бытовой, и более широкой, чем власть военачальника и судьи. Самый же существенный признак новой власти—это ее договорный характер. Полвека спустя, после смерти Соломона, когда новая феодальная организация окрепла, когда создалась новая феодальная аристократия, описанная нами выше, мы являемся свидетелями еще одного случая избрания царя, уже отмеченного типичными феодальными чертами, с борьбою партий и не совсем обычным исходом. Когда умер Соломон, в Сихем, святилище Ваала договоров, с'езжается для выборов нового царя „весь Израиль" и прежде всего пред'являет Ровоаму, сыну Соломона, требование облегчить „иго", наложенное Соломоном, т. е. уменьшить размеры царских поборов и царской барщины, возросшие до небывалой при

---

[1]) I Сам. содержит три параллельных рассказа об избрании Саула на царство: I Сам. 11; I Сам. 9, 1—10, 16; I Сам. 8; 10, 17—27; 12 (указаны в порядке древности). Ср. Wellhausen, Proleg., 5. Aufe. s. 249—259)

[2]) Ср. Исх. 24, 1—8, где этой жертвою скрепляется договор между Иагве и народом.

[3]) В оригинале просто 'al Jsrael—„над Израилем". LXX дают более правильное чтение epi panta Israël, оттеняющее перемену в положении Давида, ранее царя Иуды, как части Израиля, а теперь царя всего Израиля.

[4]) Такой характер носила власть так наз. судей, schophetim: ср. напр. правление Гедеона (Суд., 8, 22—28) или Иефта (Суд. 12, 7).

Давиде степени вследствие усиленного строительства и придворной роскоши Соломона. Ровоам совещается сначала со „стариками“, приближенными Соломона; те дают добрый совет уступить, чувствуя силу с'ехавшегося вассалитета. Недовольный этим советом Ровоам спрашивает своих сверстников, „росших вместе с ним“, т. е. придворную молодежь, не бывавшую на местах и не чувствующую феодальной силы, таившейся при Соломоне, так сказать, под спудом. Те дают решительный совет: „скажи им: мой мизинец толще, чем чресла моего отца; и так, если отец мой наложил на вас тяжкое иго, то я сделаю ваше иго еще более жестоким“. Ровоам последовал этому совету; и тогда „весь Израиль“ отказался повиноваться Ровоаму и разошелся по домам, а через некоторое время на новом собрании избрал царем над всем Израилем Иеровоама, начальника царской барщины при Соломоне принявшего, очевидно, условия северных князей. Ровооам остался царем только над Иудой, и с тех пор в Палестине существовали два еврейских царства (I Цар., 12, 1—20). Этот последний случай бросает свет на самое содержание договоров, заключавшихся при избрании царя: договоры, подобно английской Magna Charta, обеспечивали права всего вассалитета, носили не личный, но коллективный характер общего условия.

Но, сверх того, у нас есть еще более веское и совершенно общее доказательство того факта, что феодальные отношения во Израиле строились на строго договорной почве. Именно, в VII веке, когда в южном царстве Иуды шла жестокая борьба за уничтожение местных культов и за утверждение единого, централизованного в Иерусалиме, культа Иагве, идеологи централизации в своей полемике оперировали аргументами типичной феодальной теории, считая, очевидно, такие аргументы совершенно неотразимыми и само собою разумеющимися и понятными. Пред лицом только что совершившегося падения северного царства, сторонники централизации в своих произведениях, собранных впоследствии воедино в теперешнем Второзаконии, грозят всем своим противникам перспективой изгнания Иуды из его владений за неисполнение условий *договора* (berith), заключенного между богом Иагве и его народом. Договор, как он представляется во Второзаконии, таков. Перед вступлением в землю Ханаанскую заключается клятвенный договор между богом и народом на условии, что Иагве дает народу землю, „землю сию, текущую молоком и медом“, а народ за это обязывается бояться Иагве и служить ему одному, не следовать примеру других народов, почитающих многих богов, и не уклоняться от культа Иагве к культу других богов, хотя бы и наряду с Иагве. Служение Иагве заключается в исполнении всех постановлений и законов, изложенных богом чрез его уполномоченного Моисея, и в принесении богу начатков плодов той земли, которую Иагве дал народу. Этот клятвенный договор должны строго соблюдать обе стороны; если же со стороны народа обнаружится несоблюдение заповедей и постановлений, если народ уклонится налево или направо, к служению другим богам, которым Израиль ничем не обязан, то договор нарушен, и народ лишается дарованной ему земли: „и как радовался Иагве, делая добро вам и умножая вас, так будет радоваться он, губя и истребляя вас; и будете вы извержены из земли, в которую идешь ты, чтобы овладеть ею.“ Земля запустеет, превратится в груды пожарищ и в солончаки, и когда последующие поколения будут спрашивать, за что Иагве поступил так с этой землею, то ответ будет таков: „за то, что они оставили договор с Иагве, богом отцов их, который он заключил с ними, когда вывел их из земли еги-

петской, и пошли и стали служить иным богам"[1]). Перед нами типичный феодальный договор: суверен земли—Иагве, он дает землю народу во владение с правом пользоваться ее плодами, но с обязательством служить только Иагве, не изменяя ему и не признавая других суверенов наряду с Иагве или враждебных ему, и платить ему часть доходов с земли в виде начатков плодов и десятины; в случае нарушения договора, измены суверену, земля, по обычному феодальному правилу, отнимается у нарушившего клятву вассала. Такое же отношение мыслили идеологи Второзакония и между другими богами и их народами: весь мир управляется богами по феодальному принципу. Именно, в уста Рабшака, военноначальника ассирийского царя Санхериба, вложена такая сентенция о ничтожестве всякой силы, даже и божественной, перед мечем ассирийской державы: „спасли ли боги народов каждый свою землю от руки царя Ассура?" (II Цар. 18, 33). Эта теория феодального договора импонировала еще в VII веке, когда феодальные отношения были уже в значительной степени модифицированы развитием города и буржуазных отношений. Тем более она должна была иметь силу в более ранний период, когда феодальные отношения были еще основною нормой. И действительно, лет за 150 до Второзакония, ту же теорию имеет в виду пророк Осия, хотя он, как поэтическая натура, предпочитает образ брачного договора между мужем и женою. Иагве—муж, Израиль—жена, которую он содержит и требует за это содержание верности. Но жена изменила мужу: „сказала она: уйду вслед за моими любовниками, дающими мне хлеб мой и воду мою, шерсть мою и лен мой, масло мое и напитки мои... Но разве не знает она, что я дал ей зерно, виноградный сок и масло, и серебра множество и золота?—а она сделала себе Ваала!.. Потому отвернусь я от нее и возьму зерно мое во время его и виноградный сок мой в пору его... и опустошу виноградные лозы ее и смоковницы ее, о которых говорит она: это плата мне за любовь, данная мне моими любовниками; и превращу я их в пустырь, и польвые звери будут пожирать их (Осия, 2, 7—14). По существу между этим образом Осии и договорной теорией Второзакония нет никакого различия. Еще веком раньше, когда создавалась традиция о временах патриархов и Моисея, в нее был включен разсказ о формальном заключении договора между народом и Иагве, на условии принятия народом законодательства десяти заповедей и „книги завета" (serher habberith); договор был заключен с точным соблюдением всех обрядностей: были принесены установленные жертвы и были окроплены жертвенной кровью обе стороны—жертвенник, как средоточие Иагве, и народ, (Исх. 24, 1—8). Но раз столь типичная феодальная теория применяется к оценке отношений между божеством и народом, то мы в праве отсюда утверждать, что она вошла в плоть и кровь ее идеологов из повседневной практики жизни, и что, следовательно, феодальные договоры были столь же обычным и распространенным явлением в Израиле, как и впоследствии в средневековой феодальной Европе[2]).

---

[1]) Положения, изложенные здесь в сжатой форме, развиваются подробно сплошь во всем Второзаконии, одинаково в его первичных и вторичных частях. Укажу только наиболее характерные места: 28, 69—29, 9|14—заключение клятвенного договора; 4, 21; 11, 31 и мн. др.—дарование земли во владение; 26, 1—12, 16—17—обязательства народа (особенно характерны молитвенная формула 5—12 и формула обязательства 16—17); 6, 4—19 и 11, 13—21—увещательные отрывки, вошедшие в синагогальное богослужение (молитва schma) 27, 15—28, 63—отнятие и проклятие земли за измену (в тексте цитированы 29, 21—26).

[2]) Подобная же теория отношений между божеством, как сувереном земли, и государем, его ленником, господствовала в княжествах Сумери Аккада (ср. Les inscriptions de Sumer et d'Akkad, par Thureau Dengin, passim). Полную аналогию представляет также теория Виклефа, изложенная в его трактате De dominio.

От воинов и молитвенников обратимся к рабочим людям. К сожалению, по состоянию материала возможно дать лишь весьма отрывочную характеристику их положения. Они жили в деревнях, imazerch[1]), принадлежавших городам, т. е. владельцам городов; город с „его деревнями“[2]) составлял нечто целое, феодальный домен, как в средневековой Европе замок или бург с принадлежащими к нему селами. Зависимость крестьян от господ лучше всего охарактеризована в изложении прав царя книги Самуила. Тут на первый план выдвигается барщина, сельско-хозяйственная („чтобы пахали они пашню его и жали жатву его“), ремесленная („делали орудия для войны его и орудия для колесницы его“) и специально женская барщина во дворце („и дочерей ваших возьмет он, чтобы готовили они масти, варили и жарили“). На эти категории барщины, конечно, имел право не только царь в своих доменах, но также и всякий другой феодальный владелец. Специально царская барщина, однако, также существовала; она указана совершенно особо, в разсказе о сооружении Соломонова храма (I Цар., 5, 27—28): „и поднял царь Соломон барщину со всего Израиля, и было барщинных 30.000; и посылал он их на Ливан, по 10.000 каждый месяц, посменно, так что месяц работники были на Ливане, а два месяца—дома“[3]). Барщина сынов Израиля при этом резко отличается от барщины покоренных; барщина первых—просто mas[4]), барщина вторых—mas'ebed, рабская барщина (I Цар. 9, 21); на сынов Израиля возлагались более легкие и почетные работы и притом с отдыхом, на покоренных—более трудные и черные работы, напр. переноска тяжестей, работы в каменоломнях[5]). Собирая барщину со всего Израиля, Соломон несомненно, только использовал свое право; но при грандиозности затеянных им построек, царская барщина отвлекала от труда на местах массу рабочих рук и должна была лечь тяжелым бременем на хозяйство феодальных господ; этим, вероятно, и об'ясняется ропот князей на „иго“, наложенное них Соломоном, и ультимативное требование Ровоаму о смягчении „ига“. Менее ясен вопрос о крестьянских оброках. В изложении прав царя определенно устанавливается только право господина на лучшую голову крупного скота (быков и ослов) и на десятую голову из овец; можно, сверх того, толковать одно место из Амоса в смысле указания на право царя брать в свою пользу первый укос[6]). Но о таких характерных для

---

2) Термин chazer означает первоначально кочевое становище, а затем всякое необнесенное стеною поселение в отличие от обнесенных стенами городов.

3) Ср. перечисление городов и принадлежащих к ним деревень в кн Иис. Нав. 15. 21—62; тут для обозначения принадлежности употребляя просто соответствующий суффикс притяжательного местоимения, но в Иис. Нав. 17. и Числ 21, 25 принадлежность деревень к городу выражена еще сильнее и ярче: деревни—„дочери“, banoth, соответствующего города.

1) Цифры здесь, как и в других местах, преувеличены, но они не имеют значения, важна лишь суть дела.

2) В I Цар., 11, 28 другой термин—sebel, что значит собств. ноша, бремя, тяжесть. Этим термином обозначалась, повидимому, совокупность всего тягла, лежавшего на крестьянстве; но в цитируемом месте sebel является синонимом *mas*, т. е. имеет более узкое значение барщины, так как речь идет об Иеровоаме, начальнике над всею барщиной дома Иосифа.

3) Соответственно с этим, упоминаемые рядом с 30000 барщинными работниками Соломона носильщики тяжестей и каменотесы (I Цар., 5, 29) должны были быть из покоренных; подтверждение этому находим в II Хрон., 2, 16, месте восходящем к источникам хрониста.

4) Ам. 7, 2: Речь идет о летних всходах после царского укоса. Остается неясным, каковы были пределы этого права: шел ли в пользу царя укос первого дня сенокоса, или первый ранний укос свежей травы целиком был царской регалией.

феодального строя оброках как ценз, formariage и main morte данные библейской традиции ничего не говорят. Очень возможно, что их и не было; по крайней мере ни в Египте, ни в Сеннааре, относительно которых мы лучше осведомлены, подобных оброков не было, и возможно, что они вообще чужды восточным формам феодализма. Что касается до личного положения израильского крестьянина, то, за исполнением всех барщин и уплатой всех оброков, он был совершенно свободен. В крестьянском хозяйстве крепко держались старинный общинный быт, восходивший как мы видели к эпохе родового строя, и общинное землевладение. „Земля отцов", т. е., та земля которую заняли при расселении в Ханаане предки израильтян царской эпохи, по действовавшему обычаю считалась неотчуждаемой во владение чужаков; преимущественное право покупки ее принадлежало, как мы видели, родственникам продавца, хотя, конечно, из этого правила бывали исключения, и тем более частые, чем, ближе к эпохе кризиса феодальных отношений. Наконец, остается указать еще одну черту, типичную для феодальных форм древнего мира и резко отличающую эти формы от форм европейского средневековья это—почти полное отсутствие разряда дворовых людей. В изложении прав царя к таковым могут быть причислены только скороходы, бегущие впереди царской колесницы и очищающие для нее путь; но эта должность все-таки несколькими ступенями выше положения простой дворни. Указанная черта об'ясняется специфической причиной, существованием рабства, которое удовлетворяло все потребности господ в личных услугах[1]).

Расцвет феодальных отношений в Израиле относится к XI - X векам до Р. Х., с IX века начинается постепенный упадок и разложение феодальных отношений, в связи с ростом городского хозяйства и видоизменением соотношения социальных сил. На место старой феодальной знати выдвигаются постепенно новые классы, бюргерство и новый мелкий вассалитет более послушный царской власти, чем старая аристократия. К сожалению, мы мало осведомлены о этой перемене; мы узнаем более или менее определенно только об одном из ее важнейших последствий, о существовании в VII веке всеобщей воинской повинности, для чего был установлен учет военнобязанного населения чрез посредство особых чиновников (Второз. 20, 5—8; ср. 24. 5). Эта военная реформа, чрезвычайно ослаблявшая значение старой аристократии, совершается одновременно с крушением другого оплота старых феодальных отношений— местной жреческой знати: царь Иосия крутыми мерами, во исполнение требований Второзакония, централизовал культ в Иерусалиме, причем старое местное жречество было либо согнано с насиженных мест, либо попросту истреблено (II Цар. 23, 5. 20. 24; ср. Второз. 12, 1—3). Крушение старой крупной знати не прошло без борьбы с ее стороны; отголосок этой борьбы мы находим в памфлете о народной переписи, затеянной Давидом для учета военноспособного населения (II Сам. 24). Затея Давида изображена, как самое богопротивное дело; Иоав, старый военный слуга Давида, истый представитель феодализма, отговаривает Давида, но царь не слушается, и в результате ему приходится каяться:

---

[1]) Положение крестьян феодальной эпохи в Израиле находит себе параллель в египетских и сумерийских условиях. Для сумерийских крестьян характерно также преобладание барщины, которая достигает в Сумере крайних пределов, настолько что весь труд крестьянина идет в пользу господина, и последний выдает барщинным людям содержание из своих кладовых (ср любопытнейшие „Документы хозяйственной отчетности древнейшей эпохи Халдеи" М. В. Никольского, т. I и II). Для египетского феодализма характерна общеизвестная царская барщина, применявшаяся, как и в Израиле, для возведения колоссальных царских построек.

Иагве ниспосылает на страну чуму за этот тяжелый грех царя. Но тем не менее, основа новой монархии остается феодальной, в модифицированном виде, на подобие московской монархии XVII в. или французской второй половины средних веков: недаром Навуходоносор не нашел иного средства обезкровить побежденное им иудейское царство, кроме переселения в Вавилонию всех sarim, всех gibbore chajil всего Иерусалима и всех кузнецов и слесарей; в числе этих переселеных gibbore chajil составляли вероятно, не менее 80—90 %, купеческий же и ремесленный элемент был в ничтожном меньшинстве (II Цар., 24, 14). Вся же масса крестьянского населения, как свидетельствует то-же место II Цар., осталась непереселенной, переменила только господ, так как отнятые у изгнанников земли были розданы воинам Навуходоносора или немногим представителям иудейской знати, выразившим покорность халдейскому царю (II Цар. 25, 23—24).

Таковы основные штрихи феодальных отношений в древнем Израиле. Как видно, картина получается далеко неполная; нет ясных и определенных указаний на некоторые важные элементы феодализма, составляющие его необходимую принадлежность. В ряду таких элементов, не засвидетельствованных библейской традицией в ее современном виде, прежде всего приходится упомянуть, как я уже говорил, иммунитеты и коммендацию. Молчание о них библейской традиции не есть еще доказательство того, что они и на самом деле отсутствовали во Израиле; и действительно, можно уловить некоторые намеки на существование, по крайней мере, иммунитетов. Судебные права жрецов, напр., могли основываться на иммунитетах; сверх того, в пророческих речах мы встречаем некоторые намеки и заявления, которые могут истолковываться в связи с иммунитетами. Но чтобы найти определенное разрешение вопроса, необходимо произвести детальное исследование пророческой литературы и точно установить в каждом данном случае, о чем говорит пророк: пророческое движение было отражением тяжелого социального кризиса, переживавшегося Израилем в IX—VIII веках, и в речах пророков, пламенных и злободневных, обличения старого, ссылки на современность и надежды на будущее сплошь и рядом переплетаются в один запутанный узел. Задача такого исследования выходит за пределы настоящего очерка; но и без того, изложенные мною данныя не оставляют никакого сомнения в том, что и древний Израиль прошел через тот-же цикл социального развития, чрез который проходит докапиталистический период развития каждого народного или государственного организма. Можно сказать даже больше: феодальные отношения в Израиле приобрели отпечаток особой типичности и строгости, какого они никогда не могли приобрести ни в Сумере и Аккаде, ни в Египте. Феодализм в этих двух великих странах древняго востока приближается больше к русскому, чем к западноевропейскому типу: в нем на первый план выступают экономические черты, и весь он окрашен действием обычного права, а не писанного договора. В этом отношении характерно, что в массе юридических документов, открытых в развалинах древних сумерийских городов, совершенно отсутствуют феодальные договоры о службе и подданстве, иммунитетах и коммендации, между тем как в быту такие отношения, несомненно, существовали. Израильский же феодализм целиком стоит под знаком писанного договора, berith'a; все его черты не только бытовыя, но отчеканиваются по определенной формальной норме. Весьма вероятно, что это различие об'ясняется различием в международном положении: Израиль, поселившийся на большой торговой дороге из Азии в Африку, долго принужден был отстаивать свое право на Ханаан и от прежних его властителей и от соседей, а затем стал

яблоком раздора между державами Фив, Дамаска, Ниневии и Вавилона; непрерывное военное положение окрасило феодальные отношения военными чертами и придало им строго отчеканенный формальный характер. Эта черта надолго укоренилась в сознании эпилогов древнего Израиля и Иуды: после плена, когда вернувшиеся на родное пепелище иудеи основали религиозную общину второго храма, ученые книжники, образовавшие Пятикнижие в его современном виде, изобразили историю первобыточного человечества и Израиля до поселения в земле Ханаанской в виде четырех последовательных договоров, заключенных между Иагве и допотопными и послепотопными патриархами; а введение в 40-х годах V в. „книги закона Моисеева“ в качестве основного закона общины второго храма было совершено также в форме торжественного заключения клятвенного договора между божеством и членами общины.

Н. М. Никольский.

Донателло и раннее возрождение.

I.

Возрождение.

Как известно, талантливый писатель и занятный рассказчик Вазари пустил в обращение два словечка,—„Готический“ стиль и „Возрождение“. Эти словечки имели огромный успех; до сего времени они не вышли из употребления и не утратили способности будоражить мир исследователей искусства и даже общей культуры. Целые библиотеки были исписаны по вопросу о том, как их следует понимать.

По мысли их автора, основанной на общей эстетической и исторической концепции его времени, существует лишь одно единственное, настоящее и абсолютно совершенное искусство, которое и надлежит отыскивать; это искусство даже было уже когда то найдено, но затем утрачено. Счастливыми его обладателями были „древние“. Серьезно дебатировалась теория, по которой формы и пропорции античной архитектуры, как об этом свидетельствует их совершенство, были те самые, которые Господь сообщил Моисею при сооружении скинии и царю Соломону при постройке храма. Все было хорошо в этом мире красоты, но пришли варвары, разрушили его и на развалинах водворили свое безобразие. Вазари предлагает поэтому окрестить отвратительные в его глазах архитектурно-декоративные формы второй половины средневековья,—первой он хорошенько и не заметил,—именем худших из варваров, готов. Настали однако лучшие времена,—„Возрождение“,—и красота древних вновь открыта, вместе с их мудростью. Остается только глубже проникать в содержание истинно Божественных заветов и использовать их лучше.

Таким образом античная мудрость и красота живут в представлениях века, как какие-то абсолютные сущности, независимые от человека. Возникает мысль, что в пределах той же сущности можно сравниться с древними в их собственной области и даже превзойти их. Сравнение „древних“ и „новых“ становится любимой темой академических споров.

Не трудно заметить, что все это и само в значительной степени проникнуто „готикой“. Как во многом вообще культура возрождения, идеи эти двигаются всецело в колеях средневекового миросозерцания.

Легче, очевидно, пожелать возродиться, нежели действительно сбросить с себя старого человека и совершить разрыв с собственным прошлым. Все основано на уверенности, что где-то непременно должны храниться готовые неизсякаемые запасы подлинной мудрости,—их не создают, а находят,—характерная черта схоластики. Ново только,—да и то далеко не вполне,—что отныне ищут их не среди сокровищ церкви, а в наследии древних. С той же наивною верой во всемогущество диалектики, с которою умы в средние века черпали из источников Откровения основы водворения Царствия Божия на земле, приступали теперь к новому прекрасному благоустройству жизни на основании заветов античности.

Мы, разумеется, выросли уже из этой постановки вопроса и смотрим на искусство не как на добычу из тайников, а как на продукт собственной непрерывной работы человеческого гения, достоинство которого зависит прежде всего от состоятельности этой работы; искусство имеет для нас больше значения, как внутренний созидательный процесс, чем как внешний источник прекрасных произведений. Жить в искусстве значит для нас—работать над ним и не нуждающееся в изменении совершенство нас не удовлетворило бы. Мы не верим более в абсолютную непререкаемость достижений человека, бывших, настоящих и будущих, и все рассматриваем в освещении относительности. Мы не думаем, что где либо и когда либо, среди той или иной группы людей, расовой или культурной, умы сами по себе работали сильнее и плодотворнее, чтобы в той или иной среде по преимуществу зарождались особо выдающиеся от природы личности. Это опровергается историей и все заставляет думать, что наблюдаемые громадные различия по времени и месту об'ясняются обстановкою в обширном понимании этого слова. Соседство и культура, больший или меньший накопленный исторический опыт, бесчисленные внешние и внутренние, благоприятные и неблагоприятные влияния и условия самого разнообразного свойства действуют самым решительным образом на картину искусства данного времени; нет поэтому никакой необходимости прибегать при об'яснении его состояния к метеорному появлению гениев, особой привилегии расы и т. п. С этой точки зрения нам становится невозможным допускать ни полной катастрофической гибели целого мира культурных приобретений, ни эпох абсолютного застоя мысли и творчества, ни простого мгновенного возрождения путем открытия засыпанных старых сокровищ. Решительно все предпосылки изложенного, все еще популярного взгляда на Возрождение должны быть таким образом признаны либо неверными, либо нуждающимися в существеннейших поправках и дополнениях. Они в сущности исключают главное—самостоятельную работу всякого времени над созданием форм своего искусства с одной стороны и непосредственную живую традицию от человека к человеку—с другой.

В самом деле, утверждения традиционного взгляда легко опровергнуть.

Начать с того, что ко времени массового прорыва варваров древний мир далеко уже не стоял в той одежде абсолютной красоты, в какую его облекало воображение гуманистов. Воспитанные на книгах, они возсоздовали его сквозь дымку времен в образ об'единяющей полноты и лучезарной целостности. Историческая действительность была, разумеется, и сложнее и грубее. Собственные внутренние процессы давно уже разлагали классическую античность и втайне вели человечество по пути необходимого обновления. Пришедшее с востока новое этико-религиозное миросозерцание задолго до варваров с'играло гораз-

до более влиятельную роль в этом разложении. Нечего и говорить, что сами варвары при ближайшем рассмотрении отнюдь не являются тем безусловно антикультурным элементом, каким изображает их старая историография. На деле вовсе не произошло бесследного перерыва в воздействии античной культуры. Завоеватели были доступны ее обаянию; они в значительной мере были пропитаны ее элементами уже на местах своего первоначального жительства. Столетиями они мирно проникали за рубеж, состояли на военной службе империи, легко и полно поддались религиозным воздействиям оттуда; после завоевания они быстро потонули в массах первоначального населения, где оно сохранилось в сплошном виде, оставив мало следов своих особенностей. Их грубость и некультурность ставила их не особенно ниже коренных жителей, достаточно одичавших в столетних непрерывных междуусобиях империи. Бесчисленные нити связывали императорскую и варварскую эпохи и такой фактор, как церковь, был мощным носителем античной культуры.

Таким образом нельзя признать полной варваризации старых очагов просвещения. Все дальнейшее также должно быть признано нормальным развитием. Политические и этнические новообразования, возникшие на развалинах империи, хотя и возвращались обратно, силою главным образом социальных пертурбаций, на первоначальные ступени культуры, но тут - же вновь интенсивно принимались за работу в неустанной, хотя и бессознательной борьбе за прогресс; их производительность в области всякого рода культурных благ дает картину, в высокой степени привлекательную; образцы их творчества, хотя бы например в пластических искусствах, в своем стилистическом достоинстве и цельности стоят гораздо выше, нежели в эпоху падения античности, которую собственно и знали только гуманисты. Если общий уровень материальной культуры и стал ниже, то за то средние века выигрывают в свежести и непосредственности, в гибкости и богатых возможностях своего духовного состояния.

Таким образом приходится оставить понимание Возрождения, как замены грубости и дурного искусства средних веков высоким просвещением и красотою древности. Огромный подъем этой эпохи, который так бросается в глаза во всех направлениях, следует всецело отнести к ее собственным заслугам, не приписывая его одному ознакомлению с памятниками древности и не прибегая к унижению непосредственно предшествовавших веков: она была только их логическим продолжением.

Средние века не только не порывали в начале связей с античной традицией, но и впоследствии не чуждались ее.

Знакомство с древнею письменностью в сущности не прекращалось совершенно даже в самые глухие времена. Если же оно выступало теперь таким огромным элементом просвещения, то это явилось последствием, а не возбудителем развития научного и эстетического интереса, для которого всегда бывшие более или менее на виду драгоценные памятники становились разумеется привлекательнейшим предметом изучения. Даже античное искусство в своих остатках то и дело привлекало взоры и то тут, то там происходили маленькие наивные „возрождения". Помимо непосредственной преемственной традиции, столь живой еще, например, в миниатюрах VIII—IX века, „проторенесанс" в архитектуре южной Франции, Тосканы и Рима в XII столетии оставил памятники, перед которыми не раз в остолбенении останавливались исследователи, до того чуждыми они кажутся своему времени. Некоторые статуи в Реймсе прямо какие то подснежники, кото-

рым очевидно суждено быть побитыми возвращающимся морозом. Весь стиль Никколо-Пизано об'ясним только гипнозом античных саркофагов.

Если воздействие древности не представляло таким образом ничего нового, то с другой стороны, оно далеко не во всем было благоприятно дальнейшему здоровому развитию, по крайней мере в той форме, в какой доходило до общества.

Прекрасная реальность была основою чудного цветения древнегреческого гения. Жизнь и в области духа черпала свои импульсы прямо из действительности; ей чужды еще были оковы условности, она не стонала под гнетом наслоений окаменевшей старой премудрости: ее мысль была молода и гибка, прекрасно бессознательна в своей непосредственности. Но когда эта жизнь умерла, труп ее, все еще прекрасный и животворящий, лег уже, однако, бременем на позднейшие поколения. Конечно, развитие немыслимо без сохранения и накопления приобретений: нельзя мгновенно раздуть громадное горнило прогрессивного просвещения. Но пламя, горящее свежим жаром непосредственной работы духа, чище и ярче; много копоти и горы шлаков дают культуры, поддерживаемые заготовленными в прок запасами чужой и бывшей жизни... Громадная работа рефлексии и непроизводительная затрата сил нужны, чтобы обезвредить побочный неблагоприятный эфект набальзамированных продуктов и извлечь всю их пользу. Средние века, при всей своей молодости, были также и эпохой такого горения чужого топлива и в этом их слабостью. В значительной степени они оставили это в наследие новым временам. Два старых источника просвещения создали два разных рода его запасов, которыми питались умы,—хранилищами были книги; книжность стала проклятием века; она сушила, прессовала и искажала плоды духа, стирала с них нежную цветочную пыль непосредственности. Один из источников бил когда-то живым ключем на востоке, другой—на западе; долгое время черпали по преимуществу из книжных цистерн, наполненных из первого, теперь видимо стали отдавать предпочтение второму. Вода из обоих источников была жизненною необходимостью, но она была стоячая и долго на просвещении болезненно сказывалось неумение очистить и освежить ее. Этим рядом сравнений я пытаюсь вкратце иллюстрировать духовную атмосферу времени, чтобы иметь затем возможность перейти к его пластическому искусству и об'яснить условия существования и развития последнего.

Пластическое искусство нельзя в науке рассматривать совместно с прочими областями духа, ибо оно имеет свою собственную своеобразную природу и нужно прежде всего понять его в его особой жизни и условиях. Пластика имеет материальную подкладку самой веской для нее существенности и находится в неизбежной зависимости от своей физической техники; она ограничена и в области доступных ей духовных мотивов; нельзя безнаказанно насильственно расширять эти пределы, ибо насилие ведет к разрушению и обесценению продуктивности.

Между тем, искусство никогда не было предоставлено самому себе и привлекалось к обслуживанию духовных и материальных интересов жизни, без сознания его собственных нужд и возможностей. Это имело для него самые разнообразные и сложные последствия, благоприятные и неблагоприятные. Материальный аппарат искусства по необходимости должен быть подчас очень громоздок и дорог: он не был бы предоставлен искусству без более сильных побудительных причин, нежели чистый эстетический интерес. Искусство вынужденно подчинялось, но бессознательно старалось ускользнуть от навязываемых ему задач, если оне не совпадали с его внутренними целями. Такое

совпадение безусловно имело место при работе над материальными заданиями жизни т. е. главным образом в архитектуре. Тут дисциплина жизни действовала прямо благотворно. Конфликт начинался в искусствах отражающих, изобразительных. Заказчик наивно предполагал и требовал присутствия в отражении полностью всего того интереса, который внушало ему изображаемое; художник же чувствовал, что воспроизведением преследует только свой собственный интерес, правильно при том ограниченный и самою недоступностью отражению всего внутреннего мира, по скольку этот мир не манифестируется естественно и непринужденно внешними явлениями. Но пока в дело не вмешивалась рефлексия и настойчивый разлагающий анализ, конфликт этот легко разрешался простодушным обманом и искусство подкупало зрителя красотою.

Религия всегда бывала большою потребительницею художественных произведений, между тем эта именно связь носила большие опасности для искусства. Дух тут стремился к сверх-реальному, а для пластики полный разрыв с действительностью был равносилен самоуничтожению. Иконоборство было в сущности естественным отношением к искусству на высших ступенях религиозных исканий и если основанные на них положительные вероучения в своих популярных исторических воплощениях и не находили возможным отказаться от всяких опор во внешних видимых символах, то в виде тенденции враждебная или вредная пластике струя неминуемо сказывалась. Искусство жило под постоянным гнетом: оно вынуждалось к одностороннему развитию в направлении, наименее благоприятном удовлетворению его собственных нужд. Спасала положение только счастливая непоследовательность и отсутствие критики.

Наилучшую опору своему здоровому развитию пластика, как всегда вплоть до нашего времени, находила в своем определенном социальном положении. Она была в сущности ремеслом, очень высоко оценивавшимся, очень популярным и любимым, но все же определенно отграниченным от высших правящих классов интеллигенции. Корни искусства лежали глубоко в народной толще и оттуда оно черпало свои питательные соки и духовные директивы, будучи в то-же время в своих специфических внутренних двигающих мотивах предоставлено самому себе, своему бессознательному саморазвитию, инстинктивно понятному народу. Все это отнюдь не исключало прогресса, а, напротив — обуславливало равномерную и здоровую эволюцию. Не было и китайской изоляции центров: всякие влияния и течения свободно распространялись во все стороны и чужое, принесенное общением между живыми людьми, органически претворялось в свое. Таким образом, исключался застой, а движение вперед происходило без болезней роста и разрушительных толчков. При таких всесторонне благоприятных санитарных условиях не могло повредить и отмеченное выше наивное подражание мертвому.

Таково было положение искусства в средние века. Плоды благоприятных условий были прекрасны и навсегда останутся в сокровище благ, завещанных человечеству ушедшими поколениями.

Конечно, перед искусством были еще и совершенно другие возможности, для развития которых условия средних веков были бы может быть недостаточными. Пути необходимого их нормального изменения должны были найтись. Но всеобщая насильственная ломка, особенно если она производилась грубо, неопытною рукою, без интимного понимания внутренней жизни пластики и во имя сторонних отвлеченных требований и идеалов, не могла не угрожать гибельною катастрофой.

Между тем такою именно ломкой обещало стать для пластических искусств то положение и те формы, в которых желали их видеть в своем обновленном мире ревнители древности. Пластические искусства в позднейшей письменности древних, именно тогда, когда античная культура стала клониться к упадку, обращали на себя большое внимание. Не могли ими не заинтересоваться,—глубоко и пламенно, как все, что они делали,—и гуманисты, ученики упадочной древности. Новые друзья могли оказаться чрезвычайно опасными, что они впоследствии и доказали.

На деле однако на первых порах не только не произошло ничего неблагоприятного, но напротив,—никогда еще не развертывалась перед искусством более блестящая арена, как уготованная ему теперь упорными, самоотверженными усилиями и пылким зажигательным энтузиазмом новой, витавшей в античных представлениях интеллигенции, и искусство достойно заняло свое новое положение, действительно создав ослепительно красивый поток произведений, затмевающих, казалось, навсегда средние века и подлинно сравнявших новое время с древностью. Это фактическое обстоятельство разумеется очень внушительно и трудно бороться против обычной его оценки; однако аналитический пересмотр неизбежен, ибо реформа втайне все же носила в себе очень ядовитые семена разложения. Сказалось это, правда, не тотчас, но зато с тем большею силой, и до настоящаго времени все то нездоровое и ненормальное, что происходит в дальнейшей жизни искусства, есть последствие внесенных тогда заблуждений. Таким образом проблема разгадки возрождения имеет самое существенное и животрепещущее значение.

Новый путь, на который увлекали пластику, был путь рефлексии и сознательных теоретических директив, а к этому были безконечно еще мало подготовлены не только художники, но и все вообще время и в первую голову его влиятельные умственные руководители и вожди. Долгую вековую работу исследования и самокритики приходилось проделывать самой теоретической мысли, чтобы быть в состоянии хотя сколько нибудь плодотворно руководить жизнью со всякой вообще стороны. Между тем бурные движения в этой мысли менее всего располагали время к осмотрительности и вдумчивости; во всех областях раздавались страстные призывы к определенному новому идеалу. Если бы эти стремления тогда,—да и подобные им во всякие другие времена,—действительно располагали тою движущею силой, какой домогались, уделом мира стал бы хаос. Но к счастью жизнь втайне двигалась не теорией и рефлектирующею мыслью, а собственным бессознательным разумом, все восстановлявшим, все устраивавшим и даже плодотворно утилизировавшим в конце концов здоровые зерна, которых не могло не быть в усилиях лучших умов. Этому тайному неосознанному преемственному разуму и эпоха возрождения обязана тою громадною успешностью своей работы в искусстве и во многом другом, которая придает ей такой блеск; что же касается ее сознательной эстетики, то прямое воздействие последней принесло тогда и продолжало приносить и далее неисчислимый вред. Зато косвенное влияние всей умственной возбужденности века, его высоко взвинченного строя духа, смелой пытливости и свободного исследования сказалось на горячечной повышенности пульса жизни, на ее мощном под'еме, между прочим и в искусствах. В первые в пластике так выпукло выступает личность; никогда еще не складывались столь мощные индивидуальности, способные в хорошем и дурном наложить свою печать на целую эпоху и ряды поколений.

Новая эстетика сознательно подстрекала искусство к борьбе за ов-

ладение всем миром духовных интересов и вовлекала его тем в погоню за неосуществимою химерою. Она нарушала мир между искусством и жизнью, вводя рефлексию в их отношения и не будучи в то же время в состоянии указать рациональные требования и взаимные права и пределы обеих сторон. Она безмерно переоценила значение определенных исторических форм, смешали их специфическое достоинство с общекультурными ценностями эпохи и деспотически навязывала их всем временам в качестве абсолютной красоты; ей было совершенно недоступно понимание значения в искусстве движения и смены, необходимости обновления quand meme, относительности всяких форм и стилей, и поэтому она была грубо несправедлива к ближайшему прошлому и должна была неминуемо оказаться в будущем нетерпимо ретроградною и косною. Она систематически разрушала существовавшее социальное положение искусства и его связь с народом, вытягивая художников наверх своими бурными восторгами и реторическою преувеличивающею фразеологией. Она погружала творчество в нездоровую атмосферу.

К счастью, установившаяся многовековая связь искусств с жизнью была слишком мощною и тесною, теоретические же умы—слишком непоследовательными и неопытными, чтобы так скоро разрушить весь исторический бытовой уклад, от которого и себя вполне отделить не могли. Этому и только этому, а никак не пропаганде классического стиля, мы обязаны тем, что Возрождение оказалось столь великою и производительною эпохой; понадобилось более ста лет упорного разлагающего труда, чтобы водворить наконец „академизм" на развалинах всенародного искусства; даже ошибки времени, при унаследованном мощном его здоровьи, послужили сперва искусству на пользу.

Наконец, приходится подвергнуть серьезному пересмотру и сложившееся представление о самом содержании происшедшей в искусстве реформы. Новая эра далеко не вполне выразилась в том, чему старая историография приписывает такое всепоглощающее значение, рецепции античного стиля. Это был только тезис доктрины,—живое творчество шло еще многими другими путями. Преобладающее значение античные элементы получили собственно только в архитектуре и орнаментике, да и здесь с ними конкуррировали традиционные и самобытные мотивы. Значительно сложнее был процесс в искусствах изобразительных. Конечно, и тут греко-римское наследие оказало сильное и разнообразное влияние и весьма любопытно проследить, как оно сказалось; но это влияние было так далеко от преобладания, что легко указать, особенно в начале, бесчисленные отдельные произведения и целые течения, в которых эта струя совершенно отсутствует, без ущерба для ясности выражения стиля эпохи. Сами художники под влиянием гуманистов бредили древностью и были уверены, что продолжают ее дело, а из под их рук выходили вещи совершенно иного характера. Но нам не стоит никакого труда примириться с этим мнимым недочетом, ибо вместо лишенных цены подражаний мы получаем новое самобытное слово, свежее мощное цветение. Не так легко было, как видно, здоровой наивной силе уйти от собственного внутреннего закона саморазвития, от подлинной необходимости эволюции, в бесплодную пустыню произвольных доктринерских умствований. К его чести, стиль Возрождения был свой оригинальный, а не подражательный, не то школьное упражнение в комбинировании арсенала готовых форм, каким изо всех сил старались его сделать. В этом настоящая тайная суть всего движения, его красота, то, что делает его драгоценнейшим вкладом в сокровищницу человечества.

Насаждение античного стиля было экспериментом, какой в искусстве не проделывался. И до того нигде нельзя было наблюдать в исто-

рии абсолютной национальной или территориальной изоляции. Перекрещивание самобытного местного развития сторонними влияниями было постоянным, в высокой степени важным и большею частью благотворным явлением. Но это было взаимодействием живых людей; художник видел воочию, как под руками его товарища в соседней стране или эмигранта образовались невиданные, новые для него произведения; органический характер их признаков выяснялся ему происходившим на его глазах процессом работы. Теперь же люди, погруженные в книги, вынесшие из них горячий до самозабвения энтузиазм к давнопрошедшему, предлагали талантливому наивному ремесленнику, чем до того был художник, вдохновиться мертвыми обломками, гальванизировали для него трупы былой жизни. Легко было перенять чужое живое искусство, трудно—черпать жизнь из одних произведений, не общаясь с их давно умершими творцами. Поразительно не то, как много вредного и искажающего было внесено надолго в искусство этим систематическим отравлением трупным ядом, а то, что в главном эксперимент удался, что мертвое искусство частью действительно ожило и привилось, дав многое живому творчеству. Но разумеется заслуга принадлежит этому последнему, а не доктрине. Если непринужденное и наивное позаимствование прямо от памятников, под постоянным контролем естественного вкуса самих воспитанных их делом мастеров, было безвредно, то стороннее насилие высокого давления, которому отныне подвергалось искусство, стало и осталось источником всех его болезней.

Таким образом в нашем отношении к новому грандиозному явлению не может не присутствовать много огорчающего, тяжелого. К счастью, другой, значительно более характерный для него, нежели возвращение к древности, признак, а именно огромный под'ем веса и значение личности, спасает все и позволяет живой работе еще долго бороться со школой, этой новой вреднейшею напастью на искусство, и с успехом все вновь возобновлять эту борьбу после ряда падений, вызванных самозванною опекой. Впервые на пространстве исторической жизни искусства исследователю приходится встретиться с такими яркими выступлениями отдельной личности. Искусство Возрождения в Италии, на ряду с определеннейшим общим стилем и твердыми родовыми признаками, об'емлет такую массу чисто местных групп и такое изобилие отдельных своеобразных индивидов со своими особенностями, пошибом и почерком, такую сложную и вместе с тем отчетливую сеть филиации всякого рода и столько во всем этом внутренней логики и стройности, что разборка и распутывание линий и нитей становится привлекательнейшим предметом исследования; это делает эпоху, даже по сравнении с греческою древностью и независимо от абсолютной ее красоты, едва ли не самою интересною в истории. В этом нельзя не видеть другой, благотворной стороны сближения среды пластики с общею интелектуальной жизнью, сколько навредившего водворением непонятливого деспотизма.

Среди очаровательного разнообразия и многосложности отправных точек нового движения в начале XV века выделяется одна линия, исходящая от одного человека, может быть самого могущественного среди всех тех гениев, которым дано было подчинить свое время влиянию своих любимых мотивов, своему индивидуальному habitus'у и собственному видовому стилю. Соперничать с ним в этом может только другой гений, родившийся на том же месте лет на девяносто позже. Я говорю о Донателло и Микельанджело. Я хочу попытатся тут проследить струю, исходившую от Донателло, широко разлившуюся под конец по всей Италии и вытеснившую, по моему, все другие течения, образовав в скульптуре и живописи конечный собирательный фигурный стиль ран-

него ренессанса. Но прежде, чем перейти к этому направлению, необходимо хотя бы вкратце коснуться жизни в искусстве до Возрождения и тех, возникших одновременно разнообрзных других начатков его, которым, в значительной степени случайно, не суждено было развиться.

Если откинуть признак подражания греко-римскому стилю и удовольствоваться другим симптомом,—зачатием личности,—историю Возрождения в Италии можно было бы начать с XIII-го века. Никколо Пизано не нашел подражателей; родной его сын Джовани был унесен пришедшим с запада потоком „готического" т. е. французского понимания форм. Италия имела до них собственные традиции, особенно в живописи, ставившие ее, как и следовало ожидать по ее географическому положению, между западною и восточною („Византийскою") линией развития древне-христианского искусства, с заметным преобладанием наклона к востоку. Чимабуэ во Флоренции, Якопо Торрити в Риме и особенно Дуччио в Сиене представляли кульминацию этого развития, в котором произвол гениальной личности еще не отклонял логики протекания линии. Но вот явился Джотто и открыл собою ряд тех, о которых можно уже сказать, что без них искусство приняло бы иной вид,—явление, еще не бывалое. Конечно, и дальше у развития есть своя внутренняя необходимая логика; но она все же преломляется отныне более или менее в определенной личности. Современники сразу замечают последнюю: достаточно сравнить то, что мы узнаем о Джотто и о других у Данта и новеллистов, с почти полным молчанием об искусствах их времени у Геродота, Фукидида и Аттических трагиков. Нельзя лучше иллюстрировать различие в развитии древнего и нового искусства, как указанием на этот факт.

Джотто мощною рукою об'единяет Запад и Восток. Из сплавления элементов обоих у него выкрысталлизовывается свой новый стиль-соединяющий деликатно нежную, чувствительную линию готики с грандиозным ритмом масс Византийских мозаик; стиль, значительно созревший в смысле пропорций и понимания телодвижений. К этому Джотто, уже лично от себя, присоединяет,—еще полубессознательную, еще наивно прелестную, борьбу за обладание ад'экватностью предмету, за полноту видимого воплощения христианского эпоса. Тут мы видим первое младенческое движение рефлектирующей мысли. Ни у кого еще не возникало отчетливого сознания несостоятельности пластики, неудовлетворительности ее разрешения религиозных задач. К художествам не подходили еще с категорическим требованием иного разрешения; но задачи эти давили сами, своим собственным внутренним весом. Прежде мистика общения с божеством удовлетворялась в пластических иллюстрациях одною ритмикою линий и масс и исходящим от нее настроением; верующий переживал события в своей душе: теперь искусство двинулось ему на встречу, предлагая его чувству такой театр священных событий, в котором он увидит душу участвовавших в них лиц. Прежде он подымался к небу, теперь небо спускали к нему; небесное подменялось человеческим и эта услуга пластики была разумеется встречена наивными душами с восторгом. Сколько выигрывала вера, тут не место разбирать, но в искусстве с этим наступил критический момент, чреватый чрезвычайными опасностями: при всех успехах по этому пути, он все же не был вполне путем пластики; у его подводных скал она впоследствии не раз терпела крушения под руководством чужих кормчих из настойчивых и слепых идеологов.

Юность стилистической ступени искусства Джотто, как всегда, выражается в обобщенном гибком, мягком и плавном протекании линии; но у него же мы находим и зародыши следующей логической ступени.

Слово „реализм" с трудом сходит тут с пера, но некоторая кубическая мощность фигур и плеч, манера, кутать с головою в огромные плащи, сидящих на земле женщин, короткие шеи, пикантность уродливости неблагородных персонажей, намечают будущее в этом направлении. Однако, ближайшие его преемники примыкают еще к „красивой" стороне его стиля, развивая и скругляя его до классического выражения в пределах его возможностей: это было делом скульптора, члена другой семьи Пизанского происхождения, Андреа из Понтедеры.

Этим и заканчиваются средние века. Реализм им не был еще по плечу; время, бравшееся за его разработку, при огромном весе и богатстве новых вводимых этим в пластику элементов, по всей справедливости заслуживает быть отмежеванным резкою чертою. Такой именно дальнейший и естественный путь развития и намечался. В XV-м столетии в Италии, также как и за Альпами, со всех сторон совершенно независимо возникают попытки интимного овладения видимым миром во всей точности, полноте и разнообразии его явлений. Невозмущенный сторонними влияниями круг логической эволюции изобразительных искусств всегда идет в борьбе за обладание от детского стилизирования формы, через ее обобщение в „красоту", к техническому господству над природой в виде свободной передачи всего мира индивидуальных частностей, особенностей и случайностей. Но искусство христианской Европы не могло быть изолировано от внешних и сторонних воздействий, поэтому и развитие протекало сложнее; ступени его перебиты и спутаны, то и дело встречаются движения вспять и повторения и личный произвол окончательно затемняет простоту фигуры, которую мы так отчетливо наблюдаем в древней Греции. Тем не менее нужно всегда иметь в виду естественную логическую тенденцию, ибо сколько бы последняя ни затемнялась, присущая ей внутренняя энергия самоосуществления нажимает в сторону восстановления нормы. Многое, кажущееся загадочным, об'ясняется именно этим.

Еще в XIV веке занимательная пестрота окружающей действительности не оставляла художников равнодушными и они робкою рукою при подходящих случаях вводили анахронические живописные костюмные мотивы в священные сцены. Мало по малу глаза раскрывались на проблемы пространства с его природною и искусственною обстановкой. Конкретное и реальное незаметно прокрадывалось и скромно ютилось среди пластической абстрактности главных мотивов. На пороге нового времени мы находим целый ряд крупных мастеров, художественное лицо которых в главном обращено назад. Еще раз святой доминиканец фра Анджелико чудно резюмирует всю художественную мечту прошлого и только для высшего прославления рая позволяет себе украсить ангелов золототканными одеждами, а почву—зеленым ковром трав и пестрыми цветами; под конец и он вынужден уступить и так далеко идет на встречу новому, втайне изменившему вере ради своих собственных целей, духу времени, что вводит житие Св. Стефана (фрески в Ватикане) в реально мыслимую до некоторой степени архитектуру античных форм. У Мазолино, очень спокойно вообще относящегося к окружающей его борьбе за новые художественные цели, прелести современного костюма вызывают уже живейший интерес. Дальше всех среди этой группы заходит Джентиле из Фабриано, провинциал, принесший в метрополию Флоренцию свою отсталость и вынесший оттуда в высшей степени приятный и гармоничный синтез, который можно было бы охарактеризовать, как стиль полуреалистической миловидности.

В этот момент в метрополии искусства и на севере Италии выдвигаются две фигуры совершенно иного калибра и склада. Обе имеют

достаточно силы, чтобы запечатлеть свой характер на стиле эпохи, и если этого не случилось, то виною являются внешние обстоятельства.

Прерывая на мгновение нить пересказа событий, необходимо тут указать, что в Италии мы не можем ожидать возникновения такого реализма, какой развился среди ультрамонтанов, воспитанных на готике. Наследственность чувства античных форм, приписываемая итальянцам, только фраза, не об'ясняющая факта. Африканская одичалость рисунка в скульптуре VII—XI века и тут достаточно опровергает доктрину прирожденности племени тех или других художественных качеств. Другое дело—живые традиции и ход многовекового воспитания; в Италии они более, нежели где-либо, несмотря на одичание, связывали настоящее с прошлым; тут последнему легче было воскреснуть. Большая культурность и социальная зрелость об'ясняет раннее появление выпукло выраженной личности; за Альпами творчество долго еще оставалось массовым. Очевидно, в школе Никколо Пизано и Джиотто преемственною сохранилась и вновь возникала совершенно иная традиция, нежели в школе миниатюр и расписных окон. Понимание форм не могло быть одинаковым: в Италии она была монументальная, во всяком случае крупная, и такою осталась и при реализме, придав ему мощный полет.

Остановлюсь сначала на северном его представителе. Это уже типичная для века фигура, произведения которой не смешиваются с массой безымянного художественно-бытового производства, но резко отмечены печатью индивидуального склада и воли. По величине один из первых своего времени, Пизано или Пизанелло (третья семья Пизанского происхождения, производящая великого художника!) сперва оказывает огромное влияние на формы искусства в области между Миланом и Венецией, но после его смерти влияние это быстро улетучивается, вытесненное всецело новыми Флорентийскими течениями, более богатыми и сложными, но внутренно не более сильными и мощными. Бодрая энергия линейнаго чувства, напряженный тонус мускулатуры, резкий и угловатый профиль силуэта придают стиль его отражению действительности; тайная отроческая нежность и остаток прелестной средневековой неловкости движений пробиваются и смягчают рисунок и энергическое неблагообразие типов; ощущение какого-то чуть слышного, пряного, терпкаго, изысканного аромата легким облачком висит над его мирком,—общий стилистический признак всего раннего возрождения,—тогда как воздействие древности оставило ничтожный след и то разве на позднейших медалях Пизано.

Одновременно реализм мощно и определенно формулируется во Флоренции и наиболее характерным и крупным носителем его является Андреа дель Кастаньо, художник, по моему, недостаточно еще оцененный и не поставленный исследованием во весь его рост. Неистощимая продуктивность Флорентийской почвы позволяет такому содержательному художественному началу, как реализм, выразиться тут с разных сторон в целой плеяде творческих талантов первого ранга. Рядом с Кастаньо стоит Паоло Учелло, в личном стиле которого струйка юношеской деликатной строгости линии играет несколько большую, а энергия ощущения меньшую роль, нежели у первого. Делом Учелло является разработка мотивов пространства и среды и он должен быть признан отцом пейзажа Возрождения. С курьезною опрометчивостью, но не совсем напрасно, Вазари об'единяет в своих новеллистических выдумках имена Кастаньо и Доменико Венециано, которого (умерший ранее!) Кастаньо убил будто-бы из зависти; произведения обоих, во всяком случае близких друг другу мастеров недостаточно еще размежеваны, хотя с

уверенностью можно сказать, что по величине Доменико скрывается в тени Кастаньо. Общим учеником группы является крупнейший провинциал, Пьеро делла Франческо, художник, сам может быть и не давший нового вклада в развитие стиля, но полно и богато выразивший его возможности в своих многочисленных произведениях. Наконец к этой группе, как я думаю, следует причислить и Мазаччио, гения, которому только ранняя смерть помешала стать во главе движения; творчество его сразу обнаружилось так многостроние, что реализмом нельзя исчерпать те директивы, которые могли бы исходить от него; но выказать их определенно он не успел, а влияние на него значительно старшего Кастаньо мне кажется несомненным. К сложному вопросу о приоритете между художниками этой группы я еще вернусь.

Флорентийский реализм Кастаньо отличается от северного реализма Пизонелло,—в такой же пропорции, в какой последний отличается от Заальпийского,—усугублением монументальности и мощным выдвиганием архитектурных линий композиции и фигур. Сейчас видно, что живопись тут понимается преимущественно, как украшение стен, воспитана на задачах совокупного художественного произведения. Целый геологический переворот лежит между Джиотто и Кастаньо. Возьмем хотя-бы изображения Данте (в каппелле Барджелло) и Филиппо Сколари („Пиппо Спано",—фреска, ныне в музее Св. Аполлонии)... В обоих случаях художнику задан портрет его современника; но тогда как у Джиотто искусство работает, кажется, для какой то райской неизменной вечности, населенной бесплотно обобщенными отражениями временной, случайной, расцвеченной подробностями действительности, у Кастаньо уродливо живой единичный экземпляр детей века целиком воссоздан перед нами вновь, как он есть; и в то же время мы с удивлением замечаем, что герой и Кастоньо дан в такой концентрации своего habitus personalissimus и вместе с тем с такою монументальною амплификацией черт времени, в их закованной в латы зверской грубости, что, со всею его пышащею жизнью, он тут же становится красноречивейшим символом, кристализованным воплощением истории. Как свободно и полно поставлена проблема и с какою инстинктивною непогрешимою стилистическою чуткостью разрешена она; без всякого насилия над собой и природой! Много совершенно иных задач уже разрешала пластика, бесконечное множество других, более обширных, ждало впереди,--больше силы в достижении намеченной ограниченной цели никогда не было про'явлено. С другой стороны мы видим Кастаньо в мощной фреске Св. Тройцы в Анунциате. То, что предчувствовал Джиотто, нашло тут свое осуществление. Как каменные монументы стоят по бокам две закутанные с головами святые; жилистый аскет Св. Иероним посредине взирает к Высочайшему Символу с таким неописуемым томлением духовного голода и в то-же время все это так просто и непосредственно, так спокоен энергический ритм силуэта, такая приятная тайная плавность при всей стальной жесткости форм обволакивает могущественное нагромождение масс, что душа этого искусства тут раскрывается во всей своей цельности, во всей детски спокойной бессознательности следования не от себя идущим законам, без следа борьбы, мук, надрыва, рефлексии и сомнения.

Чудное, невозмущенно выкристаллизовавшееся произведение природы, а не непосильное дело рук человеческих...

Реалистическое направление целиком коренилось в чисто народной почве. Но время было очень далеко от того, чтобы успокоиться на его приобретениях. Оно протягивало руку к совсем другим лаврам. Оно подвигалось энтузиазмом нового просвещения и искусство должно было,

худо-ли, хорошо-ли, ассимилировать себе то, что занимает все умы; оно вынуждалось пойти по другому направлению. Безконечно привлекательно разбираться в том, как искусство принималось за растворение и обезвреживание тех огромных неудобоваримых масс постороннего, чем его заваливали. Только неистощимое внутреннее здоровье и почти безграничная сила творчества позволяли из всего этого создавать стиль, не уступающий по цельности исключительно народному искусству и превосходящий его по многосложности.

На пороге нужно остановиться на мгновение перед художником, почти не затронутым, интеллектуальными веяниями времени и не пошедшим по пути реализма, но все-же резко отделенным от средних веков,—еще одна возможность, бывшая перед искусством Возрождения, которою оно однако не воспользовалось, отнюдь не по отсутствию в этой возможности высочайшей ценности. Я говорю о Якопо делла Кверчиа из Сиены. Предтеча Микельнджело, он самостоятельно и независимо от каких либо литературных воздействии отдался культу мощно прекрасного тела, с совершенно однако иным, нежели у антиков, чисто личным чувством форм.

Кверчиа не был один. Очевидно, в духе времени лежала еще одна полярная реализму директива,—рядом с новым стремлением к особенному, сложному, оставалась неисчерпанная еще средними веками любовь к типическому синтезу, к упрощению красоты. Ясно, что интеллектуальный напор на искусство в сторону древности должен был искать точку приложения прежде всего в этом идеалистическом течении: первого своего выразителя жажда красоты в союзе с античной формой нашла в лице Гиберти. Можно было бы подумать, что это навязанная связь неминуемо поведет к скучнейшему налету школьного педантства,—как часто в последствии этот нестерпимый букет портил ценнейшие усилия творчества! Но у Гиберти мы не находим и следа этого. Все у него чистейший нежный аромат, детская свежесть ощущения, грациозная свобода жеста, деликатно полный взмах линий и очертаний, живая, но кроткая музыка ритма, тонкая стройность масс; многое очевидно навеяно античностью и однако целое совершенно отлично от ее чувства форм.

Но чудо массового выростания из благословенной почвы прекраснейших цветов всем этим еще не завершилось—я говорю тут пока только об изобразительном искусстве и совершенно лишен возможности хотя бы только мимолетом коснуться величайшего чуда, создания целого нового архитектурного стиля одним человеком, Брунеллеск. Нужен был еще гений, который властным хотением совместил бы в себе обе тенденции века, идеалистическую и реалистическую. И такой гений явился: это был Донателло. Его личный синтез стремлений времени стал первым собирательным фигурным стилем ренессанса. Как велико многообразие аспектов искусства в Италии в первую половину XV столетия, так строго оно объединено во вторую: можно сказать без преувеличения, что оно стало одною огромною школой Донателло.

М. Сыркин.



Метод изучения литературы.*)

Занятия древней и новой русской литературой, отчасти литературой западно-европейской, связанные с приготовлением к магистерскому экзамену, а также и последующая работа в области этих дисциплин—привели меня к известным обобщающим выводам теоретического характера. Знакомство с историко-литературной наукой в ее источниках и исследованиях дало мне возможность составить довольно определенное методологическое credo. Теперь я позволю себе изложить его перед Вами в главных и общих чертах.

Методологические выводы, о которых я буду говорить, являются по преимуществу результатом изучения историко-литературного материала и не имеют характера теоретических построений априорного свойства. В создании своего методологического profession de foi я всегда стремился идти путем изучения конкретного материала, а не отправлялся от умозрительных предпосылок. Но поскольку опыт и интуиция в деле построения и развития наук исторического характера тесно связаны между собою, постольку и я в некоторых случаях не мог избежать абстрактных заключений. Однако, не отказываясь от абстракций, я постоянно имел в виду то, что с течением времени всякое отвлеченное умозаключение должно получить вполне реальное обоснование.

Знакомство с историей развития научных дисциплин в других отраслях знания привело меня к тому несомненному выводу, что историко-литературная наука в ее современном состоянии есть определенная научная дисциплина, но в известном возрасте своего развития. Такое заключение оправдывается, кроме того, как с философской точки зрения, так и формально-логической.

Философское познание определяет науку, как систему понятий. С этой точки зрения и историко-литературное познание, как совокупность понятий, расположенных в известной логически стройной системе, получает полное право названия науки.

Более сложным является обоснование истории литературы, как науки, с точки зрения формальной логики. Наука в формально логическом смысле представляет собою истинное знание, которое характеризуется „систематическим единством". В это определение науки входит познание и номотетическое и идиографическое, как называет его проф. Виндельбанд, или, по терминологии проф. Кареева, познание номологическое и феноменологическое. Другими словами, понятие „систематического единства" обнимает собою, с одной стороны, и науку, понимаемую, как „научно-обобщенное знание", знание, стремящееся установить общие законы на основании обобщения, генерализации частных явлений, а с другой—и науку, определяемую, как „систематически-об'единенное знание", имеющее в виду познание единичных фактов, их идеальную индивидуализацию.

Обе задачи этого рода познания свойственны историко - литературной науке. В самом деле, изучение единичного явления в области литературы, отдельного художественного факта—имеет значение и смысл в двояком отношении. Во-первых, познание его на ряду с целым рядом других частных индивидуальных случаев необходимо для установления общей закономерности, необходимо для достижения той

*) Вступительная лекция, прочитанная в Белорусском Государственном Университете 5 ноября 1921 года.

конечной цели, к которой стремится всякая наука, в том числе и историко-литературная, к достижению совершенства точных наук. Во-вторых, изучение индивидуального литературного явления важно, как таковое, само по себе, как явления имманентного. В этом случае познание такого рода будет иметь вполне самодовлеющий характер. Но детальное и проникновенное изучение единичных фактов художественного творчества имеет, кроме того, значение и для познания первого рода, познания обобщающего, номотетического, давая всестороннее и глубокое изучение их и тем помогая установлению закономерности, значительно более приближающейся и истине и точности, чем если бы такого изучения не было дано. Таким образом, подобная постановка вопроса приводит к тому заключению, что историко-литературная наука имеет свойства и признаки двух групп наук, которые Риккерт называет „генерализирующими" и „индивидуализирующими", т. е. наук естественных и исторических.

Но историко-литературная наука только начинает отвечать этим основным требованиям научной дисциплины. Я говорю только начинает потому, что она не достигла еще своего научного совершенства и далека от того состояния, когда она будет представлять собою органическое целое. Она находится только в периоде формирования. В настоящее время, по крайней мере, русская историко - литературная наука едва лишь вступает в период гипотетического существования. В этом случае она переживает судьбу других наук, например, таких наук, как астрономия, которая также когда-то была уже наукой, не будучи наукой точной.

Наша начинающаяся наука, переживает еще период собирания и слабой классификации материала. Научное исследование едва лишь начинается и имеет неустойчивый характер. Мы далеки еще от историко-литературных законов, по которым совершается зарождение и жизнь литературы. Намечаются только так называемые эмпирические обобщения, которые ощупью пытаются набросать основные пути литературного развития.

Впрочем, такое состояние историко-литературной науки вполне понятно, если принять во внимание ее юный возраст. Историография русской литературы с неоспоримою очевидностью указывает, что эта наука слишком молодая, едва лишь насчитывающая несколько десятков лет. Уже вследствие своего юного возраста она не может отвечать во всей полноте и емкости требованиям точных наук.

Кроме того, необходимо принять во внимание еще и то обстоятельство, что научные задачи гуманитарных наук, в том числе и историко-литературной, несравненно сложнее и шире, чем в науках естественных, поэтому потребуется несравненно более времени, сил и ума для того, чтобы и в области изучения литературы достигнуть тех же точных результатов, какие уже есть в естествознании. Но имея в виду очевидную эволюцию в ходе и развитии нашей науки, можно с уверенностью сказать, что момент полной научности истории литературы несомненно наступит. Конечно, для этого потребуется немалый период времени.

В настоящее время мы имеем огромное количество историко-литературного материала, далеко, впрочем, еще не собранного и не приведенного в известность. Что же касается форм научной обработки этого материала, методов научного исследования, то они далеко не определены и не формулированы в точной и окончательной форме, имеются лишь отдельные методологические предпосылки, пытающиеся так или иначе поставить на научную почву решение

историко-литературных проблем. Во многих случаях представители нашей науки обходят стороной вопрос о научных путях и способах изучения фактов художественного творчества. В своих многочисленных трудах историко-литературного характера, начиная от мелких статей и кончая большими работами, они руководствуются чисто инуитивными и даже инстинктивными предпосылками. Вследствие этого вся литература подобного рода, а она чрезвычайно велика, за немногими исключениями, не имеет научной ценности и может быть оставлена без внимания.

Но несмотря на такое печальное положение историко-литературной науки, я полон веры в то, что наша наука прогрессирует; чем дальше идет изучение литературы и ее истории, тем больше элементов историко-литературного опыта укладывается в рамки научных обобщений, тем меньше они оказываются „иррациональными", т. е. необ'яснимыми при помощи общих законов; чем быстрее развивается историко-литературная наука, тем полнее и отчетливее становится констатирование индивидуальных черт и свойств отдельных литературно-художественных произведений.

Определяя ход научного изучения литературы, как создание закономерного порядка в области историко-литературных фактов и как выявление идеальной индивидуализации отдельных художественных явлений, необходимо подчеркнуть то, что понятие закона долмно быть заранее определено точно и ясно.

Существует предположение, что закономерные обобщения в области всякой науки имеют характер неизменности и всегда одинаковой повторяемости. Подобное предположение не находит для себя реальной основы даже в сфере точных наук и поэтому не может быть принято. На этот счет Рибо определенно говорит, что мнение о неизменно постоянных законах следует признать „химерическим". Понятие закона, как в применении к наукам естественным, так и наукам гуманитарным, должно сводиться, как думает Вундт, к такому основоположению: „законы определяют течение явлений лишь постольку, поскольку они не уничтожаются другими законами", или, как высказывается по этому поводу Моно, „научные законы все более и более представляются нам в виде провизорных гипотез, признаваемых истинными до тех пор, пока они в состоянии об'яснить все известные явления одного и того же класса".

Идя по пути научного развития к построению в области литературы и ее истории закономерных обобщений и к выяснению индивидуальной физиономии отдельных литературных явлений, наша наука стремится выполнить эту цель при помощи известной формы научного мышления, при помощи тех или других способов изучения сырого литературного материала. Словом, с понятием историко-литературной науки тесно связано существование определенного научного метода, определенной логики литературы.

В нашей историко-литературной науке эти методы только еще начинают выявлять свою теоретическую физиономию. При этом знакомство с историографией русской литературы указывает, что большинство историко-литературных разысканий, построенных по известным методологическим принципам, базируется на двух крайних методологических полюсах изучения художественного творчества. Одни историки литературы исходят в своих исследованиях из эстетико-психологических предпосылок, оставляя в стороне историческую основу развития литературы; другие наоборот, сводят дело изучения к громоздким и тяжеловесным разысканиям филологического и историчес-

кого характера. Эти два вида являются наиболее типичными в длинном ряде историко-литературных исследований. Такого рода методологический монизм мне кажется односторонним, разрешающим только лишь некоторые вопросы историко-литературной науки.

На основании изучения древней и новой русской литературы, а также литературы западно европейской, я склонен думать, что необходима плюралистичность историко-литературных методов, необходим—метод, который можно назвать, придав ему чисто формальное наименование, плюралистическим. Необходимо всестороннее исследование того многогранного продукта человеческой деятельности, который является отражением индивидуальной и общественной мысли „в образно-поэтических переживаниях" и который носит название художественного творчества. Подобно тому, как человеческий индивидуум является об'ектом изучения целого ряда специальных дисциплин, так и его творчество должно быть взято и изучено со всех сторон. Это требование полноты исследования составляет одно из основных условий всякой научной дисциплины. Поэтому необходимость применения целой сложной системы методологических предпосылок, из которых каждая имеет в виду изучение отдельной грани художественного произведения, кажется вполне ясной и очевидной.

Следует упомянуть еще одно важное обстоятельство, которое должно быть предметом постоянных размышлений ученого историка литературы. Те главные требования историко-литературной методологии, которые теперь уже намечены и очерчены в более или менее определенной форме, разграничивают изучение литературы двояким образом. С одной стороны, имеется ввиду изучение ее, как таковой, как имманентного явления, вне всякой связи с другими явлениями литературного и общественно-политического свойства, изучение в ее статическом положении. С другой же, — историко-литературной задачей является построение ее истории, изучение ее динамического состояния, исследование историко-литературного материала в известной генетической последовательности на фоне той культурной основы, с которой всякий художник связан неразрывными нитями. Это разграничение историко-литературной методологии несомненно намечается, но покуда в неясных и туманных контурах; оно носится в воздухе; интуитивно оно легко воспринимается, но еще не имеет под собою твердой и прочной основы и ярко выраженных конкретных форм.

Это разграничение не удалось провести и мне в той схеме изучения литературы, которую я имею ввиду здесь изложить. Те реальные данные, которые послужили основой для моих методологических наблюдений, не дали мне устойчивой почвы для такого разделения. Но я живу верой в то, что, с расширением и углублением историко-литературных занятий, мне удастся осуществить намечающееся отделение истории литературы от той научной системы, которая получится в результате изучения художественного творчества, как явления имманентного.

Историко-литературное изучение применительно к схеме, проводимой мною, должно открываться методом, известным под именем *филологического*, который точнее следовало бы назвать методом черновой, подготовительной работы. Этот метод, разработанный очень детально, одинаково необходим как для изучения литературы, так и для построения ее истории. Основные требования этого метода, понимаемого в смысле метода черновой работы, сводятся к следующим вопросам, которые должны быть так или иначе разрешены прежде

всякого обращения к непосредственному изучению историко-литературных фактов, как таковых, так и в их исторической связи.

Всякая научная работа требует раньше всего отыскания и собирания того документального материала, рукописного и печатного, тех сырых источников, на основании которых она будет строиться и составляться. Это та часть черновой необходимой работы, которая известна под названием „эвристики".

Далее с исчерпывающею полнотою должны быть приведены в известность все библиографические справки касающиеся литературы изучаемого предмета, издания текстов, розыскания псевдонимов и анонимов.

Кроме того, надлежит произвести тщательную критическую оценку изучаемых историко-литературных документов. Эта критика текста сосредоточивается на палеографических, герменевтических и грамматических наблюдениях в области изучаемых произведений художественного творчества и в своей конечной цели имеет в виду дать в руки ученого историка литературы научное издание текста.

Только после такой подготовительной работы, которая является лишь вспомогательною частью историко-литературного изучения и представляет собою в сущности предмет технической работы, которая должна выполняться в значительной своей части технически подготовленными лицами, но под наблюдением ученого историка литературы, можно приступить к научному исследованию литературы и ее истории.

В виде примечания к только что высказанным соображениям относительно так называемого метода филологического я считаю необходимым сказать несколько слов. В настоящее время некоторые историки литературы в своих исследованиях, особенно посвященных древней русской литературе, ограничиваются изучением того или другого вопроса приблизительно в об'еме указанной черновой работы и считают такое изучение самодовлеющим и исчерпывающим. Подобный взгляд следует признать антинаучным. Все работы такого рода имеют лишь подготовительный характер и является только преддверием к подлинно научному изучению литературы.

Кроме того, следует отметить и еще одно обстоятельство. В настоящее время дело составления библиографии и собирания историко-литературного материала входит в круг занятий иториков литературы, составляет своею рода их научную обязанность и вообще является делом частным, делом отдельных лиц. Подобное явление глубоко ненормально. Оно в значительной степени задерживает прогресс науки, так как поглощает более, чем на половину творческую энергию лиц, посвятивших себя историко-литературной науке. Для пользы научного дела, для более успешного развития его необходимо в этой области произвести коренную ломку. Мне думается, работу подобного рода должно взять на себя то учреждение, которое возглавляет нашу национальную науку, это учреждение—Российская Академия Наук.

Для составления библиографического указателя всему тому, что уже сделано для изучения литературы и других отраслей знания в прошлом, а также для ведения систематического учета всей текущей литературы должен быть создан библиографический институт, который ведал бы эту часть аппарата всякой научной дисциплины и давал бы возможность каждому ученому пользоваться этим орудием без затраты больших сил и напряжения. Собирание материалов, как историко-литературных, так и всяких других, и их научное издание также обязана взять на себя Академия Наук. Она должна предпри-

нять систематическое обследование библиотек и книгохранилищ, общественных и частных, и привести в известность весь печатный и рукописный материал. Когда эти необходимые средства научного изучения будут даны в руки ученому исследователю, тогда только можно будет говорить о более успешном развитии и расширении научных изысканий во всех областях знания.

После выполнения этой черновой подготовительной работы должно следовать изучение *содержания* художественного творчества, а затем и его *формы*.

Обращаясь к изучению *содержания*, прежде всего, необходимо широкое выявление той историко-литературной основы, на фоне котоной зарождалось и жило художественное творчество. Эта картина культурного состояния, однако, не имеет самодовлеющего значения.

В историко-литературной науке она должна занимать чисто служебное положение. Она необходима лишь для правильного и всестороннего выяснения фактов художественного творчества и не составляет основной задачи истории литературы.

Для изображения этой картины отнюдь не следует прибегать к литературным произведением и квалифицировать их как документы, имеющие чисто исторический интерес. Те данные, на основании которых историк литературы будет обрисовывать культурно-исторический фон, должны быть заимствованы из дисциплин, смежных с литературою, именно, из истории, социологии, философии и пр.

Создавая картину культурно-исторической почвы ранее всего надлежит перейти к освещению общественных, умственных и литературных интересов и переживаний известного промежутка времени, в пределах которого происходило зарождение, рост и жизнь изучаемого литературного произведения, творчества того или другого художника или же целой группы писателей. Эта обрисовка трех сторон общественно-культурной жизни народа необходима для того, чтобы определить место, которое занимал известный художник, и обрисовать нити, которыми он был связан с культурою своей нации.

Частнее выясняя эти три поставленные вопроса, мы должны ответить на то, в какой мере художник был зависим от родной почвы и культурной традиции, как велика, его индивидуальная оригинальность в указанных сферах, насколько велико то личное достояние, которое он внес в сокровищницу родной культуры, и, наконец, в какой степени его творчество или отдельные части его оказываются типичными, как для определенного круга времени, для известной эпохи, так и для человеческой жизни вообще, в ее вечном масштабе; другими словами, насколько велики в его творчестве элементы чисто временного преходящего характера, а также—вечные, постоянные.

В частности, поставленные задания предполагают решение вопроса о том, насколько крепки были связи художника с той социальной средой, в кругах которой он вращался; насколько широко отразились общественные традиции в его творчестве, в какой мере оно было новостью для этой среды, на сколько оно способствовало ее эволюции и в какой степени оно было типичным для этой общественности, как родной национальной, так и общечеловеческой. При этом социальные связи известного художника должны быть соединены историческою цепью с такими же отношениями других художников, его предшественников, должны быть связаны так, чтобы эволюция взаимоотношений художественного творчества и социальной среды постоянно проходила перед взором историка литературы.

Подобные же вопросы возникают и при выяснении взаимных

отношений между художником и умственными течениями соответствующей ему эпохи в виде религиозных и философских интересов и настроений.

Равным образом должны быть определены таким же способом, по трем координатам: традиционное, индивидуальное и типовое—и литературные связи художника, как с национальными писателями так и чужеземными. Эти связи должны быть выяснены в трояком отношении. Творчество художника надлежит поставить в связь с его предшественниками в области национальной литературы, а также литературы иностранной, и определить их взаимные отношения, выяснить зависимость его от предшествующей литературы и отметить вместе с этим те новые элементы в сфере литературных традиций, индивидуальные и типовые, которые привнес своим творчеством художник.

Вопрос о влияниях как национальной литературы, так и чужеземной должен решаться здесь в том направлении, чтобы указать лишь зависимость в отношении содержания данного творчества.

Здесь же, в этой картине культурно-исторической среды, должно иметь место и изложение фактов личной жизни художника, его биографии. Характер и размеры жизнеописания определяются тем соображением, что оно не должно иметь самостоятельного значения и не является главной задачей историко-литературного изучения. В нашей науке биография необходима постольку, поскольку она служит для более правильного и всестороннего исследования творчества писателя, применительно к тем методологическим предпосылкам, которые уже отмечены выше, а также будут указаны в дальнейшем изложении.

Все перечисленные задания, подлежащие историко-литературному изучению, составляют содержание того метода, который называется *историческим*. Но насколько можно видеть из этих общих вопросов, выдвигаемых историческим методом, элементы историзма переплетены здесь с явлениями *эволюционного* и *сравнительного* характера. Устанавливая историческую последовательность, мы тем самым по существу определяем генезис и эволюцию литературного творчества в тех частях исторического изучения, которые только что отмечены. Кроме того, выявление индивидуальных особенностей в указанных областях, выяснение зависимости и влияний в творчестве изучаемого художника, а также определение его типических черт,—предполагает сравнительное изучение его. Таким образом, то содержание исторического метода, которое складывается в моем понимании, заключает в себе приемы сравнительного и эволюционного изучения литературы. Эти же приемы войдут, как составные части, и в историко-литературное изучение с точки зрения других методологических предположений.

Когда известный художник и его творчество введены в круг социальных, философских и литературных отношений, и эти отношения изложены в исторической последовательности, когда в указанной сфере определены его зависимость, его связи и его индивидуальная надстройка, когда выяснены типические стороны изучаемых явлений тогда возможен переход к дальнейшему углублению историко-литературных изучений того или другого художника.

В первую очередь должно быть поставлено исследование внутренней стороны произведения, изучение души писателя, как художника, и души его творчества. Здесь выступает на сцену, так называемый метод *психологический*. К сожалению, основные требования,

выставляемые этим методом, до настоящего времени не определены в ясной и категорической форме.

В моем понимании он конструируется в таком виде. По крайней мере представитель историко-литературной науки, применяя мерку психологического исследования писателя, обязан изучить его, как художника эмоциональной жизни, как изобразителя отдельных эмоций в связи с явлениями волевыми и интеллектуальными, а затем, как бытописателя комплекса настроений, мыслей и чувств, того, что в психологии называется натурою или характером. В первом случае перед нами встает задача охарактеризовать отдельные моменты психической жизни, отдельные эмоциональные явления в мире внутренних душевных переживаний. В последнем же случае выступает на очередь учение о постоянном и прочном комплексе психических явлений, учение о характерах, которое Д. С. Милль предлагает назвать „этологией" или „наукой о характерах".

В своей простейшей форме этология предполагает сведение индивидуального многообразия к определенным группам и рубрикам путем отвлечения общих психических свойств, отличающих известный персонаж или известную группу их.

Само собою разумеется, элементы традиционного творчества, индивидуального и типового должны быть выделены и при изучении суб'ективного мира в художественной деятельности писателя.

После изучения содержания художественного творчества должно быть поставлено исследование *формы* отдельного произведения изучаемого писателя или полного собрания их, что составляет предмет по преимуществу метода *эстетического*. Основные требования, которые выставляет этот метод, сводятся к постановке следующих вопросов, составляющих в общей сложности поэтику художника.

Прежде всего, должна быть охарактеризована общая манера изложения, усвоенная художником. Здесь должны быть указаны качества его описаний различных сторон изображаемой им жизни, их детальность или поверхностность, их простота или вычурность, степень их образности и т. д.

Далее следует изучение композиции произведений писателя, характера и особенностей в развитии темы, в расположении отдельных частей произведения, его персонажей и связи их между собою. Сюда же относится и выяснение характера литературных сюжетов, лежащих в основе творчества писателя.

Все приемы композиции, а также явления сюжетности мы должны поставить в связь с подобными же явлениями предшествующей литературы. Кроме того, в данной сфере мы обязаны установить и чисто индивидуальные манеры автора, а из них выделить наиболее для него характерные, типичные.

Таким же точно образом—путем выделения традиционного, индивидуального и типового—должно в дальнейшем идти изучение и художественного жанра в творчестве писателя. В данной области задачу историка литературы составит исследование форм творчества лирического, эпического и драматического. В пределах каждой из этих форм мы должны, руководствуясь данными теории литературных форм, охарактеризовать их отдельные составные части и отличительные свойства.

Далее эстетическое изучение форм художественного творчества предполагает обследование писателя, как художника быта и природы. Здесь возникает вопрос о чувстве природы писателя, о характере его пейзажной живописи, его бытовых картин, вопросы, которые

также должны быть решены применительно к указанным трем координатам.

Наконец, эстетическое изучение форм поэтического творчества должно закончиться анализом стиля писателя по тому же плану расчленения на три отдела—традиционного, индивидуального и типового.

Я изложил общее содержание историко-литературных методов, или иначе—метода плюралистического, в виде постановки отдельных вопросов каждым из них. Конечно, во многих отношениях поставленные задачи еще неясны, расплывчаты, туманны. Однако прогресс науки несомненно ведет к постепенному углублению и определению их в более ясной и устойчивой форме. Кроме того круг изложенных вопросов далеко еще не замкнут. Вне всякого сомнения, развитие науки выдвинет в области каждого из указанных методов ряд новых вопросов, подлежащих исследованию.

Но постановкой и разрешением перечисленных заданий дело изучения литературы и ее истории еще не кончается. Если до сих пор мы оперировали в сфере чистой науки, вне всякой связи с реальною жизнью, то теперь нам необходимо поставить и формулировать такого рода вопросы, которые связали бы историко-литературную науку, со стороны ее *содержания*, с жизнью, с окружающими нас жизненными условиями и требованиями, что особенно уместно и более всего необходимо в сфере университетского преподавания. Всякая наука должна иметь тесную связь с текущею жизнью. Для меня нет науки вне жизни.

Эта взаимная связь историко-литературной науки и нашей жизни выражается в том, что литература обязана дать определенную основу для личной и общественной деятельности в деле строительства национальной цивилизации. Она должна выполнить свое воспитательное предназначение и определенно вычертить путь культурного поведения каждого отдельного индивидуума и целого общества, направленного к созиданию и сохранению того, что составляет „систему национальной культуры".

Выполняя эти задачи, имеющие целью установление связи между литературою и жизнью, историко-литературная наука должна обратиться к тем методам, которые пытаются в той или иной форме поставить и разрешить вопросы воспитательного значения литературы. Это—методы *этический* или *моральный* и *публицистический*, иначе называемый *политическим*.

По сравнению с предыдущими эти методы отличаются еще в большей мере неустойчивым и суб'ективным характером. Это обстоятельство об'ясняется тем, что содержание их может быть различным в зависимости от общественно-политических и морально-философских переживаний. Но и этим методам нельзя отказать в известном наукообразии, поскольку методологические предпосылки, выставляемые ими, соответствуют культурным требованиям народа в определенный период времени его жизни.

Исходя из этого положения, главные требования этих методов, на мой взгляд, должны складываться из следующих предпосылок.

Основной принцип морали, без которого не обходилась ни одна этическая система, составляет понятие о долге и его признании, его общеобязательности. Но сознание долга и его признание является в сущности только формальным принципом, известной нормой, которая, однако, ничего не говорит о содержании этого долга. В разные исторические моменты оно может быть различным. Однако, в основе

этого содержания должна лежать единственно нравственная ценность каждого народа это—известная „система национальной культуры".

Созидание и сохранение этой культуры возможно только путем выполнения известных культурных обязанностей на основе ярко выработанного морально-философского миросозерцания. Вот это миросозерцание и должен построить историк литературы на основании тех данных, какие дает творчество отдельного писателя или литература в своей совокупности за определенный промежуток времени. В этом случае он установит живую связь между историко-литературною наукою и жизнью в сфере этических отношений.

Если нравственно-философское мировоззрение представляет собою основной вопрос морального метода, то выработка миросозерцания общественно-политического характера, направленного на служение народу в духе строительства той же национальной культуры, составляет главное содержание метода публицистического или политического.

Таким образом, оба метода, пользуясь различными средствами, направляются к одной единственно возможной цели, которая и оправдывает их существование и применение в деле историко-литературных изучений. Строительство национальной культуры—таков их руководящий мотив, таков импульс культурного поведения того историка литературы, который будет создавать на основании данных художественного творчества систему нравственно-политического миросозерцания. Служение этому высокому идеалу составляет высшую морально-политическую ценность.

Помимо указанных, воспитательное значение имеют и другие методы, уже рассмотренные мною, напр., эстетический, дающий нам картину эстетического миросозерцания, психологический, рисующий гармоническое сочетание душевных явлений, стройность характера и т. д.

Вводя в схему изучения литературы метод этический и публицистический, я должен подчеркнуть одно обстоятельство. Само собою разумеется, применение этих методов в предложенном понимании возможно только к некоторым произведениям художественной литературы, именно, к таким, которые содержат определенные конкретные данные для построения морально-политического миросозерцания в указанном духе. Что же касается фактов художественного творчества, непригодных совсем или мало пригодных для приложения разбираемых методов, то они отнюдь не исключаются из обихода историко-литературной науки. Они только неподходящи в данной области, в сфере применения методологических предпосылок этического и публицистического характера, но для остальных методов, входящих в предложенную схему, они составляют обычный об'ект их исследования.

Заключительную главу в изучении литературы и ее истории должно составлять *философское* проникновение в идейное *содержание* художественного творчества и создание того, что называется философией литературы. Построение ее предполагает искание смысла и основных свойств во всем разнообразии историко-литературных явлений, определение господствующей и руководящей идеи литературы, открытие ее жизненного нерва, направляющего ее на путь определенного и необходимого развития.

Я очертил в самой общей форме главные вопросы, выдвигаемые всеми перечисленными методами. Но этим дело построения методологической теории не может ограничиться. Указанные предпосылки

составляют только часть историко литературной методологии, именно, ту, которую можно назвать *общей* методологией. В пределах каждого из указанных вопросов необходимо еще формулирование целого ряда частных заданий, требующих историко-литературного изыскания и выяснения. Но это предмет *частной* методологии, которая еще ждет своего составителя.

Намечая общую схему научного изучения литературы и ее истории, я далек от мысли, что знание правил методологии гарантирует успешность историко-литературного исследования, что по параграфам методологии можно научиться работать и сделаться ученым историком литературы. Методология только ведет мысль ученого в известном направлении, она является своего рода путеводною звездою в его научных занятиях. Весь секрет научной работы заключается в том, чтобы наилучшим образом сырой историко-литературный материал облечь в соответствующую форму, приложить теорию к практике. В этом случае методологические предпосылки и технические правила не принесут нужной пользы. Единственная сила, от которой зависит успешное и наилучшее выполнение историко-литературных исследований в смысле обработки материала в научную форму, является творческая самодеятельность, личное дарование ученого, его интуиция, его художественность, его импрессия. Творческое воображение составляет главный секрет научной работы. Но оно принадлежит к сокровенным сторонам человеческой души, и его внутренняя сущность недоступна нашему познанию.

Таким образом, взор ученого историка литературы должен обнимать три существенных предмета: художественное творчество в виде сырого бесформенного материала, метод, как путь научных изысканий, и, наконец, индивидуальное творческое дарование, как силу, наилучшим образом об'единяющую два предыдущих фактора. Эти три части являются существенною принадлежностью историко-литературной науки, а их об'единение в виде цельной системы составляет весь секрет научных историко-литературных изысканий.

А. Вознесенский.

Стихотворения Г. Гейне в переводе Ф. И. Тютчева.

I.

Поэзия Тютчева, своеобразная по содержанию и скромная по форме, не била на эффект и не бросалась в глаза широкой публике. Сам поэт, не придававший сначала значения своему творчеству, также совершенно не заботился об успехе своих произведений. Он не хотел их собирать и редактировать для отдельного их издания. Благодаря этому поэтическая деятельность Тютчева прошла почти незамеченной современниками.

Только очень немногие истинные знатоки и также ценители искусства поняли истинные размеры дарования поэта по тем немногим стихотворениям, которые дарил обществу Тютчев.

Пушкин один из первых отозвался со своей удивительной чуткостью на появление нового таланта. Он открыл ему место на страни-

цах своего „Современника“. Здесь в III и IV томах за 1836 год и в томе VI за 1837 год нашли себе место 27 „стихотворений, присланных из Германии“ и подписанных никому неизвестными инициалами „О. Т.“ Это был основной фонд будущего собрания стихотворений нашего поэта.

Тот же „Современник“, но уже под другой редакцией, спустя 17 лет после смерти Пушкина, помещает на своих страницах уже 111 стихотворений Тютчева (т. XLIV, № 3 и 7. XLV, № 5 за 1854 год).

Некрасов не ограничился только тем, что напечатал стихотворения Тютчева. В статье о „русских второстепенных поэтах“ он еще в 1850 году в ярких словах характеризовал поэзию Ф. Т. и предсказывал поэту славную будущность (Современник“, т. XIX, № 1).

И тем не менее истинная известность Тютчева устанавливается лишь после его смерти и при том спустя довольно много времени.

Можно сказать, что только с двадцатого века начинаются изучения творчества Тютчева, и он находит себе справедливую оценку только на наших глазах. Только в двадцатом веке появились первые более или менее полные собрания сочинений Тютчева (1900 г., изд. под ред. А. А. Флоридова; 1913 г., изд. т-ва А. Ф. Маркс под ред. П. В. Быкова) собрание писем к жене („Старина и Новизна“, т. т. XVIII, XIX, XXI).

Но и при всем том Тютчев остался поэтом для немногих. Его стихи вряд ли станут когда нибудь достоянием широких масс. В этом вина не нашего поэта, а той эпохи, в которую суждено было ему творить.

Критики и историки литературы, которым приходилось писать о Тютчеве, единогласно утверждают, что для 30-х—60-х годов прошлого века, на которые падает расцвет творчества Тютчева, он был явлением поразительным, чудесным, необ‘яснимым. У Тютчева не было предшественников, говорят они.

В самом деле поэзия Тютчева сохраняет всю свою самобытность на фоне даже таких исключительных поэтов, как Пушкин и Лермонтов, сверстники его юности, и Некрасов, Фет и Майков, сверстники его зрелых лет.

У Тютчева мы не найдем ни кристальной ясности и простой мудрости Пушкина, ни бурности и смятенного духа Лермонтова, ни негодующей гражданственности Некрасова, ни невозмутимости Фета и рассудительности Майкова. О других же, второстепенных, поэтах не приходится и говорить.

Более того: не находя Тютчеву об‘яснений в русской действительности, критики склонны видеть в его творчестве загадку и загадку нераз‘яснимую.

Кто скажет, что „Урания“ и „Я помню время золотое“ послание к Раичу и „Сон на море“ принадлежать перу одного и того же автора? И как понять переход от Раича с его не совсем складным классицизмом к совершенно своеобразному для русской поэзии той эпохи пансихизму „Mal‘aria“?

Тютчев представляется нам весь целиком таким, каким мы знаем его по собранию его стихотворений. Он как бы из‘ят из законов развития и является как бы подобно Афине-Палладе во всеоружии своего дарования.

Такое представление о поэте об‘ясняется тем, что мы и до сих пор мало, точнее сказать—почти совсем не знаем его. Наиболее потрудившийся в свое время над биографией автора „Silentium“, близко его знавший и очень его ценивший И. С. Аксаков признавался, что в биографии Тютчева много совершенно чистых листов, особенно по отношению к годам юности и молодости поэта.

Благодаря этому мы лишены возможности представить себе более

или менее определенно нравственное формирование нашего поэта, и он выступает перед нами уже сложившимся человеком.

Опубликованные до сих пор его произведения также не дают нам картины духовного и поэтического развития Тютчева: их хронология почти совершенно неизвестна, и только усердные старания неутомимых библиографов помогли приурочить к определенной дате некоторые, но далеко не все, стихотворения его. Автографы Тютчева пока еще не поступили в более или менее значительном количестве ни в одно из государственных наших хранилищ. В свое время наследники поэта, предпринимавшие издание его сочинений и имевшие в своем распоряжении автографы, почему то не сочли нужным поделиться с публикой своими сведениями о времени создания стихотворений поэта. Таким образом, стихотворения Тютчева в настоящее время располагаются в собраниях его сочинений не на основании каких либо совершенно точных, указанных самим поэтом дат, а по крайнему разумению издателей и редакторов. При таких условиях неизбежны некоторые хронологические недоразумения, а вопрос о поэтическом совершенствовании Тютчева остается открытым.

Этим об'ясняется и то обстоятельство, что творчество Тютчева вызывало до сей поры почти исключительно критические, а не историко-литературные исследования. Для критики и наличного материала оказалось достаточным для окончательного суждения о Тютчеве. Для истории литературы их слишком мало, и ближайшая задача историков литературы и должна будет свестись к отыскиванию нового материала по Тютчеву, с одной стороны, его надлежащей разработке—с другой.

Критика XX века провозгласила Тютчева предтечей и родоначальником русского „символизма“ или, точнее, „импрессионизма“. Отсюда и тот чрезвычайный интерес к Тютчеву, который проявлен именно нашими символистами начала века.

Но, определив характер творчества Тютчева, критика далее не идет. Для нее—все равно, откуда взялись те или иные ноты в поэзии нашего автора, когда они родились в его душе. Она даже не связывает поэзию Тютчева с его позднейшими последователями. Она констатировала факт, нашла ему удачное определение и на этом остановилась.

А молодые символисты, выступив сразу целой школой, в представлении общества оттеснили на второй план своего предвестника. Вот почему, высоко ценя своего родоначальника, наши символисты не сделали его творений популярными в широкой читающей публике.

Так Тютчев, не зная апофеозы, но не испытывая и развенчивания, столь обычных смен для наших крупных поэтов, попал вдруг, хотя и с большим запозданием, в категорию так называемых классических поэтов. И теперь его имя попало и за страницы школьных хрестоматий. Но история его творчества все еще загадочна для нас.

За неимением прямых документов, приходится подходить к его изучению кружным путем.

II.

Может быть, ни к кому другому не применимо в такой степени библейское изречение—„несть пророк токмо не во отечествии своем“,—как к Г. Гейне.

В течение долгого времени поэзия Г. Гейне пользовалась гораздо большею известностью и популярностью на чужбине, чем на родине. Было когда-то и такое время, когда самое имя Гейне считалось чуть-ли не запретным в известных кругах Германии.

Русскому читающему обществу Гейне становится известным очень рано. Выход в свет в Германии „Книги песен" (1827 год) повлек за собою целый ряд переводов из нее в русских журналах. Но еще ранее отдельные стихотворения Гейне появились на страницах русской печати вскоре после их опубликования в Германии.

Вскоре Гейне становится наиболее популярным из иноземных поэтов в России. Вся наша лирическая переводная поэзия, начиная с самых тридцатых годов, отмечена сильнейшим влиянием гениального немецкого писателя. Переводы, подражания, „мотивы из Гейне" не сходят со страниц наших журналов и альманахов. Стихотворения Гейне цитируются героями повестей и романов.

Начиная с Лермонтова, почти все наши поэты, как крупные, так и второстепенные, отдали в той или иной мере дань увлечению Гейне, передавая на русском языке некоторые мотивы его поэзии. Вплоть до 80-х годов прошлого века легче, пожалуй, пересчитать наших поэтов, не переводивших и не подражавших Гейне, чем тех, которые так или иначе подпадали его влиянию.

Каждая эпоха и каждый из поэтов-переводчиков находят в творчестве Гейне такие стороны, которые гармонируют с их собственными настроениями и направлениями, и которые кажутся заслуживающими внимания и русской читающей публики.

Мечтательным и философствующим тридцатым и сороковым годам нравился Гейне первого периода своего творчества, Гейне романтик и фантаст.

Эстетизирующие пятидесятые годы увлекаются в поэзии Гейне своеобразной красотой формы и той удивительной игрой ума, которая брыжжет заразительным ключем из каждого стиха, из каждого слова немецкого поэта.

Позитивным шестидесятым годам, с их гражданской скорбью и с резкой критикой традиционного уклада жизни, кажется созвучной поэзия Гейне последнего периода с его ядовитым скептицизмом и безжалостными сарказмами против филистерства во всех его проявлениях.

Русские увлечения Гейне заканчиваются выходом в свет в 1862 г. 1-го „собрания сочинений Г. Гейне в переводах русских писателей". Гейне нашел себе в России двух паладинов, беззаветно служивших своему господину в меру сил своих и уменья. Это два брата Вейнберги. Один—переводил и переделывал более или менее удачно Гейне на свой лад („Гейне из Тамбова"); другой, старательно изучая все, касающееся любимого поэта, способствовал уразумению русской публикой знаменитого немецкого стихотворца. Он редактировал и 1-ое собрание сочинений и 2-ое так называемое „полное" собрание сочинений Г. Гейне (изд. А. Ф. Маркс, СПБ 1904). Он снабдил его и обстоятельным биографическим очерком.

При всем том мы, русские, все еще не имеем достаточно точного и полного представления о поэзии Гейне, во первых, потому, что пресловутое полное собрание его сочинений в переводах русских писателей далеко не полно (в них нет, напр., знаменитого „Диспута", отсутствуют многие места из „Дневника" и т. д.), во вторых, потому, что стараниями нелепостной цензуры и многие вошедшие в состав этого собрания стихотворения искалечены и искажены до неузнаваемости (напр., известный цикл „К Лазарю", „Германия" и др.).

Интересная личность немецкого поэта также не может быть правильно понята читателями, пока им будут неизвестны письма нашего поэта, эти любопытнейшие человеческие документы, где Dichtung так переме-

шано с Wahrheit, что даже кропотливейшие изыскания биографов лишь отчасти могут расставить элементы по их настоящим местам.

Во всяком случае критика еще далеко не сказала своего последнего слова о Гейне. И если отдельные стороны его творчества проследили более или менее обстоятельно, то другие все еще остаются в стороне. А литературный портрет Гейне во весь рост не дан еще никем из критиков и историков литературы.

До сих пор еще не улеглись ожесточенные споры по поводу Гейне, хотя миновало уже несколько его юбилеев. Это как будто показывает на тот факт, что мы еще не отошли от Гейне, что он волнует еще живые струны нашей души.

III.

Тютчев не избежал общей участи своих современников—поэтов; и он на некоторое время был заинтересован поэзией Гейне. Ему суждено было быть одним из первых, если не самым первым из пионеров—пересадителей гейневской поэзии на русскую почву.

У Тютчева были на это свои особые причины и поводы, которых не было у других его современников и потомков поэтов—переводчиков Гейне.

Одна из этих причин, и пожалуй самая важная—близкое личное знакомство русского поэта с его гениальным немецким собратом.

К сожалению, скудность биографических сведений о Тютчеве не позволяет точно установить, когда состоялось первое знакомство наших поэтов. Биографам же Гейне этот факт, конечно, не представляется достаточно значительным, чтобы на нем стоило останавливаться.

Известно, что Гейне провел время с октября 1827 года по июль 1828 года в Мюнхене, где редактировал „Politische Annalen“ Катты. В это время Тютчев служил в русской миссии при Баварском дворе.

В эти дни Гейне был усердным посетителем гостинной Тютчевых (наш поэт недавно женился на г-же Петерсон), ухаживал за красавицей свояченицей Тютчева, гр. Бадмер, и блистал своим неподражаемым остроумием.

Уже тогда Гейне называет русского поэта в своих письмах „лучшим из своих мюнхенских друзей“. Каковы были отношения Тютчева к Гейне не засвидетельствовано соответствующим образом-по крайней мере до сих пор неизвестно каких-либо отзывов Тютчева о Гейне той эпохи.

Гейне мечтал тогда о кафедре профессора немецкой литературы в „немецких Афинах“ и сумел заручиться поддержкой министра фон Шенка, тоже стихотворца и своего почитателя. Однако, недруги поэта оказались могущественнее министра, и поэту так и не удалось осуществить своего желания.

Время шло. Фон Шенк обещал уведомить Гейне о результатах его исканий. В ожидании ответа Гейне уехал в Италию, но письма все не было.

Тогда Гейне обращается к Тютчеву, все еще находившемуся в Мюнхене, прося его деликатно напомнить фон Шенку о волнующем Гейне вопросе, и прибавляет: „Вы дипломат и, конечно, сумеете искусно узнать причину его молчания так, чтобы Шенк не догадался откуда идет вопрос“.[1])

Очевидно, уже тогда отношения наших поэтов были довольно близкими, если Гейне, вообще очень недоверчивый, обращается к Тютчеву с этой щекотливой просьбой. Неизвестно, исполнил ли ее

---

[1]) Помещено у A. Stradmann—H. Heine. Sein Leben und Werke. 2 т. и приведено в статье П. Т—в. Тютчев и Гейне, „Русский Архив, 1875, кн. 1, стр. 128“.

Тютчев. Но и он, повидимому, был более чем расположен к своему талантливому собрату. По крайней мере, он помнит о днях, проведенных вместе в Мюнхене и после разлуки. Направляясь в 1830 году в отпуск на родину, Тютчев с женой заезжают навестить Гейне в Вандсбек, где тогда жил немецкий поэт.

Когда и при каких обстоятельствах началось знакомство поэтов, при современном состоянии наших сведений установить определенно не удается. Но можно думать, что впервые они встретились еще до переезда Гейне в Мюнхен в 1827 году. Сохранился автограф тютчевского перевода 40-го стихотворения цикла „Heimkehr“ „Книги песен“ Гейне— „Как порою светлый месяц“ („Wie der Mond sich leuchtend dranget“, помеченной 1823 годом[1]) Между тем, стихотворение Гейне впервые было напечатано в 52 номере „Gesellschafter oder Blätter für Heist und Herz“ Губица за 1824 год.

Где и как узнал Тютчев это стихотворение? Очевидно, задолго до его опубликования и, значит, в рукописи. Как это произошло—ни тот, ни другой поэт не отметили в известных нам писаниях.

Остается предположить, что встреча Тютчева и Гейне имела место задолго до мюнхенского периода их жизни, и, должно—быть, уже тогда между ними установились хорошие отношения: вовсе не в характере Гейне было знакомить первого встречного со своими новыми произведениями.

Надо думать, что встреча эта не была мимолетной, а повлекла за собою сближение двух поэтов. Таким образом, в мюнхенскую гостиную Тютчевых Гейне вступил уже на правах старого знакомого.

Здесь в течение нескольких месяцев это знакомство укрепилось, а скорая разлука новых друзей помогла, быть может, сохранению хороших воспоминаний в обоих поэтах. Известно, что Гейне органически не мог сохранять хорошие отношения даже с самыми близкими своими друзьями, если ему приходилось долго быть с ними в общении. Один из крупнейших знатоков Гейне, Г. Карпелес замечает по этому поводу, что историю отношений немецкого поэта ко всем его близким можно характеризовать словами „разбитая дружба“.

Нетрудно понять, что для сближения двух наших поэтов, кроме всех этих чисто внешних обстоятельств, были и другие более глубокие основания. Их могли привлекать друг к другу и причины психологического свойства.

В психологии наших поэтов были черты, близко роднившие их друг с другом. Оба—почти сверстники, оба—поэта, они в то же время были и мыслителями. Их искания не были только игрою ума: выдающиеся остроумцы и парадоксалисты, они увлекались горячо и страстно прекрасным. Различные в своих темпераментах и характерах, оба они были одинаково „рыцарями духа“ в полном смысле этих слов. Прекрасное, в какой бы форме оно ни проявлялось, было для них на первом месте. Отсюда—их любовь к искусству вообще, к поэзии—в частности. Для них обоих искусство—символ другого, непостижимого мира. И оба они ценят в искусстве изящество и тонкость форм, чутко воспринимаемых ими самими и мастерски претворяемых в их созданиях.

Оба молодые, жизнерадостные и полные сил, они жадно упиваются жизнью, они наслаждаются ею во всю, отдавая дань увлечению прекрасным полом, но за этой видимой рассеяной и суетливой жизнью таится другая, глубокая и таинственная сущность. Автор эротических „различных стихотворений“ („Verschiedene“), Гейне в то же время и творец философического цикла „Северное море“ („Nordsee“). Тютчев,

[1]) Факсимиле его приложено к „Собранию Сочинений Ф. И. Тютчева“ 1886 г.

создатель легкого, как дымка „я помню время золотое" в то же время лелеет в своей душе знаменитое „Silentium".

Гейне переживал тогда как раз тот период своего творчества, когда в нем еще бродили неотстоявшиеся элементы философского и националистического романтизма, претворяясь в его душе в какой-то новый необычный поэтический вариант. Это борение обходилось ему далеко нелегко. Отсюда его ядовитая ирония над романтизмом, эпилогом которого был и сам поэт; отсюда эти саркастические насмешки над тем, что было священно для него самого. Потому-то и была так непонятна для современников поэзия Гейне, и потому-то он был чужим во всех лагерях.

Для Тютчева же, который еще не испытал власти литературных школ и традиций, и который сохранил полную свободу и независимость эстетических суждений, поэзия Гейне не могла казаться столь оскорбительной, как современникам немецкого поэта. А прелесть и своеобразие формы должны были привлекать к себе Тютчева.

Таким образом, при всем несходстве наших поэтов, у них были, однако, пункты соприкосновения в их художественных, поэтических и умственных запросах, а самое различие духовной структуры естественно возбуждало между ними живой обмен мнений.

Вероятно, собственное творчество обоих поэтов давало не мало поводов к этому. И Тютчев в этом отношении имел значительное преимущество перед своим гениальным собратом. Русский поэт мог ценить в Гейне не только остроумного и приятного собеседника, но и замечательного поэта, и его творения были для Тютчева открытой книгой. Для Гейне же создания его собственного друга были, конечно, недоступны. В лучшем случае он мог ознакомиться с ними лишь в переводе на немецкий язык и, вероятно, в прозаическом. Зная всегдашнюю скромность Тютчева по отношению к своим стихотворениям, мы можем даже предположить, что вряд-ли и знакомил с ними Гейне.

Нам ничего не известно об отношениях наших поэтов после 1830 года. Повидимому, они более не встречались, да если бы и встретились, то вряд ли их дружба развивалась бы в том же направлении: и поэтические, и общественные дороги Тютчева и Гейне резко разошлись в разные стороны.

Во всяком случае для творчества Гейне это знакомство прошло бесследно.

В творчестве же Тютчева его сближение с немецким поэтом провело некоторые новые штрихи.

IV.

В творчестве Тютчева памятью его отношений к Гейне остались переводы семи стихотворений немецкого поэта.

Все вместе они были впервые помещены лишь в так называемом 2-ом издании „Сочинений Ф. И. Тютчева" (изд. И. и Д. Тютчевых под ред. А. А. Флоридова), Спб. 1900, а затем и во всех последующих.

К сожалению и при изучении переводов Тютчева мы встречаемся с теми же затруднениями, как и при изучении его творчества вообще: редактор почему-то не проставлял дат написания отдельных стихотворений (хотя и имел под руками автографы поэта, а последний обыкновенно точно отмечал время и место их написания).

Позднейшие редакторы, внимательно пересмотревшие произведения Тютчева в печати, установили хронологию их напечатания. Но для исследования поэзии Тютчева в этом слишком малое облегчение. Тютчев,

мало дороживший литературной славой, не торопился печатать свои стихотворения, и поэтому промежуток между временем написания и временем напечатания у Тютчева может быть очень велик, иногда до нескольких десятков лет.

Благодаря этому и хронология переводов Тютчева из Гейне довольно неопределенна и может быть установлена лишь приблизительно. Труды И. С. Аксакова, А. А. Флоридова, П. В. Быкова и Р. Ф. Бранота дают следующую картину.

1. Самый ранний из известных переводов Тютчевым стихотворений Гейне—„Как порою светлый месяц" (стр. 264), то есть—„Wie der Mond sich leuchtend dranget" („Buch der Lieder", „Heimkehr" № 40; 1 B., стр. 114—115—относится к 1823 году, согласно известному автографу (см. выше стр. 13). Напечатан он еще при жизни поэта трижды: [1]) в „Галатее" на 1830 г., кн. XII, № 8, стр. 76; [2]) в „Весенних Цветах" на 1835 г. № CVIII, стр. 209; [3]) в „Галатее" (вторично) на 1839 год., ч. III, № 21, стр. 253.

2. „С чужой стороны" („На севере мрачном, на дикой скале", стр. 261)—то есть „Ein Fichtenbaum steht einsam"—время написания неизвестно, но вряд-ли ранее выхода в свет 1-го издания „Tragoedien nebst einem lyrischen Intermezzo", Berlin, 1823, где впервые напечатано данное стихотворение. Напечатан перевод при жизни Тютчева дважды: 1) в „Северном мире" на 1827 год, стр. 338, [2]) в „Современнике" на 1854 года, т. XLV, № 3 (март, № СП. стр. 7.

3. „Друг, откройся предо мною" (стр 264)—то есть „Liebste, sollst mir heute sagen" „ B. d. L.," L. In." № 16; стр. 71). Время написания неизвестно, но вряд ли ранее 1823 года, когда оригинал был напечатан, в „Aurora Taschenbuch". Напечатан впервые в ,,Галатее" на 1830 г., XVIII, стр. 196.

4. ,,Вопросы" (стр. 261),—то есть—,,Fragen" (,,B. d. L.," ,,Die Nordsee", ,,2 Cyclus" № 7; стр. 190)—время перевода вряд ли ранее 1827 года, когда оригинал появился впервые в ,,Reisebilder". Напечатан перевод в ,,Галатее" на 1830 год. т, XIX, № 40, стр. 133.

5. ,,В которую из двух влюбиться" (стр. 264)—то есть ,,In. welche soll ich mich verlieben" (,,Neue Gedichte" Verschiedene", „Holante und Marie", № 2; стр. 241). Время написания повидимому, 1831 год; об этом можно заключить потому, что автограф этого перевода находится на одном листе со стихотворением ,,На взятие Варшавы", а это последнее относится к 1831 году. Впервые напечатан лишь во 2 издании соч. Тютчева (1900 г.)

6. ,,Кораблекрушение" (стр. 262—263)—то есть ,,Den Schiffbruchige" („B. d. L.", ,,Die Nordsee," ,,2 Cyclus", № 3, стр. 181). Время перевода неизвестно, но не ранее 1827 года (см. выше стр. 4). Напечатан впервые в так называемом 1-ом собрании сочинений Ф. И. Тютчева (Спб. 1886 г).

7. „Мотив Гейне" („Если смерть есть ночь, если жизнь есть день") —переделка стихотворения „Der Tod das ist die kühle Nacht" (B. d. L ", „Heimkehr", № 87, стр. 154). Время перевода неизвестно, но, вероятно, не ранее 1 изд. ,,Reisebilder" (см. выше № 4). При жизни Тютчева напечатано впервые лишь в 1869 году в журнале „Заря" (№ 2, февр., стр. 118).

Быть может, столь незначительное число переводов Тютчева из Гейне покажется кому-нибудь знаком чисто случайного и мимолетного интереса русского поэта к автору „Путевых картин". Вряд ли это так,

во первых, в виду тех обстоятельств, о которых речь шла выше, а во вторых, в силу того, что интерес, проявленный Тютчевым к поэзии Гейне, как показывает наш хотя и далеко неполный обзор, длился по крайней мере 9 лет. Два датированные стихотворения — „Как порою светлый месяц" и ,,В которую из двух влюбиться"—ставят грани: 1823 и 1831 годы. Не исключена возможность того, что другие, недатированные. переводы относятся к более позднему времени. Но уже самый факт, устанавливаемый датированными переводами, думается, указывает, что не мимолетен тот интерес, который длится по крайней мере целых 9 лет. Тютчев несколько раз в течение этого периода возвращается к Гейне, как будто стараясь найти в стихах последнего что-то такое, что было-бы сродно и с его собственным настроением.

Николай Шаров.

Волочная устава королевы Боны и устава о волоках.*)

Систематические попытки создать новые формы землепользования и землевладения в Литовско-белорусском государстве были предприняты королевой Боной на территории Пинского и Клецкого княжеств.

Аграрная реформа была начата весной 1552 г. и закончена весной 1555 г. Ответственная работа по проведению в жизнь задуманной аграрной реформы была возложена на пана Станислава Хвальчевского, в данное время бывшего старостой Пинским, Кобринским, Клецким, Гродецким, держащей Селецким. Его помощниками были Иван Горецкий, составивший под надзором пана старосты писцовую книгу, и мерчие Ян Дубовский и Богушь Махнович. Королева Бона не ограничилась только одним распоряжением произвести аграрную реформу. Для такой большой и ответственной работы надобно было составить общее руководство, без которого деятели реформы, конечно, обойтись не могли. В свою очередь, принципы, положенные в основу хозяйственного руководства, были приняты во внимание и правительством Сигизмунда II при производстве соответствующей реформы на собственно господарских землях.

Экономическое наставление королевы Боны не велико по об'ему. Составители первого не интересовались деталями и разными административно-хозяйственными наставлениями. Они ограничились только формулировкой общих принципов, положенных в основу реформы, предоставляя деятелям последней проводить их на практике по собственному усмотрению. В хозяйственном наставлении указания были высказаны в виде общих мыслей, несколько несмело, тогда как в уставе о волоках они получили дальнейшее развитие и детализацию.

Хозяйственные указания королевы Боны—с одной стороны, практическое руководство при производстве аграрной реформы, с другой стороны, отчасти и теоретико-экономический трактат в области сельско-хозяйственной политики, содержащий в себе новые принципиальные положения. Такой же точно характер носит и волочный устав Сигизмунда Августа, хотя в последнем практический его характер выступает еще отчетливее, и теоретические основания как то незаметно раство-

---

*) Глава из третьего тома нашей работы „Аграрная реформа Сигизмунда Августа в лит. русск. государстве".

ряются среди ряда административно-хозяйственных советов и указаний. Королеве Боне нельзя отказать в большой хозяйственной предусмотрительности и решимости она порвала со старыми хозяйственными отношениями: и поставила сельское хозяйство в несколько иные условия в целях поднятия доходности и увеличения производительности дворцового хозяйства. Ее сыну оставалось воспользоваться опытом матери и повсеместно произвести ту же аграрную реформу, которая была частично проведена королевой Боной на территории Пинского и Клецкого княжеств. Опыт королевы Боны не мог пройти бесследно для ее сына и его сотрудников.

Аграрная реформа королевы Боны является в некотором отношении аграрной революцией, насильственно разрывавший с истаринными формами землепользования и землевладения, уничтожавшей чересполосицу и положившей конец незаконному владению землей. Задевая интересы и шляхетского и крестьянского землевладения, аграрная реформа, вызывая общее недовольство, однако, не вызвала нигде активного сопротивления, что и позволило сравнительно быстро, в три года осуществить грандиозную аграрную реформу. Это спокойное осуществление аграрной реформы могло, вероятно, в некотором отношении оказать влияние и на Сигизмунда Августа, который мог не опасаться активного противодействия при производстве задуманной аграрной реформы, как со стороны шляхетства, так и господарского крестьянства.

Королева Бона, приступая к реформе, действует как рачительный хозяин предприниматель, который заботится о планомерной эксплоатации своих доходных статей, считаясь с условиями и потребностями, как внешнего, так и внутренняго рынка. Сигизмун Август, производя волочное измерение, находился под давлением пустоты своего скарба, и стремление поднять доходность и производительность господарских имений связано с крайней нуждой в деньгах и с необходимостью в ближайшее время пополнить пустоту господарского [1]) скарба. Этим об'ясняется, почему аграрная реформа Сигизмунда Августа не могла носить только локальный характер. Она должна была стать повсеместной в тех частях территории государства, где для этого были на местах соответствующие условия.

Устав королевы Боны начинается с определения размеров волоки. Последнее делается в чрезвычайно общей форме. Затем в уставе идет речь о денежных платах, которые падают на городские огороды иволоки. Далее устав переходит к определению размера тяглой службы пчиншов с каждой волоки, считаясь с качеством волоки, а также и тех натуральных повинностей, которые падают по волоку земли. Устава считается с наличностью специальных разрядов населения и выясняет их повинностные отношения к скарбу. Указаниями на необходимость давать отмены частным землевладельцам и на способ их производства заканчиваются экономические предписания королевы Боны. Самое примитивное знакомство с уставой королевы Боны обнаруживает неполноту его и полное умалчивание о ряде практических вопросов, которые могли возникнуть на местах при осуществлени реформы. Эту пустоту должен был заполнить устав о волоках. В нем нет стройности и логико-экономической последовательности, но за то в нем на лицо детализация отдельных положений, о которых ни слова не говористя в уставе Королевы Боны, как, например, о сборе поступлений, отчетности, взысканий

1) В. Пичета: „Аграрная реформа Сигизмунда—Августа в литовско-русском государстве" ч. I. М. 1917.

недоимок с управителей, порядке выполнения населением, лежавшим на нем тяглых и других повинностей и т. д. 1) Впрочем, королева Бона могла *и не касаться этих вопросов, так как в частно-владельческом* хозяйстве все эти вопросы могли быть разрешены специальными распоряжениями королевы Боны, как собственницы имений. Естественно, что и вопрос об ответственности старост не могло быть особенно острым при постоянном контроле со стороны хозяйского глаза.

Разрушение старого земельного строя достигалось через введение новой земельной единицы-волоки. По уставу Боны—в каждой волоке тридцать моргов, в каждом морге—тридцать прутов, а в пруте—$7^1/_2$ локтей. Других размеров волоки устав королевы Боны не знает. Устав волочный Сигизмунда Августа имеет волоку в 33 морга. Измерение земли делится на три поля, по 11 моргов в каждом, если только такое деление возможно по местным условиям. Если же „с причин разных“, такое деление и измерение земли на три поля невозможно, то земля делится на волоки, но без деления последней на три поля.[2]) Тридцати морговые волоки на практике, в свою очередь, делились на три поля по 10 моргов в каждом. Отдельные волоки раздаются подданным; земли, лежащие за отдельными волоками, так называемые „застенки“ по волочному уставу и по хозяйственной практике королевы Боны могут быть *розданы крестьянам за дополнительную плату*.[3]) При измерении королевой Боной территории Пинского и Клецкого княжеств принималось во внимание вся территория, как находившаяся в обладании королевы Боны. Это подразумевалось само собой и не требовало никаких указаний в уставе Боны. Устав Сигизмунда Августа *не мог не коснуться* этого вопроса и точно не определить, что является об'ектом волочного измерения, в противном случае, на этой почве могли бы возникнуть разного рода нежелательные недоразумения. Измерению на волоки подлежали только господарские земли „купленные и заставные“, кгды эус кметь и вся его маестность нам есть“[4]) По уставу королевы Боны производство аграрной реформы сопровождается уничтожением черезполосицы. Если под волоки будут отобраны земли плебанов, кантористов владык, архимандритов, русских попов и земян, то вышеназванные землевладельцы *получают отмену, но не в момент* производства реформы, а по окончании последней, когда измеренные земли будут разобраны крестьянами и, следовательно, выяснится наибольшая хозяйственная годность земель.[5]) По существу такой хозяйственный эгоизм совершенно правилен, хотя бы он задевал интересы, как духовного, так и светского землевладения.

В уставе королевы Боны нет никаких указаний относительно производства отмены. Очевидно, Пинский и Клецкий староста или получил соответствующие указания лично или сообщил Боне свои планы, которая их одобрила. Но приложенный к писцовой книге регест. отмен позволяет составить определенное представление о тех принципиальных положениях, которые принимались паном Хвальчевским во внимание при производстве реформы. Ревизор королевы Боны, раздавая отмены, ко-

---

1) Пичета opus cit: глава IV.

2) Устава на волоки, стр. 29. (Изд. Арх. Ком.).

3) Писцовая книга. Пинского и Клецкого княжеств, составления Хвальчевским, стр. 44.

4) Устава, арт. 29.

5) Писцовая книга стр. 44.

нечно, должен был принимать во внимание интересы тех держателей господарских имений, которым давалась отмена. Основным правилом, которого держался староста пан Хвальчевский, было положение, чтобы не пострадали материальные интересы держателей земли. Поэтому, при производстве отмены, приходилось считаться с тем фактом, что земли могли быть неравноценными по качеству почвы, и эту неравноценность приходилось возмещать тем или другим способом. По качеству почвы ревизор делил земли на несколько категорий: средние, злые, средне-злые, не выясняя, однако, точно взаимного соотношения между волоками земли разными по качеству почвы.

Раздавая отмены, ревизор Хвальчевский давал последние равноценным грунтом. В этом случае, деражатель земли получал такое же количество волок, какое у него было отобрано ревизором. У игумена монастыр Св. Пятницы, Романа Борисовича взяли для Королевы пахотной земли и сеножатной земли всего 11 м. $1^1/_2$ прута, среднего грунта. Его отмена соответствовала тому, что у него было отобрано.[1]) Земянин Стефан Борзобогатый отдал для округления 3 м. 27 пр. грунта средне-злого. Отмена соответствовала тому, что было отобрано.[2]) Такого рода равноценные раздачи было легко произвести в том случае, когда земли брались в одном отрубе, и таким же отрубом давалась отмена.

При производстве отмен ревизор мог столкнуться с фактом отбрания земли лучшей по качеству почвы и невозможностью дать равноценную отмену. В таком случае давалась надбавка по усмотрению пана старосты. У Плебана Клецкого Матея Копповского было отобрано 2 в. 5 м. 29 пр. земли разного качества, и притом разбросанной по отдельным местам Ему отмена была дана также не в одном куске, но так как отобранная земля была по качеству лучше данной в отмену, то плебану была дана надбавка в 1 м. 10 пр.[3]) Священник Игнат Иванович отдал под волоки четыре куска земли разной по качеству—всего 1 в. 12 м. 4 п. Отмена ему была дана худшей по качеству земли, но за то с некоторой надбавкой. Отмена равнялась 1 в. 17 м. 4 пр.[4])

При производстве реформы отмена могла быть и лучшей по качеству почвы в сравнении с измеренной на волоки землей. Земянин повету Ляховицкого Ян Шеневский отдал 10 м. 22 пр. Этот обруб составился из трех земельных обрубов-2 м. 10 пр. грунта злого, 6 м. 6 $^1/_2$ пр. и 2 м. $2^1/_2$ пр. грунта среднего. Его отмена тоже состояла из трех отрубов и равнялась 9 м. 22 пр., но за то исключительно землей средней по качеству почвы. [5]) Священник церкви св. Николая Трофим Васильевич отдал 10 в. 26 м. 27 пр. лежавших в нескольких местах. В составе отошедшей земли находилось 10 волок грунту злого, а также и сеножатии. Отмена, данная священнику, равнялись 3 в. 1 м. 27 пр. большею частью грунта среднего. Отмена дана исключительно „полем" по просьбе самого священника,[6]) так как у него была отобрана вся земля, годная для пашни.

Итак, при даче отмены, последняя могла оказаться 1) одина-

---

[1]) Пис. кн. Пин. и Клец. кн. стр. 509 и 510.

[2]) Писц. кн. стр. 511

[3]) Jbid. стр. 509.

[4]) Jbid, стр. 511.

[5]) Jbid, стр. 526.

[6]) Писцов кн. стр. 521.

ковой по качеству и количеству с отобранной землей 2) большой по размерам, но худшей по качеству и 3) меньшей по размерам, но лучшей по качеству почвы, 4) одинаковой в доходном отношении, и равной по ценности. Изучение отмен и участков, взятых под волоки, указывает на дробность и незначительность владении, что, может быть, делало фактически невозможным установление определенного соотношения между разными по качеству почвы волоками и давало возможность широкого применения ревизорского усмотрения.

Отводимые отмены, видимо, были обязательны. Но обязательность неисключала возможности подачи жалобы на действия пана старосты. Впрочем, на небольшой по масштабу территории все недоразумения могли быть легко разрешимы, а потому, с этой стороны, не требовалось особых указаний. При составлении волочного устава необходимо было подробнее и точнее обрабстать часть устава, относящуюся к производству отмены, выяснить некоторые важные подробности, о которых ничего не было сказано в хозяйственной инструкции королевы Боны, но зато совершенно отказаться от приема давать отмены по выяснении стоимости земли или ее доходности. Последние два приема были трудно применимы к территории всего государства. Действительно, волочной устав в этом отношении детальнее. Этому первостепенной важности вопросу отводится достаточно много внимания, и самый вопрос разбирается довольно подробно. Ревизоры имели совершенно точные указания относительно того, как поступать при производстве отмены. Составители волочного устава исходили из той мысли, что держатели господарских имений не должны терпеть никаких материальных убытков от округления господарских дворов и уничтожения существовавшей черезполосицы. Отмена должна быть равноценной тому грунту, который отходит на господаря. Отводимый участок на правах отмены должен быть „споручку имениям земян. „Но устав считается с возможностью отсутствия на лицо равноценного по качеству грунта, и потому в таких случаях устав рекомендует замену лучшего по качеству почву земельного участка-наделом в увеличенном размере, из земли более плохой по качеству почвы. Устав делит земли на три разряда по качеству почвы: предний, среднпй и подлый, между которыми устанавливается обязательное соотношение, которым должны были руковиться деятели реформы. За отобранную волоку предней земли давали полторы волоки средней и три волоки плохой. Если же приходилось давать отмену землей очень плохого качества „надер подлым, блотливым або песковатым“ грунтом, то ревизорам предоставляется право поуступать по собственному усмотрению. Единственно с чем ревизор должен был считаться—это было требование устава „абы нам и оному, у кого берут шкода не была“. Самая отмена дается в присутствии уряда, и ее принятие обязательно. Устав допускает случаи, когда отдельные земяне не пожелают „таковое отмены за упором прымовати“. В таком случае, она всетаки записывается в книги господарского уряда, а держателю предоставляется право обжаловать отвод отмены. Но если бы недовольный отменой шляхтич вздумал портить „упорные стены волокам и границы“, стремился бы использовать для себя „оный грунт, в померу взятый“, то такое действие устав о волоках приравнивает к гвалту, и уряд должен „моцно боронити альбо правом гвалту на таком позыскивати“.[1])

Сравнивая приемы производства отмены в Пинском и Клецком княжествах и по волочному уставу Сигизмунда Августа можно установить полное их однообразие. Отмена должна быть равной по качеству тому

---

[1]) Устава арт. 29

участку земли, который был измерен и переписан на королеву или короля. Уравнение участков и отмен с разными по качеству почвой в Пинском и Клецком княжествах определялось усмотрением старосты Пана Хвальчевского. В волочном уставе были указаны те об'ективные данные, которыми должен был руководиться ревизор в противоположность суб'ективным планам пана старосты. Эта фиксация в волочном уставе-решительный шаг в перед в сравнении с полным умолчании об этом в волочном уставе королевы Боны. Действительно, раз волочной устав действует на протяжении всей территории Литовско-Белорусского государства, то деятели реформы должны были получить и общие об'ективные данные, которыми они должны были руководиться в своей административно-хозяйственной деятельности.

Хозяйственная устава королевы Боны дает только общие указания для правильной постановки дворового хозяйства в целях наибольшей его эксплуатации. Устава ограничивается в этом направлении только одним общим указанием.

Самая ее сущность отчетливо выступает в аграрных мероприятиях главного деятеля реформы в Пинском и Клецком княжествах пана Станислава Хвальческого. Последний был озабочен тем, чтобы при каждом королевском дворе, если только почвенные условия этому благоприятствовали, была заведена особая дворовая пашня. Действительно, последняя заводится там, где для этого представляется какая либо возможность. Так при дворе Селецком Пинского старосты была заведена дворовая пашня в размере 10 в. 10 м. [1]). Дворовая пашня сконцентрирована в одном месте. Для нее пришлось отобрать земли у соседних мещан, земян, православного духовенства и паробков. Для пашни Ставецкого двора в том же старостве были отведены в первую очередь земли паробков, а потом земян. На дворовую пашню было отведено 12 волок.

Разбитый на три поля, по условию местности, участок земли, отведенный под пашню, не лежал в одном месте, а был разделен на два отдельные отреза в 8 и 4 волок. [2]) При дворе Дружиловском пашня была уничтожена, очевидно, по каким то хозяйственным соображениям, на „выхование" уряда или для проезда старосты Пинского в Кобрин было отведено распоряжением пана Хвальчевского 2 волоки земли [3]). При дворе Кнубовском совсем не было дворовой пашни [4]). Дворовая пашня при дворе Ститичевском была вся роздана челяди невольной, так как земельный грунт не был достаточно хорошим. Но при производстве реформы, ревизором „королевы ее милости" было отведено 1 вол. 10 морг. Впрочем, едва ли можно было вести на такой небольшой площади какое либо хозяйство, да к тому же волока земли была „грунту злого", следовательно, была совершенно негодна для ведения сельского хозяйства и эксплуатации дворовой пашни. [5]) При дворе Мялевском существовала пашня в размере 12 вол. Она оброзовалась из отошедших ко двору земянских земель и была поделена на три поля. [6]) При дворе Красно-

[1]) Писц. книга. стр. 41.

[2]) Ibid: Стр. 42.

[3]) Ibid: стр. 101.

[4]) Ibid: стр. 171.

[5]) Ibid: стр. 169.

[6]) Ibid: стр. 459.

ставском было отведено пашни 15 в. 10 м. грунту среднято [1]). На двор Сеневский было отведено пашни 9 волок, в числе которых было 4 в, 15 м. грунту среднего и столько же плохого [2]). На двор Тетеровской под пашню было отведено всего 7 в. 29 м. 15 пр. среднего грунта. Основой дворовой пашни были паробоцкие земли. Составитель описания указывает, что вокруг двора находится не мало лесов еще неизмеренных, но годных для разработки под пашню [3]).

Таким образом, ревизор стремился заводить дворовую пашню там, где для этого были благоприятные условия, при чем для пашни отбирались подходящие земли, как дворовой челяди, так и частно владельческие, как духовные, так и светские. Королеве Боне не надо было давать особой инструкции относительно устройства фольварочного хозяйства. Необходимость его логически вытекала из всех хозяйственных мероприятий Боны. Да к тому же староста Пинский пан Хвальчевский мог получить и личные указания, которым он должен был следовать для осуществления новых хозяйственных мероприятий королевы Боны. Совсем в ином положении находились составители уставы о волоках. В последней было необходимо подчеркнуть ближайшую задачу реформы-устройство господарского фольварка во всех господарских имениях „яко наболыши быти могут“, конечно за исключением тех, где это невозможно вследствие несоответствующих почвенных условий „где бы грунты злые и непожиточные были“. [4]) То, что в хозяйственной деятельности королевы Боны, подразумевалось само собой, и о чем королевины администраторы могли получить соответствующие словесные указания, это в волочной уставе было высказано в виде определенного положения, обязательного для всех администраторов, и от которого можно было отступить только в определенных случаях.

Ревизоры королевы Боны заводили дворовую пашню там, где для этого были подходящие условия. В противном случае, свободные земли давались для эксплуатации самого уряда или населения. Так при Дружиловском дворе „на выхование“ урядника было отведено две волоки. Что же касается старой пашни, бывшей раньше при этом дворе, то если она будет эксплуатироваться дворовой администрацией, то последняя должна уплатить в королевен скарб чинш „ведлуг уставы и описания грунту“ [5]). Ревизор королевы Боны, оставляя на уряд при дворе Дружиловском две волоки земли и предоставляя ему остальную землю эксплуатировать по собственному усмотрению, но с уплатой чинша, разрешил местный случай использования земли, не взятой под пашню. Для составителей уставы о волоках такой частный вопрос становился общим, и поэтому поводу надо было принять какое либо определенное решение. Для уставы о волоках этот вопрос находится в тесной связи с вопросом о способах и средствах вознаграждения местного уряда за его хозяйственную деятельность: устава о волоках предписывает земли, неподходящие для пашни „людьми осажлвати“, но предварительно выделив на уряд „в кождом поли по одной волоце“. Эксплуатация этих волок должна производиться врядом за собствен-

[1]) Ibid: стр. 404—405.

[2]) Ibid: стр. 476.

[3]) Ibid: стр. 496.

[4]) Устава на волоки арт. 20.

[5]) Писц. Кн: стр. 112.

ный счет „огородники и быдлом своим“. На уряд также, отводится и морг земли на огород, и притом безплатно [1]).

Таким образом, индивидуальное в хозяйственной деятельности Боны, становится общим хозяйственным принципом в волочной уставе, впрочем, с некоторой разницей; устава не предоставляет права врядннку брать неотошедшие под пашню земли в аренду, а требует обязательного осложивания их людьми.

В писцовой книге королевы Боны нет никаких указаний на то, какое вознаграждение должен был получать дворовый уряд, если при дворе была заведена пашня. Этого, впрочем, и не требовалось, так как вознаграждение того или другого урядника всецело обычно определялось „лаской и милостью королевы Боны“.

Королева Бона, как опытная хозяйка, превосходно была осведомлена о всех подробностях постановки хозяйства в своих имениях, и ей нет нужды было определять размер вознаграждения каждого уряда зависившего исключительно от самой королевы. Совсем в ином положении находились составители уставы о волоках. Они не могли отказаться от определения доходов уряда. Необходимо было ввести повсюду единообразную систему вознаграждения, дабы и контроль над действиями вряда был лучше осуществлен и возможных злоупотреблений было меньше. Поэтому, в тех дворах, где имеется дворовая пашня, уряд мог брать на себя третий сноп „збожья ужатья всякого“ [2]) и кроме того, со всяких дворов сеножатий „пятый воз“. [3])

Хозяйственно-административные обязанности уряда не нашли себе определения в писцовой книге Пинского и Клецкого княжеств. По существу это было лишним. Королева Бона вмешивалась во все детали хозяйства своих имений, раздавала администраторам письменные и устные приказания, была в курсе всех хозяйственных мероприятий своих администраторов. Устава о волоках должна была детально регламентировать хозяйственные обязанности уряда, чтобы на почве пред“явления к ним тех или других требований не возникало никаких с ними недоразумений.

Самый контроль над деятельностью державцев было легче осуществить в том случае, когда обязанность последних точно определены и выяснены. Устава о волоках не могла ограничиваться одним молчанием. Система личных поручений и учазаний была неприменима там, где хозяйственные мероприятия осуществлялись на протяжении всей территории литовско-бело-русского государства. Этим и об‘ясняется та детализация обязанностей вряда по ведению хозяйства, которая принята в уставе о волоках. [4]).

Установление при дворах пашни выдвигало вопрос об обезпечении ее надлежащим количеством рабочих рук. Производившие ревизию отказались от применения рабского труда для обработки пашни. Таковая производится исключительно при помощи так называемого тяглого крестьянства, и на каждый двор было отведено определенное количество тяглых волок, держатели которых были обязаны обрабатывать дворовую пашню своими силами. На двадцать две волоки пашни дворов:

---

[1]) Устава арт. 20.

[2]) Устава; арт. 20.

[3]) Устава; арт. 24.

[4]) Устава: арт. 20.

Ставецкого и Селецкого было отведено в трех войтовствах 172 волоки пашни тяглой, т. е. средним числом на одну волоку дворовой пашни приходилось в общем 5 ½ волок тяглых. Следует принять во внимание и то обстоятельство, что на территории указанных дворов земля средняя по качеству постоянно перемешивается с землей плохой по качеству. На 15 в. 10 м. пашни Красноставского двора было отведено 112 в. 15 м., т. е. приходилось на одну волоку пашни более 7 тяглых волок, при чем последние в некоторой своей части состояли из плохого грунта.[1]) На 12 волок пашни двора Малевского было отведено 61 в. 15 м. тяглых волок, при чем пашня была по качеству средняго грунта, и большая часть волок была таковыми, за исключением двух волок грунта злого. Следовательно, при Малевском дворе на одну волоку дворовой пашни было отведено по пять тяглых волок[2]). На девять волок пашни Сеневского двора было отведено 87 в. 1, 5 мор., т. е. по 9,½ волок на одну волоку дворовой пашни. Это об'ясняется тем, что в составе дворовой пашни половина волок была „злого грунта", а из тяглых волок 57 волок были волоками „злыми".[3])

На Тетеревский двор ревизор отвел 7 в. 29 м. 15 пр.[4]). Количество тяглых волок, отведенных для обработки дворовой пашни, равнялась 56 в. 15 м; следовательно, на одну волоку дворовой пашни было отведено несколько больше 7 волок тяглых. Ссумируя все указанные наблюдения, мы приходим к выводу, что аграрные реформаторы королевы Боны для определения количества тяглых волок для дворовой пашни не руководились одними нормами на протяжении всей территории Пинского и Клецкого княжества. Такая неопределенность, конечно, была допустима, когда производилась реформа по почину частного лица, действовавшего на территории своего владения и могущего в каждом отдельном случае дать соответствующие дополнения и раз'яснения. Совсем иной практики должно было держаться правительство Сигизмунда--Августа. Аграрные реформаторы должны были иметь общие указания, для них обязательные, отступление от которых было возможно только в исключительных случаях, а потому вполне, естественно, что составители уставы о волоках, отводя волоки на дворовую пашню, точно определяют количество отводимых тяглых волок. Согласно уставе о волоках на каждую волоку дворовой пашни отводится 7 волок „3 волы и клячами", расположенных вблизи двора и пашни[5]). Определив так количество тяглых волок для обработки одной волоки пашни, составители устава могли воспользоваться практикой агентов королевы Боны, колебавшейся между 5 и 10 волоками и отвели то количество тяглых волок, которые, по мнению составителей уставы о волоках, совершенно достаточно для обработки одной волоки дворовой пашни.

Производя аграрную реформу в Пинском и Клецком княжествах, королева Бона имела в виду поднятие производительности и увеличение доходности своего хозяйства. Для этой цели агенты заводили дворовую пашню там, где ее не было, и где для этого были соответствующие подходящие условия. Разумеется, в некоторых дворах, устройство пашни оказалось фактически невозможным, Господарские дворы оста-

---

[1]) Писцовая книга стр. 406—459.

[2]) Ibid: стр. 474.

[3]) Ibid: стр. 495.

[4]) Ibid: стр. 496

[5]) Устава, орт. 20.

вались всего лишь административными центрами прилегавших к ним сел. По такому же рецепту действует и составитель волочной уставы, настаивающий на устройстве фольварков „при каждых замках и дворех наших“, за исключением только тех мест, где для этого нет подходящих условий, вследствие отсутствия подходящего грунта[1]).

Ревизоры, королевы Боны, производя аграрную реформу и устраивая дворовую пашню, вследствие тех или других условий не могли везде завести пашню. Однако, и в этом случае на двор отводилось некоторое количество волок. Так при Дружиловском дворе Пинского княжества пашни не оказалось. Она была запущена и погибла. При производстве реформы ревизор, по указанию пана Станислава Хвальчевского, отвел для двора две волоки, которые должны были предназначаться для „выхования уряда“ или для проезда самого старосты в Кобрин.[2]) И составитель уставы о волоках в таком случае поступает также. Только на уряд отводится „в каждом поли“ по одной волоке, которую вряд обязан обработать своими силами и с помощью своего рабочего скота[3]).

Устава королевы Боны знает несколько разрядов сельского населения. Высший разряд составляли лица, отправлявшие какую нибудь специальную службу, либо эксплоатировавшие господарские угодья. Устав королевы Боны упоминает только о ковалях, о полазниках, бобровниках, колесниках.[4]) Между тем, в писцовой книге встречаются бортники[5]), млынари[6]), пивоварцы[7]), бондари[8]), конюхи[9]), осочники[10]), пушкари[11]), стрельцы[12]). В уставе королевы Боны не упоминается о путных бояр. Между тем, они находились при каждом дворе. Такая лапидарность текста уставы вполне понятна. Устава давала принципиальные положения, предоставляя самому ревизору и мерчему руководствоваться ими при земельном наделении представителей высшего разряда сельского населения.

Согласно указаниям уставы ковали получают для отправления своей службы по две волоки, свободные от чиншов. Полазник, который должен быть на лицо в каждом войтовстве, получает за свою работу одну волоку, свободную от тяглой службы, но обязан платить чинш, однако в таком размере, в каком его уплачивают тяглые люди. Бобровники сидят на волоке и во время ловли бобров освобождаются от тяглой службы, от св. Николая до св. Семена. Затем наступает время, когда бобровники обязаны и службу нести и чинш платить. Колесники, освобождаются от тяглой службы, когда они заняты какой либо замковой работой. Если же колесники окажутся не занятыми, то они по прежнему обязаны уплачивать чинш и нести тяглую службу[13]). Таковы общие указания уставы королевы Боны. Ими, конечно, руководились

[1]) Ibid, арт. 20.
[2]) Писцов. книга, стр. 102.
[3]) Устава, арт. 20.
[4]) Писц. кн., стр. 4.
[5]) Ibid: стр. 171—172.
[6]) Ibid: стр. 57, 59, 41, 43.
[7]) Ibid: стр. 42, 404.
[8]) Ibid: стр. 36, 51 и т. д.
[9]) Ibid: стр. 80.
[10]) Ibid: стр. 71.
[11]) Ibid: стр. 393, 404.
[12]) Ibid: стр. 68.
[13]) Ibid: стр. 4—5.

королевины агенты-реформаторы. Так они посадили бортников на одну волоку с уплатой чинша[1]), стрельцы сидят также на чиншевых волоках[2]) хотя в другом селе стрелец и спомещен на одной волоке, свободной от чинша[3]).

Мельники посажены на чиншевых волоках[4]), пивоварец при дворе Селецком получил в свое распоряжение вольных 18 м. 24 пр. грунту среднего[5]), а в другом месте пивоварцы получили в пользование свободную волоку земли[6]). Дойлиды сидят на одной вольной волоке[7]), осочники сидят на свободных волоках[8]), замковой пушкарь, живущий внутри города, имеет свободную усадебную оседлость. Путные бояре сидят обыкновенно на чиншевых волоках[9]), но в селе Паршевичах путные бояре сидят на вольных волоках[10]). Правда, земля их плохого качества. Добавочная волока средней по качеству земли обложена чиншем.

В уставе и действиях ревизора заметна тенденция отводить возможно меньше волок, свободных от чинша. Обыкновенно, все держатели волок уплачивают чинш, освобождаясь от последняго при исполнении ими господарских работ. С другой стороны, в уставе нет точного указания, какое количество волок отводится на одну службу. В данном случае, действовал по собственному усмотрению сам староста. Не смотря на отсутствие точных указаний относительно повинностного положения высших разрядов сельского населения, можно все таки отметить тенденцию давать вольные волоки только в некоторых случаях, в зависимости от местных условий по усмотрению ревизора и его агентов. Устава о волоках, конечно, должна была коснуться этого первостепенной важности вопроса. Устава не могла предоставить этот вопрос исключительно на рассмотрение одних агентов, производивших реформу, так как в таком случае между населением и господарскими агентами могли бы возникнуть недоразумения. Да и к тому же, раз господарское дворовое хозяйство во всех волостях, где производится аграрная реформа, строится на одних принципах, то и положение высшего разряда сельского населения должно было быть всюду одинаковым. Волочная устава также не пытается перечислять все разряды сельского населения и способы их земельного обезпечения. Устава дает только общие указания, которыми должны были руководиться господарские агенты. Как ревизор Пинского и Клецкого княжеств должен был оставлять на специальной службе людей, только в случае действительной необходимости, так и по волочной уставе количество лиц, отправляющих специальные службы и несущих особые повинности, должно определяться только потребностями замка и двора. Так ревизоры обязаны посадить на землю определенное количество путных бояр,

---

1) Ibid: стр. 171—172.

2) Ibid: стр. 171—172.

3) Ibid: стр. 68.

4) Ibid: стр. 59—43.

5) Ibid: стр. 42.

6) Ibid: стр. 404.

7) Ibid: стр 51, 36.

8) Ibid: стр. 71.

9) Ibid: стр. 74.

10) Ibid: стр. 88

однако они должны „обирати и не болш, толко съ потребу при кажъдом замку и дворе нашомъ заставити“ [1]). Определяя повинностное положение высшего разряда сельского населения, устава держится принципиального положения такого характера: высший разряд сельского населения сидит на определенном количестве волок вольных „отъ всехъ платовъ“, но при условии действительного выполнения службы и отправления той повинности, которая на нем лежит. В противном случае, они должны платить чинш с каждой волоки в определенном размере [2]). Это таже тенденция, которой руководились и ревизоры Пинского и Клецкого княжеств. Наконец, некоторые разряды, прежде отличные по своему повинностному положению от прочих разрядов сельского состояния и теперь остаются при них, но „за вси повинъности, цынъши овъсы и сена ценязьми з волок до скоръбу нашого платити, яко и осадники“ [3]). Так устава квалифицирует положение бортников. Второй разряд сельского населения в уставе королевы Боны составляют тяглые люди. Их повинностное положение определено совершенно точно. Тяглые крестьяне с каждой волоки несут два дня барщины в неделю, а с половины волоки один день барщины. Если же участок земли меньше полу волоки или является просто застенком, то назначается каждому держателю особый урок, за исключением всякой другой службы и других повинностей. Такое постановление уставы вполне целесообразно. Определенные повинности можно требовать с нормального земельного участка. Если таковаго нет на лицо, то и система повинностей по отношению к земельному участку меньших размеров совершенно не применима. В таком случае, по усмотрению ревизора на держателя такого небольшого участка возлагаются повинности в зависимости от его экономического положения, уже не по нормам уставы. Такое разрешение вопроса, конечно, вполне возможно, раз реформа производится в частно-хозяйственном владении, и все дефекты которого легко исправить сепаратным административно-хозяйственным распоряжением. Кроме барщины тяглому крестьянству не приходится нести никакой другой повинности. Затем тяглые люди в зависимости от качества грунта должны платить чинш, давать продукты натурой или вместо них деньгами [4]). Добавочные их платежи можно представить в следующем виде:

Качество грунта.	Чинш.	Жито.	Овес.	Итого.
Добрый	20 гр.	10 гр.	10 гр.	40 гр.
Средней	15 „	10 „	5 „	30 „
Злой	12 „	10 „		22 „

Таким образом, чинш колеблется в зависимости от качества почвы

[1]) Устава, арт. 1.

[2]) Устава, арт. 3.

[3]) Устава, арт. 2.

[4]) Писц. кн. стр. 4.

Количество жита, взносимого всеми тяглыми крестьянами, независимо от качества грунта, совершенно одинаково. Зато с каждой волоки уплачивается по разному овсом. Держатели волок с плохим по качеству грунтом освобождаются от уплат овса. Кроме того, тяглые люди, на случай приезда королевы, должны давать стацию по такому расчету: с каждой волоки—два гроша: одна курица, десять яиц, а с пяти волок—один гусь. Остальные продукты должны покупаться на деньги, при чем уплата за них деньгами не производится. Скарб уменьшает пропорционально чинш, приходящийся на каждую волоку [1]). Крестьяне, сидящие на волоках и свободные от тяглой службы, называются осадными. Их повинности представляются в следующем виде:

Качество грунта.	Чинш.	Жито.	Овса.	Итого.
Добрый	60 гр.	10 гр.	10 гр.	80 гр.
Средний	40 „	10 „	5 „	55 „
Злой	30 „	10 „		40 „

Кроме того, крестьяне, сидевшие на осаде, были обязаны давать стацию в той же пропорции и на тех условиях, на которых давали стацию тяглые крестьяне. Наконец, с каждой тяглой или оседлой волоки, за исключением служебных волок, приходится толока шесть раз в год, а также каждая волока отбывает по очереди подводную повинность, выставляя подводу с волоки [2]). Устава о волоках остальное сельское население делит также на тяглых и осадных. Она определяет повинности и платежи последних также в зависимости от качества земельного участка. Устава делит землю по качеству на четыре разряда: к обычным трем она вводит четвертый вид грунта весьма подлый, блотливый, песковатый. Это дополнение вызвано необходимостью выделить в особую категорию земли, весьма плохие по качеству почвы, так как к ним были неприменимы общие нормы повинностей и платежей. Крестьяне тяглые отбывают барщину—два дня в неделю, уплачивают чинш, и натуральные податки в виде мелкого дохода: кур, гусей, яиц; стации а также сена и овса. Стация обыкновенно собиралась деньгами, но если последовало господарское распоряжение, то стация поступала натурой: с тридцати волок—одна яловица, два барана и отдельно с волоки „по куряти и по десяти яец“ [3]). Количество платов приходящих на волоку земли того или другого качества можно представить в следующей таблице:

Качество грунта.	Чинш.	Куры, гуси, яица, стации, неводы.	Овес.	Сено.	Итого.
Добрый	21 гр.	8	20 гр.	5 гр.	54 гр.
Средний . . .	12 „	8	20 „	5 „	45 „
Подлый . . .	8 „	8	10 „	5 „	31 „
Велмиподлый . .	6 „	8	„ „	„ „	14 „

[1]) Писц. кн., стр. 4.
[2]) Ibid: стр. 4.
[3]) Устава, арт. 16.

Итак, в господарский скарб поступали с тяглой волоки платы в 54, 45, 31 и 14 грошей в зависимости от качества почвы. Обложение тяглого крестьянства платами и натуральными повинностями строится в уставе на тех же основаниях, что и в уставе королевы Боны с той лишь разницей, что в уставе волочном обложение несколько выше. Система чинша несколько иная—более высокий чинш Задержание доброй волоки и значительно уменьшенный чинш с волок более плохих по качеству почвы. За то тяглые люди уплачивали постоянную стацию. В уставе Боны стация—экстраординарный сбор. Затем вместо жита вносится овес и сено, но ценность этих натуральных повинностей в волочной уставе выше ценностей натуральных податков по уставу кор. Боны. Повышая платежи и повинности, волочная устава в общем итоге держится принципов уставы Боны. Разница между всеми платежами в уставе соответствует такой же разнице в уставе Боны, с незначительными колебаниями в стороны увеличения. По уставу Боны платежи с доброй волоки на 10 гр. больше, чем со средней, а в волочной уставе разница между соответствующими платежами составит девять грошей. По уставу Боны разница в обложении между обложением волоки средней и плохой по качеству почвы составляет 12 гр. таже разница по волочной уставе равняется 14 гр. Наконец, разница между волоками велми подлыми и плохими по уставу составляет 17 гр. Увеличение платежей по уставу Сигизмунда Августа несколько уменьшается тем, что тяглые люди отбывают четырехдневную толоку с освобождением от работ в большие праздники, как то: на Рождество, Масляницу, и Пасху по одному дню, а по уставе Боны для всех приняты шести дневные толоки и не сказано, идет ли она в зачет свободы от работ в большие праздники. Устава королевы Боны допускает владение землей в размере волоки, полуволоки и меньше. В первом случае платежи и повинности уменьшаются вдвое. Во втором случае, всякий раз ревизор определяет плату и повинности. Что же касается волочной уставы, то все ее финансовые рассчеты отправляются от волоки. Она рекомендует раздачу только целых волок. Там же, где целой волоки не может быть, там, где участок земли исчисляется тем или другим количеством моргов, там платежи определяются количеством моргов, находящихся в застенке, причем в уставе точно определено обложение, приходящееся на каждый морг застенка. Волочная устава должна была отступить в этом отношении от устава королевы Боны, и индивидуальное распоряжение ревизора заменить фиксированными платежами, что позволит администрации избежать разного рода ошибок и уклонений в сторону от правильной оценки урока, приходящегося на каждый застенок[1]). И повинностное положение осадного крестьянства по волочной уставе сложнее и тяжелее. Осадные люди уплачивают чинш, за куры, гуси, неводы, стацию, за толоку, гвалт, осаду, овес и сено. С переводом всех натуральных платежей на деньги, с каждой волоки доброго грунта шло в скарб—106 гр. среднего—97, плохого—83 и велми подлого и т. д. 66 гр. В сравнении с платежами осадного крестьянства во владениях Боны в Пинском и Клецком княжествах, последние для земель первой категории больше на 26 гр.: для второй на 42; для третьей на 43 гр. Для четвертой категории земель сравнения нет. Волочная устава не знает особого платежа для осадных людей как жито, за которое при переводе на деньги уплачивается 10 гр. Но в то же время она вводит повинность,, в гвалт., которую можно заменить бочкой жита, стоимостью в 10 грошей. Волочная устава королевы Бон-

1) Устава; арт. 16.

ны принимает разные разценки чинша для тяглого и осадного крестьянства. В волочном уставе нормы чинша одинаковы для обоих разрядов сельского населения, но за то в ней введен новый платеж осада", равный для всей осадных волок, независимо от качества грунта. Между платежами осадного и тяглого крестьянина по уставе королевы Боны —разница в чинше. Излишек чинша у осадного крестьянства возмещается двухдневной барщиной тяглого крестьянства. По волочной уставе при равенстве чинша—плата за осаду, кавалт и толоку является возмещением двухдневной барщины[1]) Устава королевы Боны не упоминает об одном разряде дворового населения—челяди невольной; а между тем при дворах Пинского и Клецкого княжеств—последняя была на лицо. Точно также и в волочной уставе нет упоминания о челяди невольной, и в то же время и после введения волочной померы, она кое где при дворах сохранилась. Молчание обеих устав-показательный факт. Очевидно, экономическое положение челяди невольной—прежнее до реформенное, но с той лишь разницей, что она потеряла значение доминирующей рабочей силы при господарском дворе. По уставе Сигизмунда-Августа при господарских дворах должны находится „огородники" каждый из них получает по три морга земли с обязательством работать пешими один день в неделю. Что же касается работ женщин, то они в течении шести раз в году должны выходить „до жнива альбо до полотья"[2]) Возникновение при дворах особой экономической группы огородников, посаженных на карликовых наделах, вызваво потребностями хозяйства внутри двора для производства тех работ, которые раньше выполняла челядь невольная, которая была на лицо далеко не при каждом дворе. Устава Боны молчит, но считается с челядью невольною. Устава Сигизмунда-Августа тоже молчит о них, но создает вместо челяди невольного—огородников. Очевидно, последними должна стать челядь невольная и тем самым приблизиться к тяглому крестьянству. Уставы королевы Боны и Сигизмунда-Августа одинаково отрицательны по отношению к челяди невольной как рабочей силы. Они с ней не считаются, но в то время, как первая ее игнорирует, но примиряется, вторая стремится образованием особой группы—огородников заменить ими потерявшую силу и значение челядь невольную.

В административном отношении по писцовой книге Пинского и Клецкого княжеств—владение королевы Боны делились на войтовства, административную единицу, образованную несколько искусственно, механически путем соединения под властью войта некоторого количества сел. Устава Сигизмунда Августа тоже вводит деление на войтовства, не определяя численности волок, входящих в состав одного войтовства. Такая неопределенность, вполне возможная для частного хозяйства, каким являлось хозяйство королевы Боны, была неудобна когда новое административное деление вводилось на протяжении всей территории Литовско-Белорусского государства. В таком случае, королевские агенты должны были получить какие либо определенные указания, что и было сделано в статьях, дополнявших основную установу и опубликованных 20 окт. 1557 г. Устава рекомендует об'единять под властью одного войта до 400 волок, если они осадные. Если же в войтовстве имеются и тяглые волокд, то, разумеется, количество волок в одном войтовстве должно быть меньше, так как войту больше дела с тяглыми людьми, чем с осадными. Войт—лицо должностное. Он несет ряд

---

1) Устава: ар. 16. *Писц. кн.: стр.* 4.

2) Устава: арт. 16.

ответственных обязанностей, за что по уставе королевы Боны ему отводится две волоки земли, свободных от всяких чиншов и работ.

Только войт обязан наравне с прочими давать стацию, но особую ввиде двух каплунов.[1]) Устава Сигизмунда Августа первоначально отвела войту одну, но вольную волоку, предлагая ему брать другую на плате. Но в дополнениях к уставе от 20 октября 1557 г. войту отводится по две волоки „вольных от всех потяглей и податков". Устава возвращается к нормам уставы Боны. В уставе последней нет ни слова об обязанностях и правах войта. Да это вполне было естественно. Войт действовал под непосредственным контролем пана старосты, который, следя за его деятельностью, в любой момент мог направить последнюю в желательную для себя сторону. Составители уставы, вводя в западных волостях, однообразное аграрно-администротивное устройство, должны были с большим вниманием и подробностями остановиться на должности войта и дать ей исчерпывающую характеристику. Пинский староста получал „науку" от королевы Боны, внимательно следившей за своим хозяйством. Господарские наместники, разбросанные по всем дворам, лежащим вдали от центра, конечно, должны были получить общие указания в уставе, дабы они знали что должен делать войт, в чем заключаются его обязанности. Все господарские урядники должны были пред'являть войту одни и те же хозяйственно-административные требования, так как, в противном случае, получилась бы дезорганизация хозяйства, вместо его организации. Вообще, устав королевы Боны отличается большою неточностью. Он намечает только основные принципы, на которых надо строить новые аграрные отношения, не касаясь подробностей в вопросах организации и ведения самого хозяйства; в данном случае, такая детализация являлась излишней. Пинский и Клецкий староста получал все указания, дополнения и раз'яснения от королевы Боны. Первый вел свое хозяйство сам указывая на приемы его ведения и организации. Вся практика ведения хозяйства нашла теоретическое освещение в волочном уставе Сигизмунда-Августа. Хозяйство, в основу которого были положены одни и теже принципы, разумеется, преследовало одни и теже цели, а потому самая организация его и способы ведения, контроль и управление должны было быть совершенно одинаковыми на протяжении всей территории, захваченной новыми арграрными преобразованиями. Недостатки, естественные умолчания в частном хозяйственном уставе, разумеется, не могли иметь места в уставе, имеющей значение обще государственного руководства.[2])

Волочное измерение королевы Боны, как и аграрная реформа Сигизмунда-Августа, коснулась также и мест. Обе уставы должны были определить те платы, которые поступали с земельных владений, расположенных как в черте города, так и за пределами городской черты. Вся усадебная территория новопостроенных домов, а также некоторых старопостроенных домов подлежит измерению на пруты. С каждого прута вносится в скарб по три пенязя. С огородной земли, измеренной на пруты, поступает восемь грошей с каждых тридцати прутов т. е. с одного морга. Что же касается угодий вне городской черты, то последние измеряются на волоки, при чем каждая волока подлежит такому же обложению, как и волока пашни, за исключением тяглой службы,

[1]) Писц кн., стр. 4

[2]) В. Пичета Аграрная реформа, II стр. 211—2481.

толоки, подвод и других повинностей.[1]) За тем из „писцовой книги" видно, что войт города Пинска за исполнение служебных обязанностей, связанных с должностью войта, получает две волоки земли „грунту доброго" и кроме того два огорода[2]). Войт места Мотыль был наделен тремя огородами грунта среднего.[3]) Войт места Клецполучил только одну волоку земли, в которой было 15 моргов доброй земли и 15 моргов средней. [4]) Войт места Набель получает в свое распоряжение два огорода вольных от платов, и две волоки—одну грунта средняго, а другую злого. [5]) Устава о волоках также подошла к разрешению того же вопроса, но несколько иначе, посмотрела на поставленную задачу в связи с тем, что устава имела в виду территорию всего государства, а не только одну какую либо область большего или меньшего пространства. Благодаря этому все вопросы, касающиеся волочного измерения в городах, разработаны значительно подробнее. Устава имеет в виду два типа: городов привиллегированные и непривелигированные. Она не распространяет своего действия на города, забронированные своими привилегиями. Она исключительно имеет в виду только вторые. Волочная устава, как и устав королевы Боны, имеет ввиду два типа городских земель: в пределах городской черты и за ней. Определяя повинности, приходившие с каждой волоки за пределами городской черты, устава отступает от принципов королевы Боны. Городские волоки подлежат особому обложению: 50, 40 и 30 грошей в зависимости от качества грунта и, кроме того, 12 грошей за толоку. Между тем, по уставе королевы Боны городские волоки совершенно освобождены от несения толоки. Земля в пределах городской черты делится на два типа на усадебную и огородную. В противоположность уставу королевы Боны, платежи с усадебной земли далеко не одинаковы. Норма последних зависит от местоположения последних. Усадьбы, близкие к рынку, подлежат большему обложению в сравнении с усадьбами, расположенными по улицам. Нельзя, конечно, не признать этого принципа более правильным, но зато и обложение значительно выше—семь с половиной и пять пенязей за прут вместо трех пенязей по уставу королевы Боны. Огородные земли, независимо от своего местоположения, по уставе о волоках, подлежать одинаковой расценке. В этом отношении следует отметить полное сходство с уставом королевы Боны. И нормы обложения почти одинаковы. За исключением этих денежных платов, жители городов освобождаются от всякия „инших повинностей", а также от дакания „стаций" и „от раз'ездов", как с господарскими листами, так и злистами врядников [6]). И в этом случае принят во внимание принцип, легший в основу уставы королевы Боны. Наделение войтов землею во владениях Боны производилось по усмотрению ревизора. Войты получают две волоки или волоку земли в свое распоряжение, и установление нормы всецело зависело от ревизора, принимавшего во внимание местные обстоятельства и условия. Составитель уставы не мог руководиться принципом ревизорского усмотрения при составлении статьи о вой-

---

1) Писцовая книга:, стр. 3.

2) Ibid.; стр. 40.

3) Ibid; стр. 18.

4) Ibid; стр. 404.

5) Ibid; стр. 166, 169.

6) Устава; арт. 9.

тах. По уставе нормы войтовского надела зависит исключительно от территории и значения города. Войты „при большом месте“ получают две волоки земли, а войты „при меньшем месте“ только одну волоку земли за выполнение войтовских обязанностей. Кажется, ревизоры Боны руководились тем же принципом: войты больших городов получали и большие земельные наделы, хотя, кажется, этот принцип не проведен во всей своей прямолинейности; но тенденцию к этому следует отметить. Войт Пинска—большого города получает две волоки самой лучшей земли, а войт Клецка одну волоку. Но в то же время войты местечек Нобель и Мотыль получают в свое распоряжение также по две волоки. Принцип наделения войта землей в зависимости от размеров и значения города, как будто соблюдается, и в то же время как будто осуществляется далеко не везде и всюду. Можно сказать, что необходимость такой градации скорее чувствуется, чем сознается.

Как ни была кротка устава королевы Боны, однако, сходство между последней и уставой Сигизмунда-Августа, несомненно, на лицо. Уставу королевы Боны можно считать главным источником для уставы Сигизмунда Августа, дополненной различными хозяйственными указаниями энергических дельцов, принимавших активное участие в хозяйственной деятельности Королевы Боны. Недаром многие из них, испытав себя на проведении аграрной реформы в имениях королевы Боны, явились главными исполнителями королевских предначертаний и планов. Успешность и быстрота осуществления аграрной реформы Сигизмунда-Августа в значительной степени этим и об'ясняется.

В. Пичета.

Униатские школы для западно-русского юношества до брестской церковной унии (1596 г.[1])

Еще задолго до открытого провозглашения в западно-русском крае церковной унии на Брестском соборе 1596 года, со стороны Рима делаются систематические попытки мирным и культурным способом приготовить путь к соединению церквей—„ut divulsa membra suo capiti iterum unirentur“[2]). Не только православный восток и протестантский запад привлекали заботливые взоры пап, но и православная русская церковь заставляла апостольскую столицу изыскивать все меры к приведению в ограду римского двора „ушедших на страну далече схизматиков. После смерти митрополита Фотия (1431 г.) преемником его был избран епископ рязанский Иона. Для поставления он был отправлен в Царьград. Но в Константинополе на русскую митрополию был уже избран епископ иллирийский Исидор (родом грек или болгарин). В 1437 году он прибыл в Москву и был принят великим князем Василием Васильевичем. Но через полгода митрополит Исидор отправился на флорентийский

---

[1]) Настоящая статья представляет собою часть вводной главы из моей магистерской работы на тему: Западно-русские униатские школы XVII—XVIII вв. Автор.

[2]) Theiner. Vetera monumenta Poloniae et Lituaniae, t. III., № 188, 256. (Письмо папы Климента VIII к луцкому р.-католическому епископу Бернарду Мацеевскому от 7 февраля 1596 г.).

собор, где принял унию с Римом. В марте 1440 года Исидор разослал по польской Руси и Литве папскую буллу о соединении восточной и западной церквей. Но когда весною 1441 года он прибыл в Москву, и обнаружилась его измена православию, то он заключен был в Чудов монастырь, откуда тайно бежал в Рим.[1])

В Риме ясно увидели, что в Московской Руси об унии не может быть и речи. В Москве, при подозрительном и враждебном отношении ко всякого рода попыткам религиозного сближения с Римом, существовали чрезвычайно возвышенное представление о православии русской церкви, которая, по идеологии русских книжников того времени, „в концых вселенныя в православной христианской вере во всей поднебесней паче солнца светится." Сам великий князь московский, как „единый по всей поднебесный христианский царь", был усердным „браздодержателем святых божиих престол и святые вселенские церкви."[2]) В другом совершенно положении находилась православная церковь в Польско-Литовском государстве. Там правитсльство не только не препятствовало унионaльным замыслам Рима, но, наоборот, сочувствовало им.

Внешним залогом православия западно-русской церкви служит административная зависимость ее от московского митрополита. Но польско-литовское правительство с неудовольствием смотрело на религиозное тяготение своих православных подданных к Москве, посему оно всячески поддерживало недовольство западно-русских епископов московскими митрополитами. В 1416 году произошло разделение русской митрополии на московскую и западно-русскую, литовскую. Поводом к этому обстоятельству послужило сильное недовольство в западной Руси действиями московского митрополита Фотия. Для западной Руси был посвящен в Митрополиты Григорий Цамблак.[3])

Впрочем, после смерти Цимвлака (1420 г.) Витовт снова принял московского митрополита Фотия. Только в 1458 году было окончательно нарушено административное единство русской церкви Константинопольский патриарх Григорий Мамма, изгнанный за приверженность унии из Царьграда и проживавший в Риме, посвятил в митрополиты для западной Руси ученика митрополита—униата Исидора Григория (болгарина). Этот митрополит начинает ряд иерархов западно-русской церкви.

В Риме учли положение вещей. Папа видел, что для создания унии западная Русь представляет, более благодарную почву, чем Москва. В этих унионaльных видах на западно-русскую митрополию был посвящен униат. Несомненно, что Григорий получил от папы и своих руководителей соответствующую инструкцию действовать в пользу унии. Но очевидно и то, что миссия Григория не имели успеха. Король Казимир спустя десять лет после прибытия в Литву Григория писал папе Павлу II, что в Литве и соединенных с нею русских областях обитает „великое множество еретиков и схизматиков (раз. православные); и что „число их со дня на день возрастает". Внешние принудительные меры оказываются недействительными, поэтому король просит папу дозволить основать как в Литве, так и в русских областях, по два монастыря ордена бернардинов, чтобы монахи своею проповедью и жизнью приводили еретиков и схизматиков к единству церквей[4]).

---

1) Чистович. Очерк истории западно-русской церкви. ч. I, стр. 119.

2) Послание старца Филофея, Елизарова монастыря к дьяку Михаилу Григорьевичу Мисюрю (Правосл. собеседник 1861 г., ч. 2); сравн. послание того же Филофея к великому князю Василию Ивановичу- (Правосл. Собеседник, 1863 г. № 1).

3) Акты западной России, т. I, № 25.

4) Theiner. Vetera monumenta Poloniae et Lituaniae, t II, № 196.

Митрополит Григорий в своих униональных замыслах чувствовал себя беспомощным, несмотря на содействие королевской власти, и, после десятилетнего униатствования возвратился в православие [1]). Эта неудача показала Риму, что не только в Московской, но и в Западной Руси не может быть и речи о безболезненном введении унии, чисто внешним путем. Поэтому апостольской столице оставалось придумывать более верный способ введения церковной унии. После смерти Григория митрополичью каөедру занял смоленский епископ Мисаил, проникнутый симпатиями к латинству. Он был избран на митрополию королем Казимиром, а этот, последний недовольный Григорием за измену унии, несомненно избрал митрополитом лицо с явно униональными тенденциями. И действительно, вскоре же после своего назначения Мисаил со своими единомышленниками пишет 14 марта 1476 года из Вильны грамоту папе Сиксту IV. После чрезмерных похвал папе наполняющих всю первую часть послания православные составители грамоты жалуются на свое бедственное положение, на притеснения со стороны латинян и просят папу уравнять их (православных) с латинянами. Церковное разделение говорят они, явление ненормальное, поскольку и восточные и западные христиане—члены единого тела Христова. Папа, как мудрый отец, должен пещись об уничтожении подобной распри в христианском мире. Составители грамоты просят папу прислать в западную Русь двух разумных мужей (грека и латинянина), хорошо знающих закон и хранящих обычаи и законы своих церквей. Они, эти премудрые, учительные, правдивые и кроткие боголюбцы должны будут привести православных западно-руссов и латинян к миру, любви и братскому согласию но так, чтобы каждый ненарушимо соблюдал обычай и устав своей церкви, чтобы каждый стоял в своем. В заключение авторы просят папу, как верховного пастыря, о разных духовных благах. Грамоту эту из духовных лиц подписали лишь трое: сам Мисаил, киево-печерский архимандрит Иоанн и виленский троицкий архимандрит Макарий; из светских: князья слуцкий и бельский (родственники короля Сигизмунда) и еще одиннадцать чиновных лиц [2]).

Характерно отношение к этой грамоте папы. Он видел, что задуманное митр. Мисаилом—дело незначительной королевской партии, но отнюдь не выражение желаний всей западно-русской церкви. Посему папа встретил этот пангирик своего приматства недоверчиво и не дал на него никакого ответа [3]). Таким образом Мисаил формально остался православным [4]).

---

[1]) Макарий. Истории русской церкви. т. IX, стр. 39.

[2]) Эту грамоту огласил в 1605 году (15 июня) митрополит Ипатий Поцей. Он представил в виленскую ратушу список цитированной грамоты, найденный в Кревской церкви с просьбою подтвердить ее подлинность во избежание возможных нареканий. Желание митр. Поцея было исполнено (Акты зап. Росс. IV, № 164). На русском языке список этой грамоты хранился в библиотеке Литовской дух. семинарии (Зала А, шк. 3, полка 12, место 26) под таким заглавием: „Посельство до папежа рымского Сикста IV от духовенства и от княжат и панов руских з Вильни, року 1476, месяца марта 14 дня через послов, в том же листе нижеименованных“ Православные; автор Перестроги (Акты зап. Росс. т. IV, № 149). Захарий Копыстенский (Полинодии, ч. III, розд. II, артик. I) сомневались в подлинности этого послания так как в нем ярко выражена идея приматства римского епископа. Но это обстоятельство еще мало говорит против подлинности цитируемой грамоты, так как она не представляет выражения мыслей, чувств и желаний всех западнорусских епископов, а является партийным замыслом.

[3]) А. В. Ярушевич (в своем исследовании Ревнитель православия князь К. И. Острожский (1461—1530). Смоленск, 1897 г., стр. 38) смотрит на дело иначе. Он думает, что ответ папы последовал и притом благоприятных, и в Литве появились униаты.

[4]) Макарий, цит. соч. т. IX, 61—62 стр; Jbid 129 стр.

30 мая 1498 года на западно-русскую митрополию был возведен смоленский епископ Иосиф (Болгаринович). Он был ставленником великого князя литовского Александра и с самого избрания начал действовать в пользу унии Иосиф долго, хотя и безрезультатно убеждал к принятию унии супругу великого князя Елену Ивановну. В 1500 году он послал (20 августа) грамоту к папе Александру VI, в которой в общих чертах воспроизвел знакомую уже нам грамоту митр. Мисаила к папе Сиксту IV. В этой грамоте Иосиф смиренно склоняет свою главу со всею покорностью доброй воли пред величием римского первосвященника, исповедует римско-католический догмат „filiogue“ и главенство папы 1) Папа не счел нужным ответить митр. Иосифу, но писал по поводу его грамоты виленскому р.-католическому епископу Альберту Войтеху (28 апр. 1501 г.) и великому князю Александру (7 мая того-же года) Альберту Войтеху папа писал, что он восхваляет ревность митр. Иосифа в вере не сомневается в искренности его желании покориться римской церкви и желает, чтобы вместе с Иосифом приняли в единство веры и другие. Но он (папа) знает и непостоянство дел человеческих и как много в мире соблазнов; посему считает нужным соблюдать большую осторожность. Епископ Альберт Войтех должен внимательно обследовать, под каким условием митр. Иосиф и другие русские епископы желают покориться римской церкви [2]). Вообще же папа очень осторожно отнесся как к этой попытке унии, так, впрочем, и к самому митр. Иосифу.

Великому князю литовскому папа писал, что к попытке митр. Иосифа привести вверенный ему народ к покорности римской церкви по определению флорентийского собора должна относиться осмотрительно, так как подобные попытки и раньше „столь часто предпринимались и столько раз прерывались“. Чтобы более упрочить дело, папа хотел послать в Литву своего нунция, но решил помедлить, чтобы не вооружить великого князя московского. Папа не считал канонически правильным поставление Иосифа на митрополию, как совершенное патриархом константинопольским (Иоакимом), ставленником султана. Впрочем, добавляет он, если Иосиф согласен принять определение флорентийского собора, признать и другие вселенски соборы (кроме семи, признаваемых и восточною церковью), если, при догматическом согласии с римскою церковью, он будет держаться только греческой обрядности, если он будет содействовать распространению унии среди западно-русского народа, то папа обещает утвердить его в митрополичьем достоинстве. Если, говорит в заключение папа, Иосиф и другие с ним примут все члены веры: об исхождении св. Духа и от Сына, о приматстве папы, о чистилище, о наградах и наказании после смерти, мы тогда дозволим не перекрещивать крещенных в третьем лице по греческому обряду, совершать литургию на квасном хлебе и под обоими видами преподавать ее м рянам и греческим священникам иметь своих жен. Все это передай Иосифу и обсуди с виленским епископом и свои соображения сообщи нам, чтобы мы или прислали нунцию, или поручили виленскому епископу совершить полное присоединение Иосифа и других с ним [3]). Какая медлительность и осторожность и какое недоверие со стороны папы даже тогда, когда вопрос об унии поднимают западно-русские иерархи! Такое отношение Рима к униональным замыслам отдельных западно-русских иерархов вполне понятно. В Риме видели,

---

1) Theiner, Vetera monumenta, II, № 296, p. 267.

2) Ibidem, № 300, p. 280.

3) Ibidem, № 303, p. 283.

что невозможно мечтать о создании церковной унии в Западной Руси, если там не будет для нее прочной основы и благоприятной почвы, на которой могла бы развиваться новая форма религиозной жизни. Рим вовсе не намерен был совершенно отрешиться от униональных замыслов, но в осуществлении их решил пользоваться другим методом и новыми, школьно-просветительными средствами. Должно сказать, что униональные проэкты Рима в XVI в. не носили случайного характера, но были строго обдуманными мероприятиями. Апостольская столица решила итти к намеченной цели последовательно и планомерно. Мы имеем в виду те просветительные униональные тенденции, которые в последней четверти XVI веке в широком размере были обнаружены папою Григорием XIII.

Папа Григорий XIII прекрасно понимал, сколь великое значение может иметь для укрепления последства р.-католической церкви в государствах Европы школьное воспитание и образование в духе латинства. Посему он учреждает целый ряд коллегий, в которых могли бы получать латинское образование и воспитание в духе р. католической церкви юноши различных народностей и вероисповеданий. Воспитанные в строго католическом духе такие молодые люди у себя, на родине, могли бы быть верными и усердными апостолами латинства. Зная же быт, условия жизни и нравы своего народа они могли бы более успешно распространять среди него католичество, чем пришлые латинские миссионеры, к которым „схизматический" народ относился недоверчиво.

Таким образом, по планам основателя коллегий, вместе с римскою наукою народы незаметно усвоят и католичество и усвоят при том более прочно, чем посредством принудительной унии.

В 1573—4 году Григорий XIII преобразовал германскую коллегию в Риме, основанною папою Юлием III, и дал ей более прочную и солидную организацию[1])

В 1577 году он учредил в Риме греческую коллегию и коллегии для магометан и евреев[2]). В 1579 году, по его распоряжению, была учреждена в Риме коллегия для молодых людей английской и венгерской национальностей[3]). В 1584 году этот же папа основал в Риме маронитскую коллегию[4]). Греческая коллегия, как мы увидим из дальнейшого дала первых образованных униатских деятелей для западной Руси.

Цель учреждения греческой коллегии вполне определенно выражена в папской булле на ее основании („In apostolicae sedis"...) от 13 января 1577 года. Папа очень скорбит о невежестве греческой нации и об ее тяжелом положении. Наука среди греков достигла такого упадка, что едва ли один кто либо найдется там способный быть учителем.

Духовные лица невежественны в богословии и католических догматах; уклоняясь от повиновения общей матери и учительнице (раз. римской церкви), они впали в ереси и расколы, куда влекут и простой народ. Желая воззвать древле славную нацию от такого невежества, от мрака к свету истины и на путь спасения папа не находит другого лучшего средства, как учреждение в Риме коллегии, где мальчики и юноши из самой Греции и из окрестных мест, под руководством лиц испытанной

---

[1]) Magnum Bullarium romanum, t. II, p. 402—404.

[2]) Ibidem p. p. 439—440.

[3]) Ibidem p. p. 453—456, 488.

[4]) Ibidem p. p. 510—512.

веры и науки, изучали бы греческий язык, свободные искусства и науки, особенно же богословие и церковные обряды (saera praesertim Theologia, ecelesiasticis practerea ritibus).

Получивши такое образование и воспитание и возвратившись на родину, греческие юноши, по мысли папы, должны будут наставлять в латинском учении и своих соотечественников, безотносительно, в каком бы состоянии они (эти воспитанники греческой коллегии) ни находились: в духовном ли и монашеском звании, или же оставаясь светскими учителями. Монашеская дисциплина по правилам римско-католической церкви, проповедь и школьное просвещение должны быть орудием их деятельности. Посвятившие себя монашеству должны обучать своих собратьев и призывать их к соблюдению монашеских правил в духе римской церкви. Принявшие же священный сан должны заботиться о душах своих пасомых; открыто проповедуя слово Божие, они должны будут заставлять людей отрекаться от заблуждений и раскола и приводить их к познанию правды истинной и спасительной веры. Наконец, оставшиеся светскими должны учить своих соплеменников языку и наукам и поддерживать в них истинное учение. Таким образом, говорит папа, можно надеяться, что с помощью Божией здравое и неповрежденное исповедание веры и учение когда нибудь будет восстановлено, как в самой Греции, так и в странах всего востока. Исходя из этих побуждений папа и открывает в Риме греческую коллегию, для славы всемогущаго Бога, возвышения св. веры католической, спасения душ греческих и для вечного единения их с церковью римскою (ac perpetuam ipsorum cum Ecdesia Romana unionem)[1]. На содержание греческой коллегии папа назначил из собственных средств и апостольской камеры 1200 скути ежегодно; кроме того, в пользу ее были предоставлены папою на пятнадцать лет дохода с вакантной сельской епископии в Киссамо (на о. Крите), за вычетом 300 скути[2]).

Греческая коллегия должна была находиться в непосредственной зависимости от папы. Папа назначал ей четырех протекторов из приближенных кардиналов. Эти протекторы, в свою очередь, избирали для коллегии ректора, и передав ему ближайший надзор за коллегией, сами, однако, должны были контролировать деятельность ректора в каждом отдельном случае[3]).

Несомненно, главною задачею греческой коллегии была пропаганда католичества в восточных странах и искоренение восточной схизмы. Для того, чтобы возвысить авторитет новорожденной коллегии в глазах восточного христианского мира, папа назвал ее именем св. Афанасия Александрийского, восточного отца, известною борьбою с арианскою ересью и искавшего убежища в Риме в трудные для него моменты арианской смуты.

Уже исходя из такой чисто миссионерской цели коллегии св. Афанасия, естественно думать, что воспитательный и образовательный элементы в ее программе занимали одинаковое положение. Даже в самом приеме воспитанников в коллегию ясно выделялась ее основная цель создать из них верных апостолов латинства. В коллегию должны были приниматься мальчики даровитые, добронравные, послушные и не старше четырнадцати лет, так как юноши более зрелого возраста менее

---

[1]) Ibidem p. 439.

[2]) Ibidem: cp. Bibliographie Hellenique ou Description raisonnée des ouvrages publies en Grec par des Grecs aux XV-e et XYII-e Siecles par Emile Legrand, s XVII, t. III, p. 483—484.

[3]) Magnum Bullar. rom. p. 439—440.

склонны к подчинению школьно-церковной дисциплины. Впрочем с разрешения папы, принимались в коллегию юноши даже восемнадцати лет, но хорошо известные усердием к религии и подающие надежду быть полезными церкви. Желающим поступить в коллегию рекомендовалось предварительно ознакомиться с ее уставом. До окончательного зачисления в алюмны коллегии поступающим дозволялось в течении некоторого промежутка времени жить в ней и практически изучать обычай и установления этой коллегии. Таким образом, воспитание коллегии вполне сознательно должны были давать необходимую при вступлении в аллюмны присягу на подчинение уставу.

Для религиозно-нравственного воспитания в коллегии св. Афанасия изучался (на латинском, итальянском или греческом языках) закон Божий изъяснение катихизиса св. Кирилла иерусалимского, затем и вся внешняя и внутренняя жизнь воспитанника должна была устрояться по строго определенному, чисто монашескому образцу. Утренняя, полуденная и вечерняя молитва—умная и словесная, испытание своей совести, ежедневное присутствование за литургией, прислуживание при богослужении, слушание проповеди по воскресным дням, ежемесячное совершение мессы за фундатора коллегии, протекторов ее кардиналов и за Грецию, еженедельная исповедь, причащение, посты по уставам обеих церквей: восточной и западной, чтение книг религиозно-нравственного содержания и упражнение в добродетельной жизни--все это составляло кодекс, обнимающий все поведение питомца афанасьевской коллегии.

С тою же воспитательною целью питомцам коллегии св. Афанасия рекомендовалось и участие в учрежденном в 1592 г. при коллегии братстве имени св. Девы в подражание обычаем иезуитского студенчества.

От воспитанника коллегии прежде всего требовалось безусловное послушание духовной власти, ближайшими представителями которой для него были ректор коллегии и наставники. Всякие пороки в роде гордости, самовосхваления, праздных слов, клятвопреступления и богохульства решительно не допускались в питомцах коллегии. Любовь во взаимных отношениях и взаимная вежливость настойчиво рекомендовалась воспитанникам, однако, в целях нравственного исправления допускались и доносы, которые в дополнениях к правилам коллегии св. Афанасия, изданным в 1584 году, получают вид систематически организованного шпионства. Эти дополнения рекомендуют ректору среди воспитанников иметь одного такого, который сообщал бы ему обо всем происходящем в коллегии. Сам же ректор должен был иметь ключи от комнат воспитанников, чтобы всегда быть в состоянии проконтролировать самую интимную сторону жизни их. Вторгаясь в жизнь воспитанника в каждый отдельный момент и до малейших деятелей распоряжаясь всеми ее сторонами, ректор, согласно уставу, не должен был допускать тесной дружбы между воспитанниками: все силы ума, сердца и воли каждого питомца коллегии должны быть направлены на безусловную привязанность и подчинение его лишь церковной римской дисциплине.

Учебную программу греческой афанасьевской коллегии составляли следующие предметы: закон Божий, или сокращенный катихизис для новичков; катехизис св. Киррила иерусалимского и римский катехизис для более совершенных по уму и возрасту. Греческий язык изучался по Константину Ласкарису, Хризолору и некоторым другим авторам. В ка-

---

1) Bullarium Romanum, XIII, № 98, Bibliograph. Hellenigne, 3 XVII, t. III; стр. 490 и след

честве пособий для выработки ораторских приемов рекомендовались Исократ, Демосфен, Софокл, Өукидид, отцы церкви. Василий Великий и Иоанн Златоуст, Лукиан, и Аристофан не допускались к школьному употреблению как не вполне „нравственные“ писатели.

Учебными руководствами при изучении латинского языка служили труды Гуарино и Сидицино, а на дальнейших ступенях обучения пособием был труд Эммануила Альвора. Из латинских авторов читались Саллюстий, Цицерон, Цезарь, Виргилий Гораций и некоторые другие „нравственные“ писатели. На латинский язык обращалось преимущественное внимание; на этом языке должны были и разговаривать воспитанники (кроме старшего класса); только в рекреационное время дозволялось пользоваться родною речью. Пособиями при изучении диалектики (логики) и философии были сочинения Аристотеля, Порфирия, Фемистия, Филопона и др. Сочинения названных лиц изучались на латинском языке и в той системе, которая была принята в итальянских школах. Изучение „Summa totius Theologiae“ Фомы Аквината завершало образование питомца Афанасьевской коллегии. Попутно, при чтении этого отца западной католической догматики, цитировались (по гречески) и восточные отцы: Иоанн Дамаскин, Дионисий Ареопагит и недр. Прошедшие же полную программу схоластического образования могли читать и греческих отцов. Афанасия Великого, Григория Богослова, Василия Великого, Иоанна Злотоустого, Кирилла Иерусалимского, Максима и др., а также и постановления соборов. Несомненно, что все эти авторы должны были испытать изменения на прокрустовом ложе латинской интерпретации.

Диспуты и писание сочинений были введены в учебную программу коллегии, как необходимые средства для обучения будущих миссионеров устной и письменной защите веры.

Чтобы приучить воспитанников к публичным выступлениям, правила коллегии предписывали им во время трапезы в столовой читать поучения на греческом языке (изучающим грамматику) и на своих родных языках (всем остальных).

Лица, готовившиеся по окончании курса в коллегии принять священный сан, давали при поступлении в коллегию по установленной форме особую присягу. Согласно этой присяге, они должны были принять священный сан по греческому обряду, одобренному римскою церковью, никогда не заниматься гражданским правом или медициною, не оставлять коллегии до полного окончания курса и без приказаний начальства, т. е. протекторов коллегии—кардиналов, и, наконец, обещались охотно исполнить то, что эти протекторы нашли бы полезным для спасения души и блага коллегии. Эту присягу, согласно первоначальным правилам коллегии, должны были давать и поступающие в неё мальчики, по достижении ими двенадцатилетнего возраста[1]).

Папа Григорий XIII дал греческой афанасьевской коллегии все те права, которыми пользовались главные римские курсы (studium Generale), т. е. право возведения студентов в ученые степени[2]). Греческая афанасьевская коллегия стала функционировать вскоре же после изда-

---

[1]) Более подробные сведения о греческой афанасьевской коллегии можно заимствовать в цитированном уже нами сборнике Emile Legrand, Bibliographie Hellenique S. XVII, t. III, p. p. 483—513. Обстоятельно описана жизнь этой коллегии в прекрасном труде проф. Казанского Университета К. В. Харламповича: Западнорусские православные школы XVI и начала XVII в. (Казань, 1898 г., стр. 480—484).

[2]) Архим Никодим. Римская пропаганда, ее история и нынешнее состояние, (СПБург 1889 г. стр. 29).

ния папской буллы. Во всяком случае через четыре года, в 1581 году, Феодосий Зигомала в своем письме к М. Крузию говорил между прочим так: „нынешний папа основал большое училище, собрал греческих мальчиков, достал из Греции же и учителей для них. И теперь, как я узнал из писем моих друзей, учителя и ученики, с Божией помощью, прилежно занимаются"[1]).

На первых порах своего существования греческая афанасьевская коллегия находилась в заведывании монаха августинского ордена. Затем ею ведал белый священник, потом снова монах. С 1591 по 1604 г. управление коллегией находилось в руках иезуитов, а в 1609 году оно перешло к доминиканам[2]).

Как мы видели, греческая афанасьевская коллегия была учреждена с тою целью, чтобы „здравое и неповрежденное исповедание веры и учение некогда (aliquando) было восстановлено как в самой Греции, так и в странах всего востока („in ipsa Gracia et totius praeterea Orientis partibus"[3]). Хотя прямо в булле не говорится, какие именно страны востока имеет в виду папа, но из дальнейшего хода событий мы убеждаемся, что в данном случае подразумеваются русские области Польши и Литвы и московское государство, где исповедовалась греко-восточная христианская религия. Православная Московия и западная Русь уже давно привлекали к себе взоры пап, и апостольская столица неоднократно выражала свою скорбь по поводу удаления русских от ее материнского лона. Вполне понятно, что греческая афонасьевская коллегия, по планам ее основателя, должна была коснуться своими спасительными лучами и русских стран, родственных по вере Греции.

Попытки привлечь православных русских в ограду католической церкви путем римской науки начинаются вскоре же после учреждения афонасьевской коллегии. 28 марта 1577 года булла папы Григория XIII об открытии означенной коллегии была явлена „в апостольской камере[4]), и 25 мая того же года[5]) кардинал статс секретарь Комо от имени папы писал из Рима папскому нунцию в Польше Лаурео: „Угодно было Его Святейшеству приказать мне писать к вам, чтобы вы заботились и усердно старались отыскать 5 или 6 мальчиков из так называемых польских греков и русских (de Greci di Polonia et Rutheni) и столько же других мальчиков из московского царства (de' Moscoviti), которые были бы рождены от законного брака, воспитаны в греческом обряде (allegati nel rito vrecо), от 12 до 18 лет, хороших наклонностей и понятливого ума и способных к изучению наук и усвоению знаний (et atti ad apprender lettere et scienze), и таких, у которых были бы родные или что нибудь другое, вследствие чего они охотно возвратились бы в свои родные места, их бы охотнее и скорее (здесь) приняли, если бы они происходили из знатного или благородного сословия и знали первые начатки наук (principio di lettere). Но так как сомнительно, чтобы можно было добыть их из Московского царства,

---

1) Малышевский, Мелетий, Пигас, I. 232.

2) К. В. Харламиович. цит. соч. стр. 484, примеч. 2.

3) Magnum Bullarium Romanum. t. II, p. 439.

4) Magnum Bullar Roman., t. II, p. p. 439—440.

5) У Ф. Вержбовского письмо кардинала Комо к папскому нунцию Лаурео датируется 21 мая (Отношения России и Польши в 1574—1578 годах, по донесениям папского нунция Лаурео Журн. Мин. Нар. Просв. 1882 г., август, 238 стр.)

ибо в этом будут затруднения, приводится вам на память, чтобы вы со всем тщанием старались добыть их, употребляя средства, которые вам покажутся более удобными; а если бы иначе ничего нельзя было сделать, старайтесь получить их из числа тех, которые когда нибудь были взяты в плен поляками; выбирая, однако, более способных, согласно тому, что сказано. Кардинал Вармийский (Станислав Гозий) полагает, что Перемышльский епископ (Войтех Собеюский) и другие духовные лица могут оказать вам большую помощь в этом,—что предоставляется на ваше благоусмотрение.

Затем, когда вы соберете упомянутых мальчиков, то позаботитесь отправить их сюда под хорошим присмотром и в порядочном обществе и потому пути, который вам будет казаться безопасным, предоставляя им все нужное для путешествия, что потом будет вам тотчас сполна возвращено. Напоминаю вам еще, чтобы они на пути через Италию остерегались тех мест, в которых подозревается существование моровой язвы, чтобы их тем безопаснее можно было принять и воспитать, как сказано".[1])

Этот документ в высшей степени ярко и характерными штрихами рисует планы папы утвердит господство Рима в русских областях посредством римской науки. Однако, как мы видим, папа сомневался, чтобы среди русских нашлись охотники добровольно ехать в Италию, поэтому он, через своего статс-секретаря считает нужным рекомендовать различные средства для отыскания требуемых в коллегию кандидатов. Как можно видеть, в крайнем случае нунцию было позволено посылать в Рим более достойных московских юношей из числа попавших в плен во время московских войн.

Опасения папы оказались не напрасными: не нашлись желающие путешествовать в Рим для образования не только среди московского юношества, но и западно-русского. Папский нунций (Викентий Лаурео) всеми силами старался исполнить поручение папы, но обстоятельства складывались для него чрезвычайно неблагоприятно. В продожение девяти месяцев он не мог написать в Рим чего либо положительного относительно данного ему поручения. Только в следующем, 1578 году, 5-го апреля Лаурео писал (из Варшава) кардиналу Комо о безуспешности своих стараний отыскать требуемых кандидатов в греческую афанасьевскую коллегию. „Я не замедлил, сообщал Лаурео, с возможным для меня усердием старания, о получении шестерых мальчиков из Руси и стольких же из московского царства, согласно присланному мне приказанию. Я писал к архиепископу Гнезненскому (Якову Уханскому) и епископу виленскому (Валериану Протасевичу), а кроме того, устно просил его о том же многих епископов и попов. Архиепископ наверное обещал мне шестерых мальчиков из Руси, но по причине нездоров он ничего до сих пор не сделал Виленский епископ извинился письмом, что из московского царства невозможно иметь таких мальчиков, какие требуются, русские же настолько упрямы и упорны в своих заблюждениях, что скорее согласились бы умереть, нежели послать в Рим своих детей. Однако, жмудский епископ (Мельхиор Гедройц), которому я тоже дал это поручение, приказал известить меня, что он нашел двух таких русских благородных мальчиксв, какие тре-

---

[1]) Письмо кардинала Комо к папскому нунции В. Лаурео в подлиннике и полностью приведено в академическом сборнике „Россия и Италия", т. II, вып. I, стр. 188—189. В русском переводе оно перепечатано в цитированной статье Ф. Вержбовского („Отношения России и Польши в 1574—1578 г.г. Журн. М. Нар. Просв. 1882 г. август. 238 стр.)

буются, и старается найти других, а вместе с тем и мальчиков из московского царства, в которых, однако, как он говорить чувствуется большой недостаток. Тем не менее, если в Ливонии начнется война против московского царя, можно будет легко иметь требуемое их число".[1])

Вскоре (через три недели) после этого письма, 25 апреля 1578 г. Лаурео снова писал в Рим в том же направлении. „Жмудский епископ, который сильно желает во всех случаях оказывать папе услуги, когда был здесь, принял на себя труд найти шестерых мальчиков русского (православного) вероисповедания и шестерых других из московского царства таких, какие требуются в греческую коллегию. Нашедшие уже двоих московско-русского происхождения, одного шляхтича 17 лет, а другого 12, сына виленского консула, которого считают шляхтичем, который богат и настолько предан своей русской религии, что на свои издержки приказывает печатать в Вильне русские книги,—прислал их в последнее время сюда, очень их восхваляя и рекомендуя; без посредства упомянутого епископа нельзя было бы их иметь. Я думаю держать их при себе, взять их с собою в Италию и при первом удобном случае послать в Рим. Оба они удовлетворительно говорят по латыни и самых лучших наклонностей. Тот же епископ прислал мне одного благородного мальчика из московского царства, тринадцати лет, взятого в последнее время в плен при возвращении одной крепости в Ливонии называемой Орле, не определяя его для образования в коллегии; ибо он не умеет ни читать, ни писать, но чтобы он служил мне, как это здесь водится; он очень скромен и послушен и приучается к исполнению всяких услуг. Извольте уведомить меня, пишет Лаурео дальше, хорошо ли бы было послать его в Рим в услужение тем русским, которые будут воспитываться в упомянутой коллегии. В заключение своего письма нунций сообщает, что один русский мальчик из московского царства находится у виленского каштеляна пана Ходкевича Этот мальчик сын одного воеводы, тоже взятого в плен в последнюю войну. Епископ виленский прилагал все старания чтобы взять его себе, но Ходкевич удержал мальчика у себя".[2])

Нунций стал ожидать только благоприятных обстоятельств, чтобы отправить этих мальчиков в Рим. Так как он около этого времени собирался ехать в Италию, то имел веиду доставить их туда лично. Но обстоятельства несколько изменились. В Кракове, куда нунций отправился проститься с королем, он встретился с известным пропагандистом латинства иезуитом Антонием Поссевином который возвращался из Швеции (куда он ездил с тайною миссиею) в Рим Лаурео воспользовался этил и решился отослать кандидатов в греческую коллегию в Рим с Поссевином,тем же более что сам он предполагал не сразу ехать в италию, а сначала думал посетить свою епархию (Мондови, к югу от Турина). Отправляя мальчеков с Поссевином, Лаурео писал 12 июля 1578 года кардиналу Колю из Кракова: „так как О. Поссевин возвращается в Рим, то я пользуюсь случаем, чтобы отправить туда под его попечением двух русских мальчиков и одного из московского царства, который, хотя не умеет ни читать ни писать, тем не менее столь даровит, что упомянутый отец и я надеемся, что он в течение нескольких лет сделается способным к каким угодно услугам святому престолу среди своего народа, тем более, что он благородного происхождения.

---

1) Ibidem, у Вержбовского, стр. 239—240.

2) Ibidem 240—241 стр.

Если же он не будет успевать в науках, то может быть причислен к прислуге греческой коллегии".[1])

Трудно сказать, какая судьба постигла этих русских первенцев в области школьного римского просвещения. О дальнейшей участи их мы не находим сведений.[2])

Из сказанного видно, что среди русского юношества, как московского, так и Польско-литовского государства, призыв апостольской столицы не нашел сочувствия. Нет данных думать, что кроме указанных выше двух юношей нашлись и другие кандидаты в греческую афанасьевскую коллегию. Чем об'ясняется такая неудача, постигшая первую попытку Рима создать миссионеров латинства из природных русских, ответить не трудно. Во-первых русских страшила дальность расстояния. Во-вторых, преподавание в афанасьевской коллегии велось на гресеском языке, который был знаком лишь немногим русским юношам. Наконец к этому должно присоединить и то предубеждение против запада, которое господствовало в Москве в описываемый период, и то недоверие к латинянам, которое заставляло русских вообще, а западно-руссов в частности и особенно подозрительно смотреть на все обещания и милости пап и на попытки их к сближению церквей. Однако, первый не успех не ослабил стремлений римской пропаганды приобщить руссих к римской, католической культуре. Если православные москвитяне и западо-руссы на деле показали свое не желание путешествовать в Италию за латинской наукой, то Рим сам решил итти с просвещением в русские страны. На западную Русь были преимущественно устремлены взоры Рима; там рука об руку с римскою пропагандой могли действовать в униональном направлении короли - католики В Западной Руси римская пропаганда и стала мечтать создать себе прочную базу, откуда потом выходили бы апостолы унию и в Московскую Русь.

А. Савич.

Университетская летопись.

Белорусский Государственный Университет, фактическое открытие которого состоялось в гор. Минске 30 октября 1921 года, является одним из самых молодых в семье русских университетов с некоторыми особыми чертами, обусловленными местными этнографическими и политическими условиями и историческими причинами жизни края. В неимоверно тяжелых условиях он создан „там, где преступно бездействовал старый режим", где за осуществление идеи высшего образования вели долгую борьбу целые группы и отдельные интеллигентные лица мест-

---

[1]) Ibidem, стр. 241.

[2]) Есть сведения, что Пассевин, будучи в 1581 году в Москве советовал Ивану Васильевичу Грозному послать в Рим молодых людей, умеющих читать и писать по русски. В Риме по словам Пассевина, их будут обучати вере греческой вместе с другими юношами из Греции. Иван Васильевич сказал на это так: „чтобы послать в Рим людей учитись римскому языку, и таких вскоре избрать невозможно, которые бы к такому делу были годны, а как такие люди обраны будут, и впредь таких людей к папе пришлют." (Древн. Рос. Вифлиоеика, VI, 97, 101). Но это известие представляется очень сомнительным в силу общего русского недоверия к Риму.

ного общества. Белоруссия, как этнографическое целое, включающая почти целиком шесть так называемых северо-западных губерний (Виленская, Витебская, Гродненская, Минская, Могилевская, Смоленская и части других) с более чем десятимиллионным населением чисто белорусским, не считая других национальностей (евреи, поляки, литовцы, великоруссы, украинцы, татары, латыши), испытывала насущнейшую необходимость в высшей школе давно, но об'ективные условия дореволюционного прошлого были в высшей степени неблагоприятны для возникновения такого учреждения.

В своеобразном историческом прошлом Белоруссии, когда она жила совместной жизнью с Польшей (XII—XIII), народное обучение и воспитание находилось в руках духовенства, главным образом, римско-католического, которое имело в крае свою высшую школу, из которой, как из живого источника, черпало просвещение. Виленская Иезуитская Академия, учрежденная в 1578 году польским королем Стефаном Баторием и утвержденная папой—Григорием XIII, при третьем разделе Речи Посполитой перешла в виде Главной Школы вел. кн. Литовского под русское управление и согласно общему плану народного просвещения в России, выработанному учрежденным в 1882 году Министерством Народного Просвещения, была преобразована в Императорский Виленский Университет, который в составе факультетов: физико-математического, медицинского, наук нравственных и политических (богословского), и словесных и свободных искусств просуществовал до 1832 года. Виленский университет, бывший по смыслу устава, данного ему Александром I в мае 1803 года, не только высшим ученым и учебным учреждением, но и административным по учебной части для всех училищ Виленского учебного округа, в которых количество учащихся тогда превосходило число учащихся всех прочих существовавших округов 1), сыграл некоторую положительную роль в крае в деле литературного и научного движения, носившего по направлению и содержанию характер белорусско-литовский. Сначала в стенах университета, в котором собрались лучшие тогдашние польские ученые, а затем до 60-х годов XIX столетия под влиянием в значительной мере идей Виленского университета в польской литературе изучалась с исторической, этнографической и экономической точек зрения жизнь местного населения, входившего некогда в состав Речи Посполитой. Но Виленский университет, получивший громкую европейскую известность, был как по составу учащих и учащихся, так и по духу и тенденциям клерикально-шляхетским учреждением с обликом чисто польским и в вековой борьбе политических, религиозных и культурных начал, сплетавшихся на территории Белоруссии с интересами социально-экономическими, отстаивал интересы польской культуры и народности вплоть до открытого участия в восстании поляков против русского царизма.

Еще до оффициального закрытия Виленского университета русское правительство, желая высшее образование в „возвращенных от Польши землях" приблизить к центрам русской жизни, было озабочено учреждением высшего учебного заведения в образованном в 1829 г. Белорусском учебном округе, в состав которого входили тогда учебные заведения Витебской и Могилевской губ. Бывший министр народного просвещения кн. К. А. Ливен испрашивал у Николая I разрешения „об'явить дворянству в Белоруссии о предназначенном там учреждении высшего училища, в коем тамошнее юношество может полу-

---

1) См. проф. Рождественский. „История Министерства Народного Просвещения".

чить окончательное образование, не имея надобности отправляться для того ни в отдаленные русские университеты, ни в виленский". 1 мая 1832 года одновременно с закрытием по политическим соображениям Виленского университета и упразднением Виленского учебного округа, учебные заведения которого присоединялись к Белорусскому, был издан царский указ об основании „в свое время, по местной удобности предположенного к учреждению в Белоруссии высшего училища или Лицея в гор. Орше, который со временем мог бы заменить и упраздненный Виленский университет". Но мелкие чисто технические и финансовые затруднения, с одной стороны, политические мотивы, с другой, привели к тому, что вопрос об учреждении в Белоруссии высшего учебного заведения был снят с очереди, а начатые уже работы в Орше прекращены, ассигнованные же денежные суммы переведены на устройство русского университета св. Владимира в г. Киеве, который должен был заменить предполагавшиеся лицеи в Киеве (переведенный из Кременца Волынский) и Орше и стать „умственною крепостью вблизи военной для подавления духа польской национальности", быть „средоточием учебной системы всех западных губерний для окончательного образования молодых людей, приготовленных к тому в гимназиях Киевского и Белорусского округов".

Исключительно случайные обстоятельства и политические условия и соображения были причиной того, что и образованная из факультета наук нравственных и политических Виленского университета Высшая Богословская Школа в Вильне сначала была переименована в Римско-Католическую Духовную Академию, а затем переведена в Петроград (1842 г.), а Медико-Хирургическая Академия, явившаяся продолжением медицинского факультета того же университета, была совершенно упразднена (1842), равно как и основанная в 1812 году Полоцкая иезуитская коллегия (1830 г.); научное имущество их и библиотеки были вывезены за пределы Белоруссии частью в Киевский университет, а частью в Петроград, куда был перевезен и архив Виленского университета.

Проводя систематическую обрусительную политику на окраинах, царское правительство, начиная с Николая I, в так называемом Северо-Западном крае неуклонно стремилось очистить „возвращенные от Польши земли" от разных налетов, оседавших веками в периоды предшествующей их жизни и превратить их в „оплот православия и русской народности". Не допуская никаких проявлений национально-областной жизни в среде местных народов, уничтожая польские центры науки и культуры, как очаги всяческой „крамолы и сепаратизма", царские чиновники, составлявшие в крае ядро руссификационной и об'единительной политики, несмотря на все усилия „проявить на русско-литовской земле присутствие русской культурной жизни", не могли, однако, создать в крае русские центры науки и культуры. Со времени перевода Александром II по докладу генерала Зеленого в Петербург из пределов Белоруссии (Могилевской губ.) Горы—Горецкого Земледельческого Института (1848—1863 г.), бывшего тогда единственным высшим сельско-хозяйственным учебным заведением в России, огромный по территории и количеству населения край остался вплоть до октябрьской революции без высшей школы, на которой естественно лежала бы задача поддержать народное самосознание, поднять культурный уровень края и содействовать развитию его производительных сил природы. Отсутствие долгое время в крае высшей школы, этой лаборатории научного знания, из которой, как из живого источника, вся страна черпает просвещение, имело тот результат, что дореволюционная Бело-

руссия, бывшая некогда центром науки и просвещения, давала самый низкий процент грамотных (12—20 проц.), была в отношении просвещения чуть ли не самой забытой и заброшенной страной, без своей родной интеллигенции, литературы, науки, искусств, без своей развитой культурно-экономической жизни.

Между тем громадный край, в высшей степени интересный разнообразными скрещениями, происходившими на его почве и еще мало научно исследованными, обильный земельными, лесными водными и некоторыми минеральными богатствами, заставлял местное общество и отдельных местных культурных людей усиленно искать путей и средств к выходу из крайне ненормального положения. Отсутствие высшего учебного заведения в крае, составлявшем один из обширных учебных округов, правда временами озабочивало и правительство. В средине 70-х годов бывший министр народного просвещения гр. Толстой Д. А., поддерживая ходатайство Витебского дворянства, представлял Александру II докладную записку об учреждении для белорусских губерний университета в Полоцке, где имелись подходящие для университета здания закрытых монастырей.

В конце 80-х годов вопрос о высшей школе в северо-западном крае был предметом оживленной казенной дискуссии, при чем одни высказывались за университет, другие за политехникум, а некоторые отстаивали мысль об открытии в Вильне Православной Духовной Академии.

В связи с общей эволюцией социальной и культурно-экономической жизни края, когда создание знающих местные условия специалистов разной квалификации (агрономы, лесоводы, врачи, педагоги и др.) стало насущнейшей задачей общественного и государственного строительства, различные местные сельско-хозяйственные общества и с'езды, а также узкоцензовые городские и земские самоуправления Белоруссии начали высказывать мысль и возбуждать перед правительством ходатайства об открытии в северо-западных губерниях высшего учебного заведения.

В августе 1901 г. на виленском с'езде представителей обществ сельских хозяев края, а затем и в виленской городской думе обсуждался вопрос об открытии в Вильне высшего учебного заведения типа политехникума с отделениями: сельско-хозяйственным, лесным, химическим, механическим и строительным, как наиболее отвечающего интересам преобладающего местного населения.

В 1903 году вопрос о высшей школе в северо-западном крае особенно горячо дебатировался в местной (Витеб. и Могил. губ. Ведомости и др.) и столичной (Бирж. Вед., Новое Время и др.) прессе и в местных городских думах в связи с сельско-хозяйственным областным с'ездом в Двинске, на котором „гвоздем" с'езда явился доклад П. Стрельцова „О высшем учебном заведении в северо-западном крае" [1]) Многочисленный Двинский областной с'езд представителей местного землевладения шести северо-западных губерний с участием ученых специалистов сельско-хозяйственного образования, исходя из того, что обширный Виленский учебный округ, насчитывающий сотни учебных заведений всевозможных типов и разных ведомств,—единственный в Европейской России, который не имеет ни одного высшего учебного заведения и что местные сельско-хоз. и экономические нужды в связи с естественно-историческими, племенными и культурно-бытовыми особенностями населения не изучены, единогласно признал необходимым

[1]) См. Газ. „Витебские губ. Ведомости" за 1903 год.

учреждение высшей школы в Белоруссии, высказавшись большинством голосов за университет с сельско-хозяйственным отделением, считая университет наиболее отвечающим местным нуждам и потребностям, в котором интересы сельско-хозяйственной культуры гармонически сольются с интересами общего под'ема образовательного уровня населения, а также указал и те местные средства (самообложение, содействие земств и пожертвования городов, неиспользованные фундуши и др. благотворительные капиталы), которые могли бы обеспечить практическое осуществление идеи высшего учебного заведения. Что касается выбора для У-та места, из-за которого велся спор в местной прессе, то двинский областной с'езд сельских хозяев этот частный вопрос оставил открытым, предоставив его решение усмотрению учебного начальства и инициативе и соревнованию заинтересованных городов.

Почти одновременно с постановлениями Двинского областого с'езда по вопросу о высшем учебном заведении в сев. зап. крае, сначала Витебская городская дума, а затем и Минская берут на себя инициативу как в возбуждении ходатайства перед правительством о создании в Белоруссии университета, так и в асигновании средств для означенной цели. В экстренном заседании Минской городской думы 3 сентября гласный В. О. Янчевский, ссылаясь на то, что Минск по своему географическому положению и числу оканчивающих средние учебные заведения является наиболее нуждающимся в высшей школе, внес в думу предложение о принятии всех мер и использования всех возможностей города для открытия университета в Минске. В виду чрезвычайной важность этого дела, как в культурном и образовательном отношении, так и в интересах дальнейшего роста города, Минская городская дума постановила возбудить соответствующее ходатайство об открытии в Минске университета, со своей стороны предоставив для постройки помещений университета необходимый участок земли и денежную субсидию в 500.000 рублей. В 1906 году Минская городская дума вторично поднимала вопрос об открытии университета в западном крае, при чем в виду огромного культурного значения его как для города, так и для земского населения, обращалась за материальным содействием к местному земству, которое отнеслось к этой мысли отрицательно, так как по мнению Губернского комитета „ассигнование 500.000 рублей из земских сумм на Минский Университет являлось бы незаконным, не отвечающим нуждам огромной массы плательщиков земских сборов и невозможным по состоянию земских средств". В 1911 г. Минская городская дума и Минское губернское земство снова рассматривали этот вопрос; поднимался вопрос об открытии краевого университета в Минске в составе одного лишь медицинского факультета в 1913 г., при чем городская дума отводила под университет хутор Людамонт и обязывалась провести к нему электрический трамвай, но царское правительство, оплотом которого была народная темнота, поддерживаемая национально-политическим и социально-экономическим гнетом, как и раньше, не шло навстречу жизненным потребностям края, опасаясь, что Белорусский университет может воскресить традиции Виленского и превратиться в орудие политических целей местного сепаратизма.

В 1914 году Особым Совещанием при государственной думе, которое вырабатывало общий план учреждения высших сельско-хозяйственных учебных заведений в главных земледельческих районах России, Минск, как центр особого сельско-хозяйственного района с типичными естественно-историческими, сельско-хозяйственными и культурно-бытовыми условиями, был внесен в государственную сеть высших сельско-хозяйственных школ в России, но начавшаяся мировая война помешала

осуществиться этой идее в северо-западном крае. Между тем мысль об открытии университета в Белоруссии настолько созрела и окрепла, а потребность в нем так остро ощущалась, что в 1916 году, несмотря на военные действия, почти одновременно Могилевское губернское земское собрание, Витебская губернская земская управа, Минская городская дума и Минское губернское земство ходатайствовали перед правительством о даровании университета одному из городов Белоруссии, но получили отказ, мотивированный министерством народного просвещения тем, что Витебск и Могилев не являются центром сев.-западного края, а Минск находится близко к фронту войны.

С начала революции 1917 года, когда белорусское национально-культурное и революционное движение развернулось с необычайным размахом и глубиной, вопрос об учреждении в Белоруссии университета и других высших учебных заведений стал одним из програмных требований белорусских национальных организаций и партий и местных демократических органов государственной власти. В 1918 году, во времена немецкой оккупации, Минское демократическое губернское земство и ряд уездных земских собраний и городских дум, на заседании кототорых особенно горячо дебатировался вопрос об открытии университета в г. Минске пытались совместно с группой лиц из профессуры заложить „первые кирпичи Краевого Храма Науки", на что земствами были ассигнованы денежные суммы до двух миллионов (2.000.000) рублей, а Минской думой отводился для университета участок земли и целый ряд бесплатных помещений.*) В проекте отдела народного образования при Минской земской управе и проекте проф. Довнар-Запольского, представленного им в форме вопросов председателю народного секретариата Белорусской Народной Республики и акад. Е. Ф. Карского, напечатанном в Минской газете „Вольная Беларусь", университет в Минске конструировался по типу и уставу старых университетов России в составе четырех основных факультетов: историко-филологического, юридического, медицинского и физико-математического с допущением на историко-филологическом факультете кафедр местного значения: белорусской, польской и литовской и с добавлением в проектах проф. Довнар-Запольского и акад. Карского богословского факультета, при чем в проекте Довнар-Запольского предполагался к открытию и коммерческо-экономический факультет, как имеющий „большое применение и требующий мало особенных кафедр".

Таким образом к моменту появления Советской власти в Белоруссии почва для открытия Краевого университета в Минске была подготовлена всем предшествующим ходом развития идеи высшей школы в сев.-зап. губерниях, но без энергичной инициативы и деятельности Советской власти и очень немногих преданных идее университета лиц не была бы преодолена огромная масса препятствий и затруднений, стоявших на пути большего и сложного дела организации университета.

С приходом в Белоруссию Советской власти в 1919 году, вопрос об открытии в г. Минске Белорусского Государственного университета занял центральное месте в общем плане возрождения разрушенной вой-

---

*) Следует отметить, что в Петрограде в 1918 году делались попытки со стороны Белорусского областного комитета при Всерос. Сов. Крест. Депутатов о переводе эвакуировонного Ново-Александрийского института сельского хозяйства и лесоводства в г. Горки, Могилевской губ., а Петроградское отделение Белорусского национального комиссариата ходатайствовало перед Комиссариатом народного просвещения о закреплении за Белоруссией Юрьевского университета о переводе его временно в один из неоккупированных городов западной области: Витебск или Смоленск.

ной экономической жизни края и создании белорусской культуры, в просвещении широких трудящихся масс Белоруссии. Ясно понимая, что невозможна победа на внешнем фронте революции без победы на внутреннем, духовном, Советская власть в невероятно тяжелых условиях революционной классовой борьбы и общего хозяйственного раззорения не только низшее и среднее, но и высшее образование, бывшее привилегией исключительно немногих избранных, стремилась сделать достоянием отсталых, угнетенных национальностей, открывая им возможность широкого культурного развития на родном языке. Одновременно со стихийным возникновением новых высших учебных заведений на востоке, юге и севере России, открывается и в западной области, бывшей особенно обездоленной в отношении просвещения, ряд высших и специальных учебных заведений: в г. Смоленске—государственный университет, политехникум, институт народного образования, в Витебске—Пролетарский университет и народная консерватория, Могилеве—техникум и Красноармейский университет, в Горы-Горках средняя сельско-хозяйственная школа преобразовывается в высший сельско-хозяйственный институт, а в Минске реэвакуированный из Ярославля педагогический институт преобразовывается в высшее учебное заведение, из б. среднетехнического училища создается Государственный политехникум и, наконец, строится Белорусский Государственный университет. Пишущему эти строки пришлось первому в феврале 1919 г. поднять вопрос о создании Белорусского Государственного университета и сообщить в Минске, что Наркомпросом Р.С.Ф.Р. признано принципиально возможным в местностях освобожденных от немецкой оккупации со сплошным не русским населением учреждение университета с преподаванием на одном местном языке, в местностях же со смешанным—университета с преподаванием на различных языках. В частном совещании группы лиц, созванном Комиссариатом просвещения С. С. Р. Белоруссии в составе комиссара просвещения т. Червякова, акад. Карского, Ивановского, Тарашкевича, Трепки, Турука, заведующей городским отделом народного образования т. Фрумкиной и Березовой было выяснено, что помимо гор. Вильно, оспариваемого поляками и литовцами, гор. Минск, как наиболее крупный торгово-экономический и культурно - политический центр Белоруссии и наиболее удаленный от старых университетских городов, является естественным местом для Краевого университета, что этот университет должен быть Государственным и что в первую очередь должны быть открыты в университете: 1) физико-математический факультет, как основа для будущих агрономического, медицинского, ветеринарного и технического факультетов и 2) факультет общественных наук с отделениями социально историческим, финансово-экономическим и литературно-филологическим с кафедрами истории, языка и фольклора местных народностей. После того, как по докладу заведующей городским отделом народного образования Минский Исполком в заседании 16 февраля высказался за энергичную поддержку ходатайства о создании в гор. Минске Государственного университета, а большой президиум Ц. И. К. Советов Белоруссии в заседании 24 февраля признал „открытие Государственного университета в Минске весьма желательным“ и ассигновал из сумм государственного казначейства 1.000.000 рублей на первоначальные расходы, в Минске при губернском комиссариате народного просвещения была создана специальная комиссия по организации университета в составе акад. Е. Ф. Карского, проф. Андерсена, Васютинского, Ивановского, Масловского, д-ра Каминского, Войцеховского и М. Я. Фрумкиной, задачей которой являлась всесторонняя разработка вопросов, связанных с организацией университета и проведение их в жизнь.

Одновременно с организацией Минской университетской комиссии Наркомпросом Р.С.Ф.С.Р. по предложению Ц.И.К. Советов Белоруссии была учреждена в Москве комиссия во главе с членом коллегии Отдела В.У.З. Тер-Оганесовым В. П. в составе проф. В. П. Волгина (Наркомпрос), Ф. Ф. Турука (Белорусский п/отдел Отдела Просвещения национ. меньш.) А. Ф. Мясникова (Ц.И.К. Литовско-Белорусской Республики) и 1 представителя Минской унив. комиссии, в задачи которой входила выработка общих учебных планов, подбор профессуры и оказание помощи в деле организации учебно-вспомогательных учреждений Белорусского Государственного Университета[1]).

В результате работ обоих комиссий в течение нескольких месяцев 1919 года окончательно были разработаны в особых подкомиссиях ученых специалистов, применительно к новому содержанию и новым методам реформируемой высшей школы России и сообразно особенностям и культурным нуждам местной жизни Белоруссии, учебные планы преподавания предметов пяти факультетов Белорусского Государственного Университета: общественных наук с циклами: историческим, экономическим и юридическим, литературно-филологического, агрономического, медицинского и естественного, которые были затем рассмотрены и утверждены коллегией отдела В. У. З. Наркомпроса Р. С. Ф. С. Р. Усложняющаяся дифференциация филологических наук и разнообразные скрещения культурных влияний на территории Белоруссии, на которой живут разноязычные народы, не имеющие своих научных центров для разработки местных филологий, заставили признать необходимым в составе Белорусского университета самостоятельный литературно - филологический факультет, при чем учебный план этого факультета был так построен, что он должен был практически сближаться с факультетом общественных наук в части предметов общего социологического характера. Учебным планом литературно-филологического факультета предусматривалась организация секций белорусской и еврейской культур с преподаванием на местных языках. Кроме выработки учебных планов были созданы в Москве по каждому факультету из числа членов Государственного Ученого Совета и крупных ученых специалистов особые жюри по замещению кафедр Белорусского Государственного Университета, из коих жюри по замещению кафедр факультета общественных наук было рассмотрено свыше 20 кандидатур и признано достойными занять самостоятельные кафедры более 10 лиц.

В Минске была проделана большая организационная работа по собиранию на территории Белоруссии книг и целых библиотек для фундаментальной библиотеки Университета. Подысканы временные и постоянные здания для нужд факультетов университета, рассмотрены проэкты строительных смет, приняты меры к устройству анатомического театра, для агрономического факультета были подысканы и получены от Губземотдела им. „Лошица“ в 6 верстах от Минска (150 дес. пахотной, 45 сенок., 5 сада и 10 огородной земли) с хорошо оборудованным винокуренным и кирпичным заводами, мельницей, жилыми постройками, живым и мертвым инвентарем; лесные дачи „Слепянка“ в 1440 дес. и „Стиклеево“ в 707 дес., намечен был целый ряд кандидатов на профессорские и преподавательские должности и были организованы подготовительные курсы к университету для крестьян и рабочих Белоруссии.

---

[1]) В Москве в феврале месяце 1919 года профессор И. Р Брайцев представлял в отдел высших учебных заведений Наркомпроса проэкт временных положений в Белорусском Университете с докладной запиской: „Какая высшая школа нужна в настоящее время Белоруссии“.

Польская оккупация Белоруссии летом 1919 года прервали более чем на год работу по открытию в Минске Белорусского Государственного Университета, однако она не могла убить стремления к высшему знанию в крае, которое проявилось во времена оккупации в ряде успешно функционировавших зимою частных высших курсов для студентов медиков, юристов, техников и окончивших средние учебные заведения, не имевших возможности по военным обстоятельствам продолжать свое образование в других городах.

Когда Красная Армия в июле 1920 года освободила Минск от польских легионеров, то Минская и Московская университетские комиссии в значительно измененном составе возобновили свою деятельность. Делегации Минской комиссии в составе акад. *Е. Ф. Карского*, д—ра *С. Д. Каминского*, ученого агронома *Ярошевича* и секретаря комиссии *Слепяна*, отправившейся в августе в Москву для выяснения вопросов, связанных с ускорением открытия Белорусского Государственного университета, удалось при поддержке некоторых членов Московской комиссии добиться в Коллегии Научного Сектора Наркомпроса следующего постановления: „учредить в г. Минске Государственный Университет в составе факультетов: рабочего, естественного, медицинского, агрономического и филологически-литературного с тем, чтобы этот последний факультет получил этнографически - лингвистический уклон. Что касается факультета общественно-политических наук, то вопрос об его учреждении оставить открытым впредь до выяснения возможности сформировать для него надлежащий преподавательский персонал“. В то же время делегацией было получено от заместителя Народного Комиссара по просвещению, заведующего В. У. З. Покровского М. Н. официальное подтверждение, что открытие Белорусского Государственного Университета в Минске, декретированное Центральным Исполнительным Комитетом Рабочих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов С. С. Р. Белоруссии от 25 (24) февраля 1919 года, считается совершенно достаточным законодательным актом, сохраняющим силу и в настоящее время и что со своей стороны отдел Высших Учебных Заведений Н. К. по Пр. Р.С.Ф.С.Р. образует комиссию содействия учреждению в Минске Белорусского Государственного Университета и придет ему на помощь финансовыми средствами, научными силами и всем необходимым для организации научно-вспомогательных учреждений университета“. Комиссия содействия учреждению в Минске Белорусского Государственного Университета была образована Наркомпросом Р. С. Ф. С. Р. в составе: Тер-Оганесова В. Т., проф. Волгина В. П., акад. Карского Е. Ф., проф. Пичета В. И., проф. Минора Л. С. и Турука Ф. Ф., а впоследствии пополнена путем кооптации проф. Прянишниковым Д. Н. и теми профессорами и специалистами, которые приняли участие в декабрьской поездке в Минск.

Первой задачей Московской комиссии, разбившейся для работы на специальные подкомиссии по факультетам, было установление плана работ по приисканию соответствующих лиц для замещения кафедр намеченных факультетов Белорусского Университета, пересмотр списков кандидатов прошлого года с целью выяснения их фактического положения и получения от них подтвержения своих кандидатур, установление числа профессоров по каждому факультету, необходимых в первую очередь, обсуждение и выбор из намеченных аспирантов достойнейших, при чем для приглашения научных сил медицинского факультета была комиссией принята предложенная проф. Минором общая схема конструирования медицинского факультета сразу всего в так называемом „разреженном“ виде, а не первых только курсов, т. е. пригла-

шение одновременно представителей теоретической и практической (клинической) медицины.

Сентябрьское наступление поляков и однодневное занятие ими г. Минска временно задержали осуществление плана поездки в Минск специальной комиссии, составленной из представителей предполагаемых к открытию в Минске факультетов университета.

В конце декабря 1920 года Минск переживал радостный момент „дело открытия в Минске Государственного Университета из области предположений, проектов и пожеланий превращалось в реальный, действительный факт". Из Москвы 27 декабря в Минск прибыла группа профессоров в составе А. А. Борзова, А. М. Беркенгейма, д-ра М. Е. Вейцмана, А. А. Калантарь, П. И. Каризина, д-ра М. Б. Кроль, Н. М. Кулагина, Л. С. Минора, В. И. Пичета, Л. С. Таль, Ф. Ф. Турука, и Н. А. Янчука, среди которых имелись выдающиеся ученые. Представители разных научных дисциплин считали необходимым открытие университета в Белоруссии, как особой в естественно-историческом и культурно-бытовом отношении области и отмечали, что учреждение в Минске университета будет способствовать всестороннему изучению естественно-исторических, этнографических, агрономических и культурно-бытовых особенностей края и даст возможность у себя на родине подготовить необходимый Белоруссии кадр образованных работников в разных отраслях знаний, что университет послужит об'единяющим научно-культурным центром для населения обоих частей Белоруссии-Советской и Польской и приблизит крестьянское и рабочее население к высшему образованию и тем будет содействовать поднятию уровня экономической культуры и производительности труда. Комиссия профессоров, внимательно осмотрев ряд зданий и помещений и загородных совхозов и обсудив результаты произведенных обследований совместно с представителями местной власти и университетской комиссии и представителями профсоюзов и местных деятелей, нашла в г. Минске вполне благоприятную почву и полную возможность открытия предположенных пяти факультетов и университета весной и осенью 1921 года, причем работу по учреждению университета признала первоочередной задачей, не терпящей отлагательства. Для успешного выполнения всего намеченного плана организации университета, комиссия вместе с представителями местной Советской власти считала необходимым создание в Минске при Компросбеле организационного комитета на основаниях, утвержденных Совнаркомом Белоруссии, в Москве же учреждение организационных вспомогательных групп ученых специалистов с правами факультетов, вместе образующих Временный Совет Белорусского Госуд. Университета во главе с ректором, при чем были намечены факультетские группы в составе следующих лиц: 1) по литературно-филологическому: проф. Пичета В. И. (он же ректор университета), акад. Карский Е. Ф. проф. Янчук Н. А. и Турук Ф. Ф. 2) медицинскому проф. Минор Л. С., проф. Карузин П. И., проф. Брайцев В. Р. и доктор Кроль М. Б., 3) агрономическому: проф. Колантарь А. А., проф. Кулагин Н. М. и проф. Прянишников Д. Н., 4) по естественному: проф. Борзов А. А., проф. Кулагин Н. М., проф. Беркенгейм А. М. и доктор Вейцман М. Е. и консультантами по рабочему факультету намечались: проф. Таль Л. С. Генкин Д. М. и Зернов. В целях пополнения ученого кадра Белорусского университета, комиссия признавала необходимым использовать и молодые силы края, дав им возможность, путем командирования в Московский университет и др. высшие учебные заведения России, подготовиться к научной и учебной деятельности. Но вместо создания органов, которые Наркомпросом Р.С.Ф.С.Р. были признаны громоздкими,

могущими затянуть дело организации Бел. гос. Университета на несколько лет, была образованы в марте 1921 г., „ударного“ характера в Минске сначала тройка, а затем „пятерка“ при ЦИК Советов Белоруссии, в Москве по соглашению Совнаркома Белорусской Республики с Наркомпросом Р.С.Ф.С.Р. „тройка“ на правах временного правления университета, в составе члена коллегии Наркомпроса Р.С.Ф.С.Р Гринберга З. Г., проф. Пичета В. И. и Турука Ф. Ф. для выполнения административных функций и распоряжения кредитами.

Одной из основных задач временного правления Белорусского Государственного Университета в связи с коренным переломом в общем направлении политики народного просвещения и реформой высшей школы было прежде всего изменение всего плана организации Бел. гос. университета, как в смысле конструирования его факультетов, так и переработки учебных планов университета соответственно тем задачам какие вытекали из намеченного общего плана хозяйственного культурного строительства Федеративной Республики. Сущность реформы в области высшего образования сводилась к тому, что высшая школа, дававшая раньше „строго-научное“ образование, оторванное от жизни, переставала быть таковой, а должна служить прежде всего практическим государственным и местным жизненным потребностям, давать массовую подготовку и создавать кадры специалистов, необходимых для различных отраслей советского строительства. Принципиально разделение задач высшей школы на подготовку массового работника—специалиста и подготовку научного работника—исследователя повело к сокращению курсов в высшей школе до трех лет с приданием ему общего практического характера и к созданию над высшей школой особых исследовательских курсов продолжительностью 2—4 года, тесно связанных с исследовательскими научными институтами, целью которых является научно-теоретическая разработка вопросов и подготовка ученых работников в различных отраслях знания. Принимая во внимание направление этой основной тенденции в смысле разделения задач высшей школы и профессионализации высшего образования и в точном соответствии с требованиями современной жизни Белоруссии, учитывая все жизненные изменения, внесенные за последнее время в структуры факультетов университета, а также принимая во внимание невыясненность в деталях намечающейся реорганизации университетов Советской России, временным правлением Белорусского университета совместно с инициативными факультетскими группами профессоров, вошедших в состав Московской комиссии, было приступлено к выработке временных учебных планов: рабочего факультета, факультета общественных наук, медицинского, сельско-хозяйственного и физико-математического. В результате сложной и затянувшейся работы по разработке программ в связи с „текучестью“ оффициального материала по реорганизации учебных планов университетов, а также в связи с некоторыми указаниями Наркомпроса Р.С.Ф.Р. в силу чего приходилось не раз видоизменять конструирование будущих факультетов Бел. гос. университета, примерные учебные планы последнего приняли следующий вид:[1])

---

[1]) Учебных планов физико-математ. факультета по причинам технического характера в настоящем номере, к сожалению, не оказалось возможным привести.

По факультету общественных наук.

1. Этнолого-Лингвистическое Отделение

а) Секция русского языка.

I. Общие курсы.

1.	Логика и методология	4 часа
2.	Психология	4 „
3.	История мировоззрения	8 „
4.	Исторический материализм	2 „
5.	Философия естествознания	10 „
6.	Учение о происхождении и развитии общественных форм	4 „
7.	История социализма	4 „
8.	Государственное и социальное строительство Р. С. Ф. С. Р.	4 „
9.	Введение в языковедение	6 „
10.	Сравнительная грамматика индо-европ. языков	4 „
11.	Общее учение о строении языков	4 „
12.	Общая этнология	8 „
13.	Первобытная культура с доисторическ. археологией	4 „
14.	Поэтика в связи с историей литературных направлений	12 „
15.	История античных культур	8 „

II. Основные курсы.

1.	Сравнительн. грамматика славянск. языков	4 „
2.	Старославянский язык	4 „
3.	Русский язык	12 „
4.	История русск. литературы (5)	20 „
5.	История западно-европейск. литературы	12 (3)
6.	История белорусск. литературы	4 „
7.	История украинск. литературы	2 „
8.	История польской литературы	2 „
9.	История русск литературн. критики	4 „
10.	История русского искусства	6 „
11.	История белорусского искусства	2 „
12.	Славянская этнография	4 „
13.	Этнография народов Белоруссии	4 „
14.	Этнография народности великорусск.	4 „
15.	История белорусск. культуры	4 „
16.	История русской культуры	8 „
17.	История новых европейских обществ	12 „
18.	Археология Белоруссии	4 „
19.	Один из новых языков	8 „

III. Курсы факультативные (2 по выбору).

1. Новославянский язык
2. Греческий язык
3. Литовский язык
4. Славяно-русская палеография
5. Методология истории литературы
6. История театра
7. Белорусский язык
8. Польский язык

(все перечисленные) — По 4 часа.

IV. Педагогические дисциплины.

1. Теоретические основы педагогики . . . . 4 „
2. Экспериментальная педагогика . . . . . 4 „
3. История народного образования . . . . . 4 „
4. Семинарий по истории педагогическ. учений . . . 4 „
5. Теория трудовой школы . . . . . . 2 „
6. Методика преподавания русского языка с практикумом . . . . 12 „

V. Семинарии.

1. По русскому языку . . . . 8 „
2. По толкованию авторов с точки зрения языков . . 4 „
3. По истории русской литературы . . . . 8 „
4. По истории западно-европейск. литерат . . . 4 „

б) Секция Белорусского языка.

1. Общие курсы (см. выше).

2. Курсы основные.

1. Сравнит. грамматика славянских языков . . . 4 „
2. Старо-славянск. яз. . . . . 2 „
3. Русский яз. (2 к.) . . . . 4 „
4. Белорусский яз. . . . . 12 „
5. История белорусск. литературы
   а) белорусск. народн. поэзия . . . . 4 „
   б) старая письменность . . . . . 4 „ 12
   в) и новая художествен. литература . . . 4 „
6. Славянская этнография . . . . . . 4 „
7. Историческ. этнография народов Белоруссии . . 4 „
8. Современ. этнография народов Белоруссии . . . 4 „
9. История белорусск. культуры . . . . . 8 „
10. История белорусск. искусства . . . . . 4 „
11. История русск. литературы (2 к.) . . . . 8 „
12. История западно-европ. литературы (2 к.). . . 8 „
13. История польской литературы . . . . . 4 „
14. История украинск. литературы . . . . . 4 „
15. История русск. культуры . . . . . 8 „
16. Археология Белоруссии . . . . . . 4 „
17. История новых европейск. обществ . . . . 8 „
18. История Польши . . . . 4 „
19. Один из новых языков . . . . . . 8 „
20. Латинский язык . . . . 4 „
21. Историческая география Белоруссии . . . . 2 „
22. Современ. география Белоруссии . . . . 2 „

III. Курсы дополнительные (2 по выбору).

1. История славян . . . . 4 „
2. История евреев в Литве и Польше . . . . 4 „

3. Литовская этнология . . . . . . 4 „
4. Славянская этнология . . . . . . 4 „
5. Польская этнология . . . . 4 „
6. История литовской литературы . . . . . 4 „
7. Славяно-белорусск. палеография . . . . 4 „
8. Литовский язык . . . . 4 „
9. Польский язык . . . . 4 „
10. Методика истории литературы . . . . . . 4 „

IV. Педагогические дисциплины.

1. Теоретическ. основы педагогики . . . . . 4 „
2. Экспериментальн. педагогика . . . . . . 4 „
3. История народн. образования в Белоруссии . . . 4 „
4. Семинарий по истории педагогическ. учений . . . 4 „
5. Теория трудовой школы . . . . 4 „
6. Методика преподавания белорусск. яз. с практик. . 12 „

V. Семинарии.

1. По белорусскому языку (2). . . . . . . 8 „
2. О толковании авторов с точки зрения яз. . . . 4 „
3. По истории белорусск. литературы. . . . . 8 „
4. По истории русской литературы . . . . . 4 „

в) Секция польского языка.

I. Общие курсы (см. выше).

II. Курсы основные.

1. Введение в славянскую филологию . . . . 4 „
2. Сравнит. грамматика славянск. язык. . . . . 4 „
3. Старо-славянский язык. . . . . 4 „
4. Русский язык (белорусск. язык). . . . . . 4 „
5. Польский язык . . . . 12 „
6. Польская литература
   а) польский фольклор . . . . . 4 } 12
   б) средневековая литература . . . . 4 }
   в) новая и новейшая литература . . . 4 }
7. Историческая этнография народов Белорус. . . . 4 „
8. Современ. этнография народов Белоруссии . . . 4 „
9. Славянская этнография . . . . 4 „
10. История белорусской культуры . . . . . 4 „
11. История польской культуры . . . . . . 4 „
12. История польского искусства . . . . . 4 „
13. История русской литературы (2 к). . . . . 8 „
14. История белорусской литературы . . . . . 4 „
15. История западно-европ. литературы (2 к). . . 8 „
16. История украинск. литературы . . . . . 4 „
17. История русск. литературы . . . . . . 8 „
18. Археология Польши . . . . 4 „
19. История новых европейск. обществ . . . . 12 „
20. Средневековая латынь . . . . 4 „
21. Латинск. язык . . . . 8 „
22. Новый язык . . . . 8 „
23. Современ. география Польши . . . . . . 4 „

III. Курсы дополнительные (2 по выбору.)

1. История славян	4	„
2. История евреев в Литве и Польше	4	„
3. Литовская этнология	4	„
4. Славянская этнология	4	„
5. История литовской литературы	4	„
6. Польско-латинская палеография	4	„
7. Литовский яз.	4	„
8. Белорусск. яз.	4	„
9. Методика истории литературы	4	„

IV. Педагогические дисциплины.

1. Теоретическ. основы педагогики	4	„
2. Экспериментальн. педагогика	4	„
3. История народн. образован. в Белорус. и Польше	4	„
4. Семинарий по истории педагогическ. учений	4	„
5. Теория трудов. школы	2	„
6. Методика препод. польск. яз. с практик.	12	„

V. Семинарии.

1. Современ. грамматика польск. яз.	12	„
2. Чтение авторов	8	„
3. История польск. литературы	4	„

г) Еврейская секция.

I. Общие курсы (см. выше).

II. Основные курсы.

1. Введение в еврейск. филологию.	4	„
2. Историческ. грамматика еврейск. язык.	4	„
3. Древне-еврейск. язык.	4	„
4. Еврейский язык	4	„
5. Еврейская литература		
а) еврейск. фольклор.	4	20
б) еврейск. древн. литература	4	
в) еврейск. средне-веков литер.	4	
г) еврейск. новая литература.	4	
д) еврейск. новейшая литература	4	
6. История германск. наречий	4	„
7. Историческая этнография народов Белорус.	4	„
8. Современ. этнограф. народов Белорус.	4	„
9. История еврейск. культуры в средние и новые века	8	„
10. История древнего еврейства	4	„
11. История евреев в Польше и Литве	4	„
12. История белорусск. культуры Белоруссии	4	„
13. Историческ. этнография народов	4	„
14. Современ. этнография народов Белорус.	4	„
15. История еврейск. искусства	4	„

16. История русск. литературы (2 к.) . . . . . 8 „
17. История немецкой литературы (2 к.) . . . . . 8 „
18. История новых европ. обществ . . . . 12 „
19. История русск. культуры . . . . . 8 „
20. Немецкий язык . . . . 2 „
21. Археология древнего Востока. . . . . . . 4 „

III. Дополнительные (2 курс).

1. Русский яз . . . . 4 „
2. Белорусск. яз. . . . . 4 „
3. Польский яз. . . . . 4 „
4. Еврейская палеография . . . . 4 „
5. Методика преподав. литер. . . . . . . 4 „
6. Курс Талмуда. Кабаллы Библии } 4 часа.
7. Экзегетика . . . . 4 „

IV. Педагогические дисциплины.

1. Теоретическ. основы педагогики . . . . . . 4 „
2. Экспиремент. педагогика . . . . 4 „
3. История народообразов. в Белоруссии и России . . 4 „
4. Семинарии по истории педагогическ. учений . . 4 „
5. Теория трудов школы . . . . 2 „
6. Методика преподав. еврейск. яз. с практик. . . . 12 „

V. Семинарии.

1. Современ. грам. еврейск. яз. . . . . . . 4 „
2. Толкование авторов с точки зрения яз. . . . . 8 „
3. История еврейск. литературы . . . . . . 4 „
4. Русский язык . . . . 4 „

2. Общественно-педагогическое отделение.

1. Курсы общие.

1) Логика и методология . . . . 4 „
2) Психология . . . . 4 „
3) История мировоззрения . . . . 4 „
4) Исторический материализм . . . . . . 4 „
5) Учение о происхожд. и развитии обществ. форм . . 4 „
6) Политическ. экономия (учен. о развитии народн. хоз-ва. Капиталистическое хоз-во) . . 4 „
7) Экономика переходн. времени в связи с организацией производства . . . . 4 „
8) Хозяйство и право в их историч. взаимоотношении . 4 „
9) Государствен. право РСФСР . . . . . . 4 „
10) История социализма . . . . 4 „
11) Экономическая география России и Белоруссии . . 4 „

II. Курсы основные.

1) История первобытной культуры	4	„
2) Древняя история (2 к).	8	„
3) Средняя история (3 к.), один курс по истории народного хоз-ва	12	„
4) Новая и новейшая история:		
а) 3 курса по русск. истории, в том числе один по истории хоз-ва	12	„
б) 3 курса по всеобщей истории, в том числе по истории хоз-ва	12	„
5) История Запада XIX—XX в.	4	„
6) История России XX в.	4	„
7) История Белоруссии	4	„
8) История религии	8	„
9) История рабочего класса	4	„
10) История форм труда и рабочего класса	4	„
11) Теория исторического познания	4	„
12) Археология.		

III. Курсы дополнительные (4 курса по выбору по 4 часа).

1) История Белорусск. культуры	7	„
2) История Украины	8	„
3) История народн. хоз-ва в Белоруссии	9	„
4) Историческ. этнография народов Белоруссии	10	„
5) История Польши	11	„
6) История евреев в Литве и Польше.		
7) Антропогеограф.		
8) Теория статистики.		
9) История первых веков христианства		
10) История религиозных движений в Белоруссии.		
11) Историческ. география России и Белоруссии.		
12) Архивоведение.		

IV. Семинарии.

1) Просеминарий	4	„
2) Семинарий по технике историч. исследования	4	„
3) Семинария	12	„

а) Школьный цикл.

1) Теоретическ. основы педагогики	4	„
2) Физиология детск. возраста	4	„
3) Педагогическ. психология	4	„
4) История народного образован. в Белоруссии	4	„
5) Теория трудовой школы	4	„
6) Политика и органы народн. образования РСФСР	4	„
7. Методика обществоведения с практикумом	3	„

б) Цикл внешкольный.

1) Психология аудитории	4	„
2) История народн. образов. (преим. внешкольного)	4	„

3) Формы внешкольн. образов.	4	„
4) Политика и организ. народн. образов. РСФСР	4	„
5) Методика обществоведения во внешкольном образовании	4	„
6) Библиотечное дело	4	„
7) Музейное дело	4	„
8) Экскурсионное дело	4	„
9) Предметы преподавания в школах для взрослых, для подростков, *в клубах, народных домах*, и народных университетах	8	„

Примечание: Шестимесячный практический стаж по окончании курсов.

III. Правовое отделение.

А. Обязательные для всех студентов-юристов.

1. Логика и общая методология	2 трим.	по 2 ч. н.
2. Учение *о происхождении и развитии* общественных форм	2	2
3. Исторический материализм	2	2
4. Вводный курс по экономике (развитие народного хозяйства, введение и изучение капиталистического хозяйства)	2	2
5. Наука о финансах	2	2
6. Экономика переходного времени	1	2
7. Введение в учение о праве	1	2
8. Хозяйство и право в их историч. взаимоотношении	2	2
9. Учение о развитии права (история институтов частного и публичного права)	4	2
10. Практический семинарий по толкованию и применению форм права	2	2
11. Теория статистики	1	2
12. Хозяйственная статистика	1	2
13. Новейшая история Зап. Европы и России	4	2
14. История социализма	2	2
15. История мироведения	2	2
16. Публичное право:		
а) социальное право	1	2
б) государствен. устройство Р.С.Ф.С.Р.	2	2
в) учение о государствен. контроле	2	2
г) церковь и государство	1	2
17. Частное право:		
а) *гражданское право буржуазного общества*	2	2
б) гражданское право Р.С.Ф.С.Р.	2	2
18. Хозяйственное право:		
а) организация производства и распредел. РСФСР.	2	2
б) промышленное законодательство РСФСР.	2	2
в) земельное законодательство РСФСР.	2	2
19. Трудовое право:		
а) кодекс труда (правовая организация труда)	2	2
б) социальн. закон—во о труде и социальн. обеспечение	2	2

20. Судебное право:		
а) общее учение о суде РСФСР	2	2
21. Международное право:		
а) международное право публичное	2	2
б) международное право частное	2	2
22. История Белоруссии	2	2
23. История народн. хоз—ва в Белоруссии	2	2
24. История народн. хоз—ва в России	2	2

Б. Обязательные для студентов судебного цикла.

1. Уголовное право:		
а) уголовная этиология (учение о факторах преступности и наказания)	2	2
б) Действующее уголовное право (с изложением системы правоохранительных и карательных мер)	2	2
2. Военно-уголовный процесс	1	2
3. Общая психология	1	2
а) судебная психология	1	2
4. Судебная медицина и психиатрия	1	2
5. Криминалистика (техника—расследования преступления)	1	2
6. Семинарии по вопросам борьбы с преступностью	1	2
7. Действующий судебный процесс	2	2
8. Административная юстиция	1	2
9. Детская преступность и борьба с ней	1	2
10. Моральная статистика	1	2

В. Обязательные для студентов административн. цикла.

1. Структура и функции важнейших государственных органов РСФСР. и их взаимоотношения (наркоматы ВСНХ Советы и их отделы. Профсоюзы и коммунистическая партия, как органы пролетарского государства)	2	4
2. Структура центральных и местных органов буржуазного государства	2	2
3. Организационные типы Советов и их эволюция (Советы столичных и промышленных центров, Советы губерн., уезды, волости, слитные советы)	2	2
4. Эволюция внутренней организации Наркоматов и ВСНХ и ее современное состояние	2	2
5. Порядок денежного и натурального финансирования Наркоматов и местных советов	1	2
6. Типы организации делопроизводства центральных учреждений и местных	1	2
7. Типы счетоводства в Советских учреждениях	2	2
8. Экономическая политика Р.С.Ф.С.Р.	2	2
9. Организация промышленных предприятий	2	2
10. Натуральная трудовая повинность (ее эволюция, ее виды, организационные формы, экономика трудовой повинности	2	2
11. Государственный контроль	—	—
12. Типы организационных норм и метод их составления (декреты, положения уставы, инструкции, приказы и распоряжения)	2	2

Семинарий по административному циклу.

1. Политическая экономия	4	2
2. История хозяйственного развития России	2	2
3. Структуры и деятельность важнейших госуд. органов	2	2
4. Организационные типы Советов	2	2
5. Типы организации делопроизводства центральн. и местн. учреждений	2	2
6. Составление организационных норм (декретов положений, инструкций и т. п.)	2	2

IV. Экономическое отделение.

Общие предметы:

	тр.	часы
1. Логика и общая методология	2	2
2. Учение о развитии общественных форм	2	2
3. Исторический материализм	2	2
4. Хозяйство и право в их историческом взаимоотношении	2	2
5. Государственное устройство Р.С.Ф.С.Р.	2	2
6. Теория статистики	2	2
7. История XIX—XX в.в.	4	2
8. История социализма	2	2
9. Экономическая география Р.С.Ф.С.Р. и в частности Белоруссии	2	2
10. Хозяйственная статистика	2	2
11. Технология и товароведение	2	2
12. Политическая экономия	2	2
13. Экономия промышленности	2	2
14. Экономия сельского хозяйства	2	2
15. Денежное обращение	2	2
16. Учение о потреблении	2	2
17. История экономической мысли	2	2
18. История хоз—ва и формы труда Западной Европы	2	2
19. Наука о финансах	2	2
20. История народного хозяйства в России XIX—XX в.в.	2	2
21. Рабочий вопрос и профессиональное движение	2	2
22. Экономика переходного времени	2	2

I. Цикл промышленности и труда.

1. История главных видов промышленности вообще и в частности в Белоруссии	2	2
2. История экономики мелкой промышленности	2	2
3. Промышленная политика Р.С.Ф.С.Р.	2	2
4. Фабричное производство	2	2
5. Финансирование фабричных предприятий	2	2
6. Организация промышленных предприятий	2	2
7. Охрана и инспекция труда	2	2
8. История рабочего движения в России и на Западе	2	2

9. Теория и формы заработной платы	2	2	
10. Инспекция труда	2	2	
11. Формы государственной организации труда	2	2	
12. Производительность труда и трудовая повинность	2	2	

Семинарии.

1. Политическая экономия	2	2	обязательны 2 семинария
2. История хозяйственного развития России	2	2	
3. История социализма	2	2	
4. Организация производства в социалистическом государстве	2	2	
1. Промышленная политика Р.С.Ф.С.Р.	2	2	2 семинария
2. Промышленная статистика	2	2	
3. Организация промышленности в Р.С.Ф.С.Р.	2	2	
1. История рабочего движения	2	2	
2. Заработная плата и тарифн. политика	2	2	
3. Статистика труда	2	2	

2. Цикл снабжения и распределения.

1. Статистика потребления и бюджетного исследования		
2. Сельско-хозяйствен. статистика		
3. Статистика снабж. и распределения		
4. Сельско-хоз. география (сел.-хоз. районы земного шара, особенно Р.С.Ф.С.Р.)		
5. Продовольствен. вопрос в Европе с 1914 г.		
6. Продовольствен. дело в России с 1914 г.	2	2
7. Экономическ. и социальн. основы продполитики Р.С.Ф.С.Р.		
8. Заготовительн. политика советск. власти		
9. Техника заготовок		
10. Политика распределения Р.С.Ф.С.Р. (целевое снабжение, организац вопросы, нормы питания)		
11. Техника распределения	2	2
12. Организация аппарата заготовок и снабжения (структура и функции прод. органов гражд. и воен. кооперативн. аппарата)	2	2
13. Кооперация в Р.С.Ф.С.Р.	1	2
14. Транспорт и его роль в снабжении	2	2
15. Продовольственное законодательство	2	2
16. Материальный учет и продуктовое счетоводство	2	2
17. Организация снабжения и распределения в коммунистическом обществе	2	2
18. Экономика мелкой промышлен. (факульт)	2	2

Семинарии.

1. Кооперация	2	2
2. Материальный учет и продуктовое счетоводство	2	2
3. Продовольственно - кооперативное законодательство	2	2

В основу выработки учебных планов факультета общественных наук Белорусского Государственного Университета были положены примерные программы, составленные особой Комиссией, учрежденной Совнаркомом РСФСР. Состав отделения факультета определен Главпрофбром Наркомпроса РСФСР. Программа этнолого - лингвистического отделения с четырьмя циклами: русского, белорусского, польского и еврейского языков построена применительно к местным этнографическим особенностям края. В программу общественно-педагогического отделения с двумя циклами: школьным и внешкольным, включено несколько курсов, имеющих исключительно местное значение и ставящих своей задачей познакомить общественного работника с той местной историко-культурной обстановкой, в которой последнему приходится работать. Программа правового отделения с циклами: судебным и административным принята без всяких дополнений. В программе экономического отделения отдельные циклы промышленности и труда соединены в один как вследствие полной невозможности найти необходимый кадр преподавателей, так и потому, что промышленность не является доминирующей в хозяйственной жизни края.

Учебный план медицинского факультета.

I курс.

	1 трим.		2 трим.		3 трим.	
	лекц.	практ.	лекц.	практ.	лекц.	практ.
1. Высшая математика	4	4				
2. Физика	4	4	4	4		
3. Химия неорган.	4	4	4	4		
4. „ орган.					6	
5. „ аналит.					2	6
6. Минералогия			2	2		
7. Зоология, сравн. анат. и общ. биология	4	4	4	4		
8. Ботаника.	4	4	4	4		
9. Анатомия систематич.	2	2	4	4	4	4
10. Гистология с эмбриологией					4	6
11. Общеобраз. полит. предм.	6		7		6	
12. Психология					2	

II курс.

	IУ трим.		У трим.		УI трим.	
1. Химия органич.	2	4				
2. Биологическ. химия	2	2	6	6		
3. Зоология, сравн. анат. и общ. биология	2		2			
4. Анатомия описат.	2	6		4		
5. Антропология	4	2				
6. Гистология с эмбриол.	4	6	6	6		
7. Физиология	6	6	6	6		
8. Фармация и фармакогнозия			2		2	2
9. Бактериология			2	2	2	2
10. Психология	2					
11. Общ. патологии					4	2

12. Пат. анат. с гист. .					4	4
13. Фармакология . .					4	
14. Гигиена . . .					4	6
15, Химия физическ. .	2					

III курс.

	УII трим.		УIII трим.		IX трим.	
1. Психология . .			2		2	
2. Общ. патология .	4	2				
3. Пат. анат. с гистол. .	4	4				
4. Пропед. кл. и диагн.	6	6	8	8	8	8
5. Хирург. проп. с кл. .	6	6	6	6	6	6
6. Фармакология . .	4					
7. Общественн. медицина .			2		2	
8. Кожные болезни .			2	2	2	2
9. Акушерство . .			2	2	4	4
10. Гинекология . .					2	2
11. Гигиена . . .	4	6				
12. Опер. хурургия с топ. анат. . . .			4	6	4	6
13. Детск. бол. с клиник.			2	2	2	2
14. Болезни уха горла и носа . . .					2	2
15. Урология . . .			2	2	2	2

IУ курс.

	X трим.		XI трим.		XII трим.	
1. Пат. анатомия с гист.	2	4	2	4		
2. Кожные болезни .	2	2				
3. Гинекология .	2	2				
4. Фак. терап. кл. .	6	6	6	6		
5. „ хирург „ .	6	6	6	6		
6. Нервн. бол. с кл. .	2	2	4	4	4	4
7. Душевн с клин. .	2	2	2	2	4	4
8. детск „ „ . .	4	4	4	4		
9. Глазные „ . .	2	2	2	2	4	4
10. Судебн. медицина .					4	2
11. Бол. уха носа и горла	2	2	2	2		
12. Госпит. терап кл. .					6	6
15. „ „ „ .					6	6

У курс.

	XIII трим.		XIУ трим.		XУ трим.	
1. Нервные болезни с кл.	4	4				
2. Душевные „ „ .	2	2				
3. Глазные „ „ .	4	4				
4. Судебная медицина .	4	2				
5. Одонтология . .	2	2				
6. Госпит. терап. кл. .	6	6				
7. „ хир. „ .	6	6				
8. Истор. медиц.. . .	2					

Учебный план медицинского факультета рассчитан на 13 триместров: младшее или основное отделение на 6, старшее на 7. Из учебного плана из'ята кафедра частной патологии и терапии. Вместо преподавания теоретического курса частной патологии и терапии расширено преподавание пропедевтики и диагностики, которому отведены 7, 8 и 9 триместры; вместо преподавания хирургии или хирургической патологии введена пропедевтическая хирургическая клиника. Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии для Белорусского государственного университета обязательна потому, что нет возможности организовать—при отдельных кафедрах или клиниках отдельных курсов по топографической анатомии за неимением достаточного количества соответствующих лекторов.

Учебный план сельско-хозяйственного факультета:

	I год				II год		
	триместры				триместры		
	1	2	3		4	5	6
химия неорганическ.	4	2		экскурсии			
физика	4	4		и практика			
ботаника	4	2		ботаника			
зоология	4	3		(систем.)			
химия органическ.	—	3		гидробиол.	3	—	
„ аналитическ.	—	2		гидрология			
минералогия-геология	2	2		с.-хоз.			
метеорология	—	2					
системат. растений			3				
геодезия	2	—	2				
бактериология	2	2					
физиология растен.	—	2			2	2	
	22.	24.					

физиология животных	4		
почвоведение	4		практика в имении до конца осени.
фитопатология	2		
энтомология	—	2	энтомологии.
полит. экономия	2	2	сел.-хоз. (см. дальше).
сел.-хоз. механика общ.	2	—	
земледелие общее	3	3	

	II год	III год	
зоотехния общая	4	—	2 практика.
селекция	2	—	для лесовод.
садовод.-огород.-пчеловодство	2	2	плодоз. рыбов. и
с.-хоз. экон. и статист.	3	4	пр. соотв. на лесн.
химия агрономическ.	2	2	даче в сад-огород
технология с.-хоз.	2	2	хоз-ве рыбоводстве и пр.
	22	24	

	I год.			III год.		
	триместры			триместры		
	1	2	3	4	5	6
лесоводство				2	2	практика
земледелие частное				3	3	
зоотехния „				4	4	и лекции
молочн. хоз-во и организ. скотоводства				—	4	4 по организ. хоз.
болотоведение и луговодство . .				3	3	
обществоведение				—	2	
с.-хоз. механика спец. . . .				2	—	
бактериология спец.				2	—	

Специализация.

(Научно-исследовательский институт).

4-й год посвящен подготовке либо а) научно-исследовательского персонала ученых, будущих профессоров и „опытников“, либо б) агрономов-организаторов по различным отраслям: земледелию, животноводству, садово-огородному делу, молочному хозяйству, луго-болотоведению и пр.

а) занятия первой категории лиц происходят преимущественно в лабораторной, кабинетной обстановке при соответственных кафедрах или опытных станциях, сопровождаясь спорадическими лекциями по дополнительным вопросам, углубляющими избранный для изучения вопрос.

б) занятия второй категории лиц происходят, преимущественно, при существующих общественных организациях, под руководством выдающихся специалистов, углубляясь в вопрос организации и общественных мероприятий по массовому улучшению данной отрасли. Лекции по отдельным вопросам могут быть читаемы как своими профессорами, так и теми специалистами, под руководство коих студенты откомандированы. Экскурсиям в этом периоде отводится видное место.

Учебные планы по секциям или циклам определяются впоследствии самим факультетом и его специалистами. При сем дается примерный учебный план секции рыбоводства, составленный проф. Н. М. Кулагиным.

Рыбоводственная секция	(III год)	
	7 тр.	8 тр.
ихтиология	2 час.	— ч.
гидрология	2 „	—
гидробиология	2 „	—
общеее рубоводство	—	2
частное	—	2

В схему Белорусского государственного университета был включен научно-исследовательский институт белорусской и еврейской культур, ставящий своей целью научное изучение всех особенностей белорусского и еврейского народов, составляющих преобладающую массу населения Белоруссии, проэкт устава который впоследствии подвергся переработке в Наркомпросе С. С. Р. Белоруссии.

С приездом в апреле 1921 года некоторых членов Московской комиссии в Минск, вопрос о Бел. гос. университете, создание которого было признано и 2-ым Всебелорусским с'ездом Советов, стал предметом обсуждения 3-ей сессии Ц.И.К., Советов Белоруссии и Президиум ЦИК который, заслушав доклад члена врем. правления Ф. Ф. Турука о ходе работы по организации университета, принял следующее постановление.

Признавая, что открытие университета в гор. Минске является делом первостепенной государственной важности и настоятельно требуется культурными, экономическими и политическими интересами рабоче-крестьянского населения Белоруссии, Президиум ЦИК во исполнение поручения 3-й Сессии ЦИК Советов Белоруссии от 17-го сего апреля постановляет:

1) Подтвердить ранее изданные постановления об открытии в гор. Минске Белорусского Государственного университета.

2) Открыть университет в составе факультетов: рабочего, общественных наук, медицинского, сельско-хозяйственного и физико-математического.

Примечание: В виду ряда специфических особенностей Белоруссии в санитарно-гигиеническом отношении, а также в сельскохозяйственном и в целях подготовки местных высококвалифицированных врачей и агрономов, в которых ощущается острый недостаток, обратить особое внимание на организацию медицинскою и сельско-хозяйственного факультетов:

3) При Белорусском Государственном университете учредить научно-исследовательский Институт белорусской и еврейской культур.

4) Отвести для нужд Университета здания с постройками и угодиями при них: бывших духовной семинарии, женского епархиального училища, гимназии Фальковича, реального училища Хайкина, фабрики „Виктория", Земской больницы, еврейской больницы, русского собрания, постройки б. военного госпиталя с прилегающей к ним территорией для устройства здесь университетского городка, а также бывшие имения „Лошица" с фольварками, „Затишье" и „Дубровка", „Прилуки" и лесную дачу „Ваньковича".

5) Обязать ведомства и учреждения, во временном пользовании которых находятся перечисленные выше здания и имения, передать безотлагательно в распоряжение Наркомпроса для Белорусского университета.

Примечание: Здания б. духовной семинарии и русского собрания подлежат освобождению не позже 1-го июля 1921 года.

6) Предложить Комгосору и Совнархозу немедленно приступить к ремонтированию зданий и прочим работам, необходимым для скорейшего их приспособления для нужд унниверситета.

7) Поручить университетской комиссии, образованной при ЦИК и Временному Правлению Белорусского государственного университета представить в месячный срок на утверждение Совнаркома: а) проэкт мероприятий, необходимых для возможно быстрого и полного обеспечения университета необходимыми научными пособиями, как то: книгами, оборудованием для лабараторий, кабинетов и проч., б) проэкт правил о снабжении преподавателей и слушателей университета жилищем, продовольствием и другими предметами первой необходимости и в) проэкт плана организации научной экспедиции по Белоруссии для собирания и составления нужных для Университета коллекций

8) Войти в переговоры с правительством Р.С.Ф.С.Р. об ассигновании золотого фонда или иностранной валюты для приобретения за границей препаратов, приборов и проч. научного инвентаря для уни-

верситета, и озаботиться изысканием средств на покупку этих предметов на территории Советской Федерации.

9) Принять меры к предоставлению Белорусскому государственному университету классного вагона для постоянного сообщения между Минском и Москвой.

10) Признать открытие университета в гор. Минске срочной и ударной задачей и предложить всем Наркоматам, Совнархозу и другими учреждениями Республики удовлетворять требования университетской комиссии в первую очередь и оказывать Наркомпросу всяческое содействие, необходимое для успешного выполнения этой задачи.

Постановление ЦИК Советов Белоруссии по вопросу об открытии Государственного университета в Минске явилось поворотным пунктом в деле организации университета. С этого момента в Минске началась усиленная деятельность „пятерки" ЦИК, которая организовала канцелярию университета, пригласила на должность управляющего делами видного местного общественного деятеля И. И. Метлина, сконструировала ряд комиссий; строительную, хозяйственную, библиотечную и пр. В условиях почти полного отсутствия финансовых и материальных средств, при наличии господствующего настроения неуверенности в открытии университета состоялось в июне открытие рабочего факультета который с величайшими усилиями начал налаживание учебных занятий по програме, выработанной временным правлением университета со 160 слушателями, набранными из рабочих (69 чел.), крестьян (72) и красноармейпев (19).

По мере развития дела и приближения к фактическому открытию университета поднимался вопрос о взаимоотношении Белорусского Государственного университета с другими учебными заведениями типа высших в Минске-Государственным Политическим Институтом и Институтом Народного Образования.

Когда в общем ходе работы по организации университета выяснилось, что для скорейшего успеха дела необходимо создание единого постоянного руководящего органа по организации университета с пребыванием его в Минске, то после неудавшейся попытки сформировать правление в составе шести лиц: Гринберга З. Г., Пичеты В. И., Гурвича Г. С., Кнорина В. Г., Игнатовского В. М. и Турука Ф. Ф., было образовано в июле 1921 года в результаае переговоров Наркомпроса С.С.Р.Б. с Наркомпросом Р.С.Ф.С.Р. правление университета в составе пяти членов: проф. В. И. Пичета (он же ректор), В. М. Игнатовского, Ф. Ф. Турука, М. Я. Фрумкиной и представителя от студентов рабочего факультета, которое энергично и решительно повело вперед дело организации университета.

11 Июля 1921 года, в день годовщины освобождения Минска из под власти польских оккупантов, состоялось в г. Минске торжественное заседание советских, партийных, профессиональных и культурных организаций и общественных групп, посвященное открытию Белорусского Государственного университета. В этот день Советская власть, освободившая от векового безправия и гнета трудящиеся массы Белоруссии, декларировала Белорусский Государственный университет и обязалась приложить все усилия, чтобы с величайшими трудностями начатое большое научно-культурное дело стало живым фактом. В речах представителей местной власти и различного рода советских, профессиональных и культурных организаций, а также в речах делегатов от всех уездов белорусской Республики единодушно высказывалась, что открытие в Белоруссии университета есть величайшее историческое событие в области просвещения белорусских трудящихся масс, бывших париями при царизме, что уни-

верситет даст сильный толчек для экономического и культурного возрождения разоренного войной и оккупациями края, что „университет должен собрать как в призме все достижения культуры и направлять их так, чтобы они служили делу революции, делу рабочего класса, бывшего до сих пор на задворках жизни и ставшего хозяином жизни". Выступавший ректор университета проф. В. И. Пичета говорил об исторических судьбах белорусского народа, пережившего культурное и экономическое порабощение польских панов и политический гнет русского правительства, отметив этапы развития высшего образования в Белоруссии и России в связи с развитием социально-политической жизни, говорил о том, что „великая российская революция, раскрепостившая трудящиеся массы, дала возможность раскрепостить и народное образование, приблизив его к пролетариату, приблизив пролетариат к образованию" и что в создании университета замечалось полное единение всех общественных групп, всех правительственных, партийных и культурных учреждений и что это единение — залог процветания университета. Проф. Н. Н. Андреев свою небольшую речь о великих завоеваниях человеческого ума в области физических наук закончил пожеланием, чтобы „Белорусский Государственный университет стал не только рассадником просвещения, но и научным центром, вкладывающим и свою лепту в сокровищницу мировых знаний". Официальное сообщение о ходе работы по организации университета в связи с историей развития в Белоруссии идеи высшей школы сделал Ф. Ф. Турук. В день открытия университета были посланы собранием приветственные телеграммы В. И. Ленину, А. В. Луначарскому, М. Н. Покровскому, З. Г. Гринбергу и В. П. Волгину, как заведующему В. У. З Главпрофобра Наркомпроса Р. С. Ф. Р., а также высшим научным центрам дружественных республик: Российской и Украинской академиям наук и старейшим университетам: Московскому, Петроградскому и Киевскому.

В ответ от Российской академии наук была получена Наркомпросом Белоруссии телеграмма, в которой „Академия Наук горячо приветствует новый рассадник высшего образования" и отмечая, что „потребность в Белорусском университете давно назрела также, как в необходимость более глубокого изучения края, желает „новой родственной дружественной высшей школе кипучей и планомерной деятельности".

В течение затем нескольких месяцев новое правление Белорусского государственного университета при неизменном содействии правительства Белоруссии в лице председателя Совнаркома А. Г. Червякова и т. Кнорина и при весьма благожелательной поддержке Наркомпроса Р. С. Ф. С. Р., преодолевая безмерные трудности на своем пути, широко развернуло работу по различным линиям намеченного плана строительства университета. В исключительно тяжелых условиях общей разрухи и нищеты, требовавших по каждому мелкому делу, огромных путешествий по учреждениям, стояния „в очередях" или „беганья" по вольному рынку, было подготовлено буквально на „пустом месте" из подлежащих открытию факультетов университета два факультета—медицинский и общественных наук со всеми четырьмя отделениями, не считая рабочего. Кроме завершения работы, начатой временным правлением университета, по выработке учебных планов факультетов, (см. выше) которые положены в основу начавшихся с 1 ноября текущих учебных занятий в университете, правлением была проделана сложная, труднейшая при создании каждой высшей школы, требовавшая большой энергии, инициативы и проницательности работа по подысканию и подбору самого необходимого кадра ученых сил для преподавания научных дисциплин в университете, равно как велась поразительной трудности

работа в области снабжения университета необходимейшим научным инвентарем и финансовыми средствами, а также топливом, по ремонту помещений университета и их оборудованию мебелью и разными хозяйственными принадлежностями и проч.

К моменту открытия занятий в университете основные кафедры факультетов медицинского и общественных наук были замещены большею частью видными научными силами русских университетов: Московского, Казанского, Киевского, Смоленского и других частью местными силами. Из представленных правлением в Государственный Ученый Совет Наркомпроса Р. С. Ф. С. Р. кандидатов, благоприятные отзывы о научных трудах которых были даны соответствующими специалистами, получили утверждение в качестве профессоров и преподавателей Белорусского государственного университета следующие лица:

По факультету общественных наук

профессорами:

В. Н. Ивановский . . по кафедре философских дисциплин
И. М. Соловьев . . „ педагогики
В. Н. Дьяков по кафедре западно-европейского быта и культуры
В. П. Кончаловский . . по кафедре всеобщей истории
В. Н. Перцев . . . „ „ „
Н. М. Никольский . . . по кафедре истории религии
В. И. Пичета . . . . „ русской истории
Д. А. Жаринов . . . . „ „ „
Ф. Ф. Турук . . по кафедре истории Белоруссии
Н. А. Янчук . . „ этнографии и литературы Белоруссии
С. Г. Лозинский . „ истори и еврейского народа.
А. Н. Вознесенский . по кафедре русской литературы в связи с польской
О. Ф. Панасюк . по кафедре славянской филологии
Д. Н. Мейчик . . „ истории гражданского публичного права.
И. Я. Герцык . „ истории социализма и политической экономии.
С. Я. Вольфсон . „ исторического материализма
В. В. Якунин . „ финансово-экономических дисциплин.
М. Г. Сыркин . „ истории искусств
Е. Е. Святловский . „ статистики
М. Я. Рабинович . „ др.-еврейского яз. и литературы
А. А. Савич . „ русской истории
Литвак-Гельфельд „ истории еврейской культуры.

По медицинскому факультету

профессорами:

Н. Н. Андреев . . . . . по кафедре-физики.
Б. М. Беркангейм . . по кафедре органической химии.
В. В. Лепешкин . . . „ ботаники.
М. Б. Кроль . . . „ нервных болезней.
А. А. Лунц . . . . „ времен. замещающим каф. анатомии и гистологии.

По сельско-хозяйственному

профессорами:

1. А. А. Калужский . . по кафедр. общего земледелия.

Кроме вышеупомянутых лиц, правлением университета в целях обеспечения правильных занятий на первом курсе открываемых факультетов были приглашены для чтения лекций и ведения практических занятий по факультету общественных наук следующие лица:

проф.	В. М. Игнатовский	по истории Белоруссии.
„	С. З. Каценбоген	по истории пролетарской революции.
	В. Г. Кнорин	экономике переходного времени;

по медицинскому:

проф.	Карузин П. И.	по анатомии
„	Федюшин А. В.	преподавателем зоологии
„	Смирнов Н. А.	ассистентом по каф. физики
„	Лепешкина Е. А.	„ „ ботаники
„	Перельман И. М.	и. д. прозектора по анатомии
„	Таубкин А. Д.	ассистентом по анатомии
„	Борухин М. Л.	„ „

Лектуры по древним и новым языкам были заполнены местными преподавательскими силами:

Латинскому яз.	Синяков
Латинск. и греческому	Земель
Английскому	Блох
Немецкому	Прейсберг, Сегаль, Сыркина
Французскому	Буржуа, Полонская, Портнова
Белорусскому	Лесик
Польскому	Ковалевская

По рабочему факультету преподавательский состав формировался особой комиссией из лучших педагогических сил г. Минска и персонально был утвержден отделом рабочих факультет Наркомпроса РСФСР в составе 21 человека.

Прием студентов на первый курс факультетов общественных наук, медицинского и рабочий был произведен правлением университета на основании правил приема, выработанных Наркомпросом РСФСР и принятых Наркомпросом ССР Белоруссии, по которым состав слушателей должен был формироваться, главным образом, из молодежи, для которой двери высшей школы до сих пор были закрыты. Для I курса норма приема учащихся была определена по факультету общественных наук в 800 челов.: по этнол.-лингвист. отделению в 300, обществен.-педагогич. 300, правовому и экономическому по 100, по медицинскому 250 и рабочему 100. На факультет общественных наук было подано свыше 1100 заявлений, которые были рассмотрены особой приемочной комиссей и в число слушателей зачислены все желающие учиться, при чем лица, необладавшие средне-образовательным цензом, коих оказалось 130 человек, обязаны были сдать установленный для поступающих на факультет общественных наук коллоквиум в течение I триместра. При произведенной после регистрации слушателей факультета общественных наук оказалось, что представили необходимые документы 1010 человек, из коих 736 дали о себе, согласно лично заполненным анкетам, следующие сведения: мужчин 256, женщин 480; по возрасту: до 18 лет—51 чел., 18—25 лет—469, от 25 и выше—164; по образователь-

ному цензу: окончивших школу II ст.—106, среднее учебное заведение—521, педагогические курсы и учительскую семинарию—53, высшее начальное училище—8, домашнее образование—6, не окончивших школу II ст. 31; в национальном отношении: белоруссов—193, евреев 498, великороссов—26, поляков—4 чел., других национальностей—16 чел.; партийный состав слушателей: РКП—86, кандидатов РКП—12, ком. с. м.—19, с.-д.—3, других партий—10, беспартийных и не указавших принадлежность к партии 531; по месту постоянного жительства: гор. Минск—400, Минский у.—31, Борисовский—32, Мозырский—9, Слуцкий—67, Игуменский—31, Бобруйский—48, Гомельской губ.—49, Витебск.—19, из различных мест России—29 и Белоруссии Польской—22.

По отделениям факультета общественных наук слушатели в I триместре распределились следующим образом: этнолого-лингвистическое отделение—86, общественно-педагогическое—221, правовое—192 и экономическое—237.

На медицинский факультет было подано всего 1300 заявлений, которые согласно правилам приема были расмотрены особой приемочной комиссией в составе представителей НКП (Главпрофобр ССРБ), НКЗ, Всемедикосантруд, Совпрофбела и ЦК Комсомола и разбиты на две основных категории: подлежащих по правилам зачислению без коллоквиума, каковых оказалось 185 и со сдачей коллоквиума по математике, физике и естествознанию. Среди освобожденных от коллоквиума были делегированные приемочной комиссией Витебской и Гомельской губернии. Из подлежащих коллоквиуму 1115 лиц явилось на испытание 273 человек, из коих выдержало 149, не выдержало 103 и прекратило испытание 21. Всего было зачислено на 250 вакансий I курса медфака 293 студента и 26 кандидатов. По собранным после при регистрации слушателей анкетным сведениям состав студентов медфака в числе 345 человек распределяется следующим образом: мужчин—201, женщин—144; по возрасту: до 18 лет—3, от 18 до 25—303, от 25 и выше—39; по образовательному цензу: среднее образование—328, шесть классов гимназии—17; национальный состав: беллоруссов—94, евреев—233, великороссов—14, поляков—4, в партийном отношении: РКП—40, беспартийных—305.

Общее количество слушателей на рабочем факультете, главной задачей которой является подготовка кадра студентов из широких рабочих и крестьянских масс для других факультетов университета, числилось к началу учебных занятий в университете 285 человек, из которых июньского поступления было 160, весеннего—125. Состав слушателей рабфака слагается из командированных профсоюзами—138, коммунистической партией—45, ком. союзом молодежи—11, различными советскими учреждениями—72 и переведенных из других рабфаков—19. По уровню развития, слушатели распределяются на не имеющих об'ема знаний школы I ступени—120, окончивших школу I ступени—165; по национальности: беллоруссов—109 человек, евреев—173, великороссов—3; в партийном отношении: РКП—62, КСМ—25 и беспартийных—198; по социальному положению: рабочих—176, крестьян—109; по возрасту: до 20 лет—146, от 20 до 30 л.—139; мужчин—233, женщин—62. В общем всего студентов, принятых на первый курс факультетов общественных наук, медицинского и рабочего Белорусского Госуд. университета 1705 чел.; зарегистрированных и давших о себе анкетные сведения—1366, из коих:

крестьян . . , ...	409	(30,6%)
рабочих	152	(11%)

	советских служащих	524	(39%)
	невыясненного соц. положения	281	(20,4%)
по национальности:	белоруссов	396	(29%)
	евреев	904	(66,1%)
	великороссов	43	(3.2%)
	поляков	8	(0,6%)
	других	15	(1%)

Таков состав учащих и учащихся Белорусского Государственного университета.

Что касается материального оборудования университета, его учебно-вспомогательных учреждений и финансовых средств, а равно обеспечения научных работников, технического персонала и студенчества, то в этой области нужды университета огромны. Не все части возникшего университета удалось равным образом устроить. Из отведенных ЦИК Советов Белоруссии для потребностей университета зданий, в ведении университета находится 5 зданий, из которых заняты под учебные занятия рабфака, фундаментальную библиотеку и канцелярию б. гимназия Фальковича (1-й дом Б. Г. У.), под анатомический театр б. фабр. Виктория (2-й дом), под учебные занятия факультета общественных наук б. училище Хайкина (3-й дом) и под медицинский факультет б. Епархиальное училище (4-й дом), в пятом здании б. гост. „Гарни" помещается общежитие студентов рабфака. В каждом из этих больших зданий в два, три и четыре этажа произведен необходимый ремонт. С июня месяца 1921 года строительной комиссией, образованной университетской „пятеркой" при ЦИК., ремонтировались и оборудовались с большими перебоями и затяжками, происходившими главным образом из-за недостатка материалов и рабочих рук и задержки в получении денежных знаков, здания б. гим. Фальковича и б. Епархиального училища (мелкий ремонт), произведены значительные ремонтно-строительные работы по приспособлению быв. фабр. Виктория под анатомический театр на 200 человек, который по техническому устройству может считаться одним из лучших при медицинских факультетах РСФСР, исправлено паровое отопление в здании б. реального училища Хайкина и устроены 12 квартир для профессорского персонала в зданиях б. фабр. Виктория и б. Епархиального училища. Во всех помещениях производились работы по электро-проводке, затянувшиеся из-за отсутствия материалов до 1922 года. На ремонтно-строительные работы и оборудование по ноябрь 1921 года были затрачены сравнительно небольшие средства: на ремонт зданий—297.500.000 р. приобретение мебели (парт, столов, стульев)—196 453.304, покупка электрических принадлежностей —115.035.000, дрова и торф с доставкой—144 264.382.

В области чисто научного оборудования, приобретение которого зависит главным образом от наличности финансовых средств, удалось сделать при всем напряжении сил по масштабу современному очень много, но для настоящей мастерской науки очень мало. Попытка правления получить от РСФСР хоть один из физических кабинетов, как эквивалент эвакуированных во время войны из Белоруссии в Россию учебных кабинетов, равно как попытки добыть золотую валюту или создать валютный фонд из товаров Белорусской Республики для покупки за границей необходимого научного инвентаря успеха не имели. Ре-

зультаты работы в области научного снабжения по ноябрь месяц представляются в таком виде, что для кабинетов и лабораторий медицинского факультета—этих очагов исследовательской работы—имелось полученных в Москве по разверсткам и закупленных случайно свыше 20 микроскопов, большое количество предметов медицинского характера, большое число химпосуды, химматериалов, реактивов и кислот, имеются различные физические приборы, машины, трубки и другие принадлежности, разные пособия по зоологии, ботанике, анатомии и прочее. Всего истрачено на приобретение научного инвентаря по ноябрь не свыше 100.000.000 р. В Минске для химической лаборатории медфака проф. Б. М. Беркенгеймом было получено значительное количество химических элементов со складов и аптек Наркомздрава ССР Белоруссии.

Вся работа по организации университета велась главным образом на средства, отпускаемые Наркомпросом РСФСР. Особых сумм на строительство университета не было, равно как и фонда „патриотического приношения". Смета на 1921 год была составлена по медицинскому факультету на 3.633.716.539, в том числе на оборудование 3.362.459.750 р., по факультету общественных наук в сумме 1.742.500.000 р. рабочему 336.023.580, под которую в разное время отпускались авансы в размере 150.000.000 р. и более. Общий расход по созданию университета на ноябрь месяц не превышал 1000.000.000 р.

30 октября 1921 года в помещении 3-го дома университета состоялся торжественный академический акт, которым университет открыл текущие учебные занятия на двух факультетах: медицинском и общественных наук. На акте присутствовали профессора и учащиеся и представители советских, профессиональных, партийных, общественных и научных организаций и учреждений г. Минска. Ректор университета проф. В. И. Пичета в вступительном слове указал на весьма важное значение университета для Белоруссии, как культурно-просветительного центра, который об'единит белорусский народ и выразил уверенность, что „широкие трудящиеся массы республики окажут университету полную поддержку и тем дадут возможность создать кадр просвещенных работников, которые много пользы принесут делу восстановления нашего края". После вступительной речи ректора были прочитаны доклады профессором И. М. Соловьевым на тему: „Задачи современной научной педагогики" и проф. М. Б. Кролем на тему „Мышление и речь". Член правления проф. Ф. Ф. Турук сделал краткий доклад по организации университета. С приветственными речами выступали от имени Наркомпроса ССРБ. Игнатовский В. М., от Белорусского государственного политехнического института Ярошевич Н. К., представитель педагогического техникума, студентов рабочего факультета университета, от Смоленского Археологического Института, Московского Центрального Педологического института и от ЦБРКП Белоруссии.

Ф. Турук

Среди приветственных телеграмм была получена телеграмма от М. Н. Покровского и В. П. Волгина следующего содержания: „Академический Центр и Главпрофобр Наркомпроса РСФСР горячо приветствуют новый оплот коммунистического просвещения на границе буржуазного мира и желают молодому университету прочного успеха и процветания на благо трудящихся масс Белоруссии".

30 октября—день фактического открытия Белорусского Государственного университета—по справедливости должен считаться для Белоруссии днем историческим. Это был день настоящего праздника просвещения для Минска, для ССР Белоруссии, для всей этнографической Белоруссии, волею судеб разделенной на части.

Ф. Турук.

Хроника.

Смерть проф. Н. А. Янчука.

В первые же недели своего существования Белорусский Госуд. Университет понес тяжелую и невознаградимую утрату. 2 декабря 1921 года скончался в Москве профессор по кафедре белорусской литературы Николай Андреевич Янчук, почетный член Минского О-ва Истории и Древностей, член Правления Белорусского Научного и Культурного О-ва в Москве.

Покойный принимал деятельное участие в организационных работах по созданию Белорусского Университета и с началом занятий, в ноябре м. г. приступил к чтению своего курса.

Большую часть своей жизни Н. А. служил завед. этнографическим отделением Моск. Румянцевского музея. Он пользовался широкой известностью в ученых кругах, как собиратель произведений народного творчества. Много работал он в Моск. О-ве Любителей Естествознания антропологии и этнографии; между прочим был редактором издававшегося этим о-вом журнала „Этнографическое обозрение". Факультет общественных Наук Б.Г.У. постановил организовать специальное заседание с участием всех белорусских культурно-просветительных организаций, посвященное памяти почившего.

Краткие речи о покойном были сказаны ректором Университета В. И. Пичета и проф. В. Н. Ивановским пред началом публичного, торжественного заседания Фак-та, организованного 11-го декабря 1921 г. по случаю столетия со дня рождения поэта Некрасова.

Биография покойного, предназначавшаяся для помещения в настоящем номере „Трудов" по техническим обстоятельствам будет помещена в следующем.

„Труды Белорусского Государственного Университета".

В заседании Факультета Общественных Наук от 25 ноября 1921 г., по предложению ректора Университета, постановлено приступить к изданию периодического, научного органа Б.Г.У., под заглавием „Труды Белорусского Государственного Университета".

Факультетом была избрана редакционная комиссия в составе проф. В. Н. Ивановского и С. Я. Вольфсона и выражено пожелание, о делегировании медфаком 3-го члена комиссии.

Вследствие того, что 1-й номер „Трудов" заполнен материалами из области гуманитарных наук, редактирование его проведено комиссией выделенной ф. О. Н.

Зарубежная печать о Бел. Гос. Университете.

За время функционирования У-та Варшавская, Виленская и Гродненская печать уделяет много места жизни Белорусского Государственного Университета. Обзор этого материала будет дан в следующем номере „Трудов".

На 3-м Всебелорусском С'езде Советов.

На состоявшемся в середине декабря 1921 г. III-м Всебелорусском С'езде Советов ректором университета проф. В. И. Пичетой был сделан доклад о положении университета. Указав на значение университета для Белоруссии и ту роль, которую он призван сыграть в деле экономического и культурного возрождения края, докладчик обращает внимание с'езда на крайне тяжелые условия, в которых протекает работа по его организации. Функционирующие факультеты не обезпечены достаточным количеством пособий, требуемых для нормального протекания занятий; профессора не могут быть поставлены в условия, необходимые для научной работы. Предполагаемый к открытию с осени 1922 г. агрономический факультет, существование которого так важно для поднятия с.-х. края, требует крайне сложного оборудования. Только горячая поддержка со стороны органов власти и сочувствие широких трудящихся масс послужат залогом прочности университета Белоруссии и дальнейшего его преуспеяния.

В вынесенной с'ездом по вопросам народного просвещения резолюции п. 5-й гласит: „Сознавая всю важность появления в Белоруссии высшей школы, с'езд считает необходимым для поднятия благосостояния края дальнейшее развитие высших учебных заведений, на что необходимо обратить внимание не только Наркомпросу, но и другим центральным органам республики".

Протест.

Совет Бел. Гос. Университета в заседании 18 марта с. г., заслушав доклад ректора проф. В. И. Пичеты о чрезмерных притязаниях представителей польского правительства в смешанной комиссии по реализации п. 11 Рижского договора на выдачу культурных ценностей, вывезенных из Польши, вынес следующее постановление:

„Совет Белорусского Государственного Университета, осведомившись о заявленных притязаниях представителей польского правительства в Российско-Украинской смешанной комиссии по реализации 11 ст. Рижского договора на выдачу культурных ценностей, вывезенных с территории Польши с 1-го января 1772 г., и признавая по существу, что национальные интересы польского народа, пострадавшего от совершенного над ним в 18-м веке насилия, должны быть удовлетворены, одновременно с этим единогласно протестует против домогательств представителей польского правительства на выдачу таких культурных ценностей, которые, хотя и были вывезены из Польши, но в настоящее время являются достоянием всемирной культуры (п. 7-ой статьи 11 Рижского договора) или по своему составу и языку представляют основные источники и памятники не польского происхождения и имеют ближайшее отношение к истории и культуре Белорусского и других народов, ныне в своей значительной части не входящих в состав Польского государства".

Переизбрание Правления Университета.

В конце января с. г. произведены были перевыборы Правления Университета, согласно нового устава В.У.З. 27-го января советом профессоров было избрано Правление в составе след. лиц: Ректор—проф. В. И. Пичета, члены—проф. В. Н. Ивановский, В. И. Корсак, С. О. Баркусевич и С. З. Каценбоген.

В том же составе Правление было избрано общими собраниями студентов всех факультетов, Советом Профсоюзов Белоруссии и Союзом Рабиспрос.

В конце марта выборы были утверждены Главпрофобром Р.С.Ф.С.Р.

На факультете общественных наук.

Деканат.

Постановлением Правления в начале ноября м. г. утвержден деканат фак-та обществ наук в составе след. лиц: декан—В. М. Игнатовский, замдекана—С. Я. Вольфсон и секретарь—А. Н. Вознесенский. В марте 1922 г. в состав деканата введен еще О. Л. Дыло.

Предметные комиссии.

Факт-ом обществ наук в октябре м. г. выделены следующие предметные комиссии:

1) Комиссия по предметам философским, в составе: председателя—В. Н. Ивановского и членов—И. М. Соловьева, С. Я. Вольфсона и С. А. Аквилонова.

2) Комиссия по предметам историческим в составе председателя—В. Н. Дьякова и членов—Д. П. Кончаловского, В. И. Пичеты, В. М. Игнатовского, Ф. Ф. Турука, В. Н. Перцева, Д. А. Жаринова, Н. М. Никольского, С. Я. Вольфсона и А. А. Савича.

3) Комиссия по предметам правовым и экономическим, в составе председателя—С. Я. Вольфсона и членов—В. Г. Кворина, С. З. Каценбогина, И. Я. Герцыка, В. В. Якунина, Г. С. Гурвича и Б. М. Мейчика.

4) Комиссия литературная: председатель—А. Н. Вознесенский, члены—Н. А. Янчук(†), Н. В. Шаров, Н. И. Ефимов, О. Ф. Папасюк и И. М. Соловьев.

5) Комиссия лингвистическая: Предс.—Хр. Хр. Прейсберг члены—М. С Ковалевская, Л. Е. Буржуа, К. О. Полоновская, Э. М. Сегаль, Л. Я. Сыркина, Г. С. Блох, Г. Э. Земмель, Я. Г. Лесик и Б. И. Портнова.

На медфаке.

Деканат медфака утвержден Правлением в след. составе: Декан—проф. Б. М. Беркенгейм, заместитель его проф. М. Б. Кроль и секретарь преп. А. В. Федюшин. Проф. Беркенгейм, согласно его просьбы, от обязанностей декана освобожден. Военкомат медфака существует с ноября м. г. во главе с военкомом С. О. Баркусевичем.

На рабфаке.

В ноябре м. г. избран советом факультета и утвержден отделом рабфаков в Москве президиум рабочего факультета в составе след. лиц: завед. Р. П. Тепин, зам. зав. В. И. Корсак, завед. учебной частью Г. Э. Земмель и представитель от студенчества т. Мазо.

Научное общество.

25 февраля с. г. состоялось созванное по инициативе группы профессоров, организационное собрание Научного о-ва при университете. На собрании избрано было Правление о-ва в составе председателя—проф. В. Н. Ивановского, заместителя—проф. Б. М. Беркенгейма, секретаря—П. П. Кащенко и казначея—М. И. Шкубера и кандидатов—Е. А. Гурвич и С. В. Балковца. Собранием были также учреждены след. секции; 1) Краевая (по изучению местного языка и литературы, фольклора, географии и т. д.) 2) Секция наук физико-математических, 3) Техно-экономическая и 4) Общественных наук.

Библиотека Бел. Гос. Унив.

Работа по организации и постановке библиотеки Б. Г. У. ведется, начиная с июня 1921 г., и к 1 апреля 1922 г. ее первоначальная стадия, охватывающая оборудование б-ки, комплектование основного книжного состава, его оформление, инвентаризацию и элементарное описание, может считаться законченной.

Наличие к самому началу работы значительного книжного фонда, полученного в хаотическом состоянии и совершенно не документированного, и необходимость приурочить открытие б-ки к началу занятий на факультетах обусловили последовательный ход работ по ее организации по следующей программе.

В первую очередь, до начала октября 1921 г., производилась систематически-алфавитная расстановка всего наличного к началу работы и по сей срок поступившего книжного инвентаря и его инвентаризация в том же порядке. Таким обр. при невозможности изготовления к моменту ее открытия подлинного каталога, б-ка была временно подготовлена к пользованию сю самой формой ее размещения. Указанная работа была к сроку закончена; однако отсутствие необходимого оборудования для читальни несколько задержало начало функционирования б-ки.

Работа по каталогизации, отступившая, в силу указанных обстоятельств, во вторую очередь, началась с декабря 1921 г. и ведется в соответствии с ходом занятий в университете в порядке выделения целиком первоочередных отделов и основного ядра второстепенных. В общем, занесено на карточки основного алфавитного каталога до 50% инвентаря. На очереди—дублирование каталога и его подробная индексизация для систематического репертуара, составление, в целях дальнейшего планомерного комплектования б-ки, карточного каталога дезидерат и каталога дублетов.

В основание книжного состава б-ки легло до 40.000 томов, собранных за время революции Наркомпросом Белоруссии и переданных им университету. Впоследствии к ним прибавилось еще 5000 томов из разных местных источников, свыше 20.000 томов б-ки быв. Духовной семинарии и около 5.000 из состава формировавшейся центральной Белорусской б-ки в виду об'единения ее с библиотекой у-та. В общей сложности из местных запасов б-ка получила до 70.000 томов

Состав выше указанных книжных собраний, за исключением одной значительной и хорошо подобранной б-ки по химии, носил совершенно

*) Подробный план организации б-ки Б. Г. У. будет помещен в следующем выпуске „Трудов Б. Г. У."

случайный характер и, удовлетворить хотя бы только насущные потребности академического преподавания в книге не мог. Понадобилось значительное дополнительное комплектование посредством закупок, главным образом, в центре, для того, чтобы довести до нормы содержание хотя бы первоочередных отделов. В этом направлении Правление у-та сделало все в условиях подлинного книжного голода возможное. Так, отдел русской истории скомплектован целиком усилиями Правления, также как и значительная часть основного для краевой белорусской б-ки отдела Белоруссоведения, для которого закуплены специальные книжные собрания О. Л. Дыло, проф. Жуковича и быв. попечителя Виленского учебного округа Корнилова. На очереди приобретение библиотек недавно умершего проф. у-та известного этнографа М. А. Янчука и акад. Карского.

Щедрые дары б-ка получила от Российской Академии Наук в виде полного комплекта сохранившихся на ее складах изданий академии (2800 томов), археографической комиссии, правительственных архивов.

Залогом дальнейшего успешного развития б-ки является то исключительное внимание, которое оказали ей Центральная Российская Книжная Палата и Наркомпрос Р.С.Ф.Р.С. предоставившие ей один из т. н. обязательных экземпляров всех выходящих в пределах России изданий (№ 20 ый) и признавшие т. о. за ней право, в качестве государственного книжного центра Белоруссии, на одно из первых мест в ряду государственных книгохранилищ федерации.

Библиотека функционирует, как указано выше, с декабря 1921 г. и насчитывает к настоящему времени 500 чит., преимущественно студентов у-та. Пользование библиотекой происходит в читальном зале, на дом книги не выдаются. Посещаемость читальни от 50 до 100 чел. в день. Библиотека открыта ежедневно, не исключая воскресных и праздничных дней, и функционирует по будням от 11 ч. утра до 10 ч. вечера, по воскресеньям и праздничным дням от 11 до 4 дня.

Временно б-ка помещается в здании Рабочего факультета (1-й дом у-та). К 1 мая б-ка переходит в отведенное для нее отдельное здание, быв. т. н. „Юбилейный дом". Дом расположен в центре города, недалеко от главных университетских зданий. Расположенное в значительном отдалении от соседних построек, на пригорке, новое здание б-ки в достаточной мере изолировано от уличного шума и безопасно в пожарном отношении. Здание каменное, двухэтажное и состоит из большого двухсветного зала, предназначаемого под читальню, вместимостью до 150 человек, еще двух комнат в нижнем этаже для внутренних служб —канцелярии и разборочной—и трех под профессорскую читальню и белорусское отделение и комнату заведующего в верхнем. Кроме того, под всем зданием проходит полуподвальный этаж, часть которого оборудована под книгохранилище. Полки для книг расположены также в читальне, на покрывающих ее с трех сторон хорах и в зале белорусского отделения, вмещая всего до 125.000 переплетов. Небольшая постройка в виде продолжения хоров и разделения, т. о., читального зала на два этажа) может освободить место еще на 75.000 перепл., что на первое время существования могло бы б-ку удовлетворить вполне.

Секция научных работников.

По предложению Союза Работников Просвещения Белоруссии, Советом университета постановлено организовать секцию научных работников при союзе Рабпрос. В президиум секции избраны: В. В. Лепешкин (председатель), С. Я. Вольфсон (тов. председателя) и Годыцкий-Цвирко (секретарь).

Публичные заседания.

За время существования университета советом профессоров был организован целый ряд публичных заседаний, посвященных различным юбилейным датам и проблемам современной обществ. жизни.

Заседание, посвященное годовщине октябрьской революции.

7 ноября 1921 г. в актовом зале университета состоялось публичное, торжественное заседание, посвященное годовщине октябрьской революции.

С речами выступили проф. В. И. Пичета, В. Г. Кнорин и С. З. Каценбоген.

Заседание памяти Ф. М. Достоевского.

В воскресенье 27 ноября, в 1 час дня состоялось торжественное заседание совета профессоров, посвященное памяти Ф. М. Достоевского, по случаю столетия со дня рождения великого писателя.

С докладами выступали: 1) проф. В. И. Пичета на тему: „Проблема востока и запада в публицистике Достоевского", 2) проф. И. М. Соловьев: „Методы в творчестве Достоевского" и 3) д-р С. В. Балковец: „Научная точность психопатологических образов в творчестве Достоевского".

Заседание памяти Некрасова.

По случаю столетия со дня рождения Некрасова, в воскресенье 11 декабря, состоялось торжественное заседание, посвященное памяти поэта.

Слово „о значении Некрасова в истории русской общественности" сказал проф. *В. И. Пичета.*

Проф. *В. Н. Ивановский* сказал речь о „мотивах поэзии Н. А. Некрасова". Н. истинный поэт божией милостью. Его художественное чутье, правда, далеко не так тонко, как оно было у Пушкина; у Пушкина мы также находим стихотворения, которых мы не хотели бы видеть в составе его сочинений (напр., „Клеветникам России"), но они все же технически произведения высокого качества. Некрасову же случалось обмолвливаться такими бездарными, холодными и фальшивыми виршами, как обращение к М. Н. Муравьеву-Виленскому. Но в своих лучших творениях Н. большой поэт. И в них часто встречаются недостатки: ритм однообразен, выбор слов тривиален прозаичен, образы бедны, рифма неоригинальна и т. п. Но на ряду с этим много образцов высокого лирического под'ема и большой выразительности и изобразительности. У. Н. замечательно разнообразие тем его стихотворений: мы встречаем у него темы характера тургеневского („Саша," „Русские женщины и, „Дедушка" и др.), салтыковского („Юбиляры и траумфаторы"); много тем, близких к поэзии народников, и т. д. У Н. нет глубины Достоевского,—он берет только внешние факты в духе Достоевского но эти факты и самоочевидные реакции на них часто мелькают в его стихах („Еду ли ночью по улице темной"; „Филантроп", „Убогая и нарядная", „В больнице" и др Некрасов—поэт народничества; он связующее звено между Пушкиным, Гоголем, западниками и славянофилами, Белинским и Герценом, с одной стороны, и Чернышевским, Добролюбо-

вым, Г. Успенским и народниками, с другой. Лучшие стороны таланта Н. ярко выразились в поэме „Кому на Руси жить хорошо“. Удачно введенный в нее лубочный элемент маскирует недостатки некрасовской формы стиха; изобразительная сила проявляется в таких отделах, как „Последыш“, „Пир на весь мир“, как большой эпизод о крестьянке („из III-й части“) и т. д. При этом, в начале семеро крестьян ищут того, кому бы на Руси хорошо жилось в смысле благополучия; но потом оказывается, что избранником поэта является сын пьяного дьячка семинарист Гриша, про которого автор говорит, что „его ждали чахоткая сибирь“. Несомненно, в Грише Н. видел образ своих друзей—Добролюбова и Чернышевского—людей, имевших на него, после Белинского, наибольшее влияние. Ничтожные отрывки, оставшиеся от других частей поэмы, показывают, какую широкую картину хотел дать в ней поэт: она могла бы стать по праву на ряду с другими „энциклопедиями“ русской жизни—с „Евгением Онегиным“ „Войной и Миром“ и „Мертвыми душами“. Эпизод поэмы о Ермиле Гирине этом прототипе крестьянского „депутата“ и излюбленного человека „сказания“ прохолопа примерного, Якова верного“ и про двух великих грешников, песни Гришки и самого автора в конце II части поэмы—образцы высокой поэзии.

С докладом о „Поэтике Некрасова“ выступил пр. А. И. Вознесенский. В докладе были отмечены приемы в области общей манеры творчества Некрасова, его композиции, сюжетов, жанра, чувства природы, психики и стиля.

Заседание, посвященное годовщине февральской революции.

12 марта, в день годовщины февральской революции, состоялось торжественное заседание, посвященное пятилетию падения царизма.

Ректор проф. В. И. Пичета произнес реч „Подготовка русской революции и 9 января 1905 г.“

Речь „о моральном разложении царизма“ сказал проф. В. Н. Ивановский. С. З. Каценбоген сказал речь „О предпосылках февральской революции“ И. Я. Герцык—„О мировом значении русской революции“ и С. Я. Вольфсон—„О литературе, посвященной февральской революции.“

Чествование Янки Купалы. 19 марта 1922 г. Университет в торжественном заседании чествовал белорусского поэта Янку Купалу по случаю 15 летия его литературной деятельности.

Проф В. И. Пичета во вступительном слеве отметил, что Янка Купала имеет такое же значение для белоруссов, как Шевченко для украинцев и Мицкевич для поляков. Он является подлинным поэтом своей нации.

М. Н. Пиотухович указал, что Купала—индивидуалист. В его произведениях проявляется стремление к самоуглублению и одиночеству, роднящее его с Лермонтовым. В то же время мы находим в его творчестве гражданские мотивы, иногда подымающее его поэзию до революционного пафоса. Купала вселял в свой народ волю к борьбе за освобождение от давившего его гнета. Наконец, надо отметить и символизм, как один из элементов творчества Купалы.

В. М. Игнатовский сказал, что одним из главных мотивов творчества Купалы является социально-политическое возрождение Белоруссии. Это делает его одним из идеологов белорусского народа на пути последнего к политическому и социальному возрождению.

А. Н. Вознесенский подчеркнул связь лирики Купалы с народным творчеством.

С. З. Каценбогин оценил лирику Купалы, как подлинное зеркало жизни Белорусского народа, и подчеркнул, что источником его вздохновения является быт белорусского крестьянина.

После речей артистами и хором Академического театра были исполнены некоторые произведения поэта.

В заключение Янка Купала, встреченный бурной овацией, прочел свое новое произведение: „Перад будучыняй“.

Смена Вех.

12 февраля 1922 г. в актовом зале Университета состоялась дискуссия по вопросу о „Смене вех.“

С докладами выступили В. И. Пичета „Основные моменты в развитии русской интилегенции, и С. Я. Вольфсон „Смена вех.“

Доклад С. Я. Вольфсона продолжавшийся около двух часов, охватывал большой фактический материал, почерпнутый из сборника „Смена Вех“ и тринадцати первых номеров журнала того же имени.

Докладчик указал, что русский интеллигент--представитель группировок, огнем, мечом и собственной грудью пытавшийся сдержать революционный поток, а ныне сбрасывающий с себя ветхого Адама контрреволюционности и облачающийся в советские одежды, представляет собою явление очень характерное. Голова, склонившаяся пред властью, творящей социальную революцию, рука, протянутая к рабоче-крестьянской России, и туловище, погруженное в тину великодержавных мечтаний, мессианских идей, мистики. „Смена вех“—клубок, в котором причудливо сплелись нити, тянувшиеся от старых „Вех“ 1909 года—от Струве и Гершензона, с нитями, сотканными в 1918 году поэтами—скифами (Блок, Есенин). Эклектическая похлебка, из старой аксаковской веры в богоизбранность России и новых мыслей Шпенглера о закате Запада, из мечтаний о крестьянском социализме, из евразийских идей, проповедуемых теперь в Белграде проф. Трубецким. Категория логики и категория совести. Винегрет, приправленный уверенностью во всемогущество внеклассовой, надклассовой интеллигенции.

Для того, чтобы оценить „Смену вех“, надо иметь в виду не только то уродливое, что имеется в ней, но также и все то, что имеется в этом выступлении глубоко выстраданного и мужественно провозглашенного в результате „ума холодных наблюдений и сердца горестных замет“.

Нельзя также упускать из виду значения „Смены вех“ как политического симптома: идеалистически обоснованную капитуляцию группы активных врагов Советской власти пред ее мощью и сознание, что река истории вспять не течет.

Вокруг „Смены вех“ поднялась целая буря перекрещивающихся мнений. Одни „скачут и играют“ по поводу ее, другие „рекут всяк зол глагол“ на сменовеховцев. Вдумываясь в это своеобразное проявление русской общественной мысли нашего времени, следует поступать по старому, мудрому правилу Спинозы — не плакать, не смеяться, а понимать.

В прениях по докладам принимали участие И. Я. Герцык, В. Г. Кнорин, С. З. Каценбогин и другие.

И. Я. Герцык указал, что „Смена вех“—настроение интеллигенции, принадлежавшей к партии октябристов,—партии „социального испуга“. Она готова была поддержать любое правительство из боязни перед массами. Она, понятно, испугалась и революции 1917 г., принимая участие во всех контр-революционных движениях. Теперь она го-

тов признать существующий строй, но ставит опять требование: „порядок“ и „частная инициатива“. Лишь бы не было народного движения. Ее отказ от борьбы только доказывает, что и в самые отсталые в политическом отношении умы проникает идея, что возврата к старому режиму нет, надо приспособиться к жизни в новой России.

В. Г. Кнорин указывает, что „Смена вех“—знамение времени. Целый ряд явлений, имевших место среди интеллигенции, как оставшейся в России, так и зарубежной,—показывает, что сменовеховское настроение охватило различные группы этой интеллигенции. „Смена вех“ не единичный факт, явление не одинокое. Советская власть опирается на все поддерживающие ее группировки, использовывая их в своих интересах независимо от мотивов, побудивших их протянуть ей руку; она не преминет воспользоваться также и этим „сменовеховским“ настроением.

С. З. Каценбоген отметил отсутствие у сменовеховцев единой выдержанной идеологии. Одни из них твердят о великодержавности Советской власти; другие аргументируют неизбежностью ее существования; третьи считают, что Кремль украшает коминтерн. Сменовеховцы отражают настроения части буржуазной интеллигенции, своеобразно понимающей дух советской власти и готовой поэтому помириться с ней.

Публичные лекции в пользу голодающих.

За время существования Университета, в его актовом зале проведен цикл лекций профессоров в пользу голодающих:

1) 20 ноября м. г. состоялась лекция С. Я. Вольфсона на тему: „Жизнь и творчество Г. В. Плеханова“.

2) 27 ноября м. г. лекция Д. П. Кончаловского на тему: „Борьба за мировую гегемонию“

3) 3 декабря—лекция Н. М. Соловьева на тему: „Личность в понимании Достоевского“.

4) 10 декабря лекция В. М. Игнатовского на тему: „Социальные мотивы в Белорусской поэзии“.

5) 17 декабря—лекция Л. А. Жаринова на тему: „Лев Толстой и народничество“.

6) 30 декабря—лекция А. Н. Вознесенского „Об имажинизме“.

Заседание Научного общества.

Первое публичное заседание Научного о-ва при Университете состоялось 18 марта с. г. в актовом зале. Заседание было открыто ректором В. И. Пичетой.

В своем вступительном слове председатель о-ва проф. В. Н. Ивановский сказал:

Научные общества исполняют различные задачи: они являются центрами, около которых группируются научные работы и исследования их членов; они играют большую роль в научном образовании университетской молодежи; наконец, они выполняют важные общекультурные функции—поддерживают в обществе интерес к науке, принимают участие в распространении знания в широких слоях народа, вообще содействуют под'ему национальной культуры. В этом последнем отношении на Научное общество при Белорусском Гос. унив-те выпадает особенно ответственная задача. Белорус. Гос. университет имеет краевой харак-


A000000 19298